

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

**Политическая
наука 2**
2015

**ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ**

Москва
2015

УДК 32
ББК 66.0
П 50

ИНИОН

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

*Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, главный редактор,
Л.Н. Верчёнов – канд. филос. наук, И.И. Глебова –
д-р полит. наук, Д.В. Ефременко – д-р полит. наук,
М.В. Ильин – д-р полит. наук, О.Ю. Малинова –
д-р филос. наук, зам. главного редактора, П.В. Панов –
д-р полит. наук, С.В. Патрушев – канд. ист. наук,
Ю.С. Пивоваров – академик РАН, А.И. Соловьёв –
д-р полит. наук, Р.Ф. Туровский – д-р полит. наук,
И.А. Чихарев – канд. полит. наук*

Редактор-составитель номера –
д-р полит. наук, проф. Е.Ю. Мелешкина

Ответственные за выпуск –
канд. полит. наук О.А. Толпигина, И.А. Фокин

П 50 **Политическая наука:** Науч. журн. / РАН. ИНИОН.
Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Росс. ассоц. полит. науки; Ред кол.: Е.Ю. Мелешкина (гл. ред.) и др. – М.: 2015. – № 2: **Познавательные возможности политической науки** / Ред. и сост. номера Е.Ю. Мелешкина. – 310 с.

Анализируются современные дискуссии о процессе получения научного знания в рамках политологии. Выявляются возможности и ограничения отдельных методологических подходов и методов. Намечаются перспективы новаторских исследовательских стратегий, направленных на преодоление методологических границ.

Для политологов, преподавателей вузов, студентов.

УДК 32

ББК 66.0

ISSN 1998–1775

© ИНИОН РАН, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Представляю номер 5

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

<i>И.В. Фомин.</i> Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: Возможности семиотического инструментария	8
<i>И.Ю. Окунев.</i> Методологический синтез в современной геополитике: Навстречу неоклассической (посткритической) геополитике.....	26
<i>А.С. Ахременко, А.П. Михайлов, А.П. Ч. Петров.</i> Формальная теория в институциональной политологии: Есть ли жизнь за пределами теории игр?	39

КОНТЕКСТ: ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

<i>О.В. Попова.</i> Новые направления использования сложных методов в анализе политических процессов	62
<i>И.М. Локшин.</i> Игра в бисер? Конвенциональные количественные методы в свете тезиса Дюэма-Куайна.....	80
<i>Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк.</i> Методы анализа текста в смешанном дизайне исследования	104
<i>А. Маркс, Б. Рихокс, Ч. Рэйгин.</i> Истоки, развитие и применение качественного сравнительного анализа: Первые 35 лет	117

ИДЕИ И ПРАКТИКА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧКИ

<i>B.C. Авдонин.</i> Полипарадигмальность в политической науке и нормативные теории.....	157
<i>Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук.</i> Постструктурализм М. Фуко и новые методологические проблемы политических исследований	174

РАКУРС: ДОСТИЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ПОЛИТОЛОГИИ

<i>О.Г. Харитонова.</i> Что мы знаем и не знаем о перевороте как способе смены режима?	191
<i>И.А. Чихарев, В.Ю. Бровко, Г.А. Кожедуб.</i> Политические коммуникации: Пределы и возможности концептуального моделирования	212
<i>В.В. Васильева, А.Н. Воробьев.</i> Теория коррупционных рынков	232

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

<i>М.В. Ильин.</i> Между очевидным и невероятным. Где пределы применимости универсалистских схем?	253
<i>А.А. Лобова.</i> Мир политической науки: Книжная серия. (Сводный реферат)	266
<i>Т.Б. Уварова.</i> Этнопопулизм в Латинской Америке	289
Ключевые слова	296
Сведения об авторах	307

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Предлагаемый читателям номер «Политической науки» символичен во многих отношениях. Это первый номер после разрушительного пожара в здании Института научной информации по общественным наукам. Его выпуск наглядно демонстрирует, что институт жив и продолжает работу по обобщению и анализу современных достижений общественных и гуманитарных дисциплин. Тематическая ориентация издания – познавательные возможности и ограничения политической науки – свидетельствует о сохранении и развитии традиций института, несмотря на непростую ситуацию, требующую решения конъюнктурных задач.

Так совпало, что этот год ознаменовался еще одним знаковым событием – Европейскому консорциуму политических исследований (ECPR) исполнилось 45 лет. Его цель – повышение профессионального уровня политологов, развитие профессиональных контактов, организация методологических и тематических дискуссий, совместных проектов и программ обучения. Вопросы методологии и методики исследований занимают существенное место в работе консорциума. Неслучайно летние и зимние школы ECPR посвящены вопросам организации исследований, разработке аналитических инструментов и их использованию в рамках различных исследовательских подходов.

Эту традицию – стимулирования дискуссий о возможностях и инструментах познания, исследовательских инициатив в области саморефлексии политической науки, образовательных проектов, направленных на повышение профессионального уровня политологов, – развивают ныне и другие международные организации, в частности Международная ассоциация политической науки (IPSA). Многие ме-

роприятия, проводимые IPSA, посвящены обсуждению познавательных возможностей политической науки и их ограничениями.

В последние десятилетия данные проблемы находятся в центре внимания научной общественности. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть работы из серии фундаментальных публикаций «Oxford Handbook», в которых подробно освещаются концептуальные методологические и методические вопросы познания.

Большое внимание к этой проблематике не случайно. Специфика общественных дисциплин, исследующих сложный и изменчивый объект – общество, которая заключается в «конвенциональности» многих «виртуальных» социальных явлений, существующих благодаря заложенным в них смыслам и значениям, а также вследствие неразделенности субъекта и объекта познания, обуславливает несогласие ученых по ряду онтологических и эпистемологических вопросов. Исследователи ведут дискуссии относительно критериев научности, аналитических инструментов познания, специфики эмпирических данных, методов их сбора и анализа, о взаимосвязях между социальными процессами и стратегиями их изучения. Научные дебаты, столкновение противоборствующих мнений играют большую роль в развитии общественных наук, в том числе политологии, поскольку ориентация на общепризнанность научного знания как один из механизмов существования науки предполагает сочетание методологического плюрализма с едиными стандартами научной деятельности.

Поэтому многие материалы номера посвящены дискуссионным вопросам познания в политической науке. Авторы рассматривают проблемы и достижения – как дисциплины в целом, так и ее отдельных областей, – связанные с применением различных концептуальных и методологических подходов, эмпирических методов исследования. В ряде статей авторы обсуждают возможности использования теоретических подходов и инструментов эмпирического исследования, преодолевающих границы между различными точками зрения.

В традиционной рубрике, открывающей сборник – «Состояние дисциплины», – представлены статьи, анализирующие достижения и проблемы отдельных субдисциплин политической науки и методологических направлений, рассматриваются возможности междисциплинарного подхода.

Материалы второй рубрики «Контекст» посвящены эмпирическим методам политических исследований. В них обсуждаются достоинства и ограничения количественных методов, их распространение в политологии. Особое внимание уделяется исследовательским стратегиям, направленным на преодоление границ между качественными и количественными методами.

В третьей рубрике «Идеи и практика» рассматриваются перспективы использования нормативных теорий в условиях методологического плюрализма, оцениваются познавательные возможности постструктурализма М. Фуко.

Материалы следующей рубрики «Ракурс» знакомят читателей с достижениями и ограничениями в отдельных тематических областях политической науки. В них представлен авторский взгляд на исследование социальных переворотов как способ смены режима, коррупционных рынков и коммуникации.

И наконец, наша традиционная рубрика «С книжной полки» включает рецензии и реферативный обзор, в которых освещаются новые публикации, обобщающие научные достижения различных субдисциплин или рассматривающие конкретные исследовательские проблемы. В статьях рубрики поднимается актуальный для политической науки вопрос о пределах применения универсалистских схем.

Мы надеемся, что настоящий номер не только послужит одним из символов продолжения исследовательской и информационной деятельности Института научной информации по общественным наукам, но и активизирует дискуссию среди политологов и представителей смежных дисциплин относительно того, что и как мы можем узнать об окружающем нас мире политического. Полагаем, что подобные вопросы и их обсуждение позволят приблизиться к достижению согласия относительно общих критериив научности.

E.YO. Мелешикина

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И.В. ФОМИН

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ СЕМИОТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Для современного социально-гуманитарного знания, и для политологии в частности, характерна отчетливая тенденция к субдисциплинарному дроблению и формированию обособленных «мининаук» вокруг тех или иных специфических предметов изучения. При этом исследователи, работающие в рамках каждой такой «мининауки», часто пользуются специальными, понятными только их кругу, языками описания и аналитическими инструментами. Такое положение дел может быть оправдано стремлением эффективно решать некоторые узкоотраслевые задачи, однако плохо сочетается с целями более масштабного приращения знания [Ильин, 2014].

Первым приходящим на ум вариантом преодоления этой проблемы может оказаться реализация исследований, ориентированных на междисциплинарное взаимодействие. Такого рода проекты, как можно бы было надеяться, позволят избежать распада науки на изолированные узкопредметные направления. Однако здесь возникают новые проблемы. Во-первых, обращение к дисциплинарным изысканиям без предшествующего глубокого освоения отдельных дисциплин, а также без необходимой рефлексии о принципах их интеграции приводит, скорее, к эффекту «недодис-

циплинарности», чем к приобретению какого-то нового ценного качества исследовательских проектов. Во-вторых, попытки выйти за рамки обособленной дисциплинарности, сделать что-то междисциплинарное могут по факту приводить только к выделению новых, более специфических зон пересечения, т.е. новых «мининаук». Таким образом, взаимодействие на стыках отдельных дисциплин отнюдь не гарантирует автоматической интеграции и целостности [Ильин, 2014].

Иногда об интеграции дисциплин ведут речь в связи с проектами по решению масштабных актуальных проблем (глобальное потепление, проблемы устойчивого развития и т.п.). В соответствии с такой точкой зрения, повестка дня для науки должна диктоваться насущными вызовами со стороны действительности, а разные дисциплины совместными усилиями должны пытаться дать эффективный ответ на них. Но не слишком ли преходящи такие интегрирующие факторы? Даже при условии успешности всей конструкции интеграции приходит конец, как только беспокоившая всех задача решена [Ильин, 2014]. Возможны ли более устойчивые трансдисциплинарные взаимодействия? За счет чего они могут поддерживаться?

Ответы на эти вопросы можно попытаться найти, обратившись не к тому, что обычно находится в исследовательском фокусе, – не к изучаемому предмету, а к тому, что часто видится вторичным и служебным, – к используемым в исследованиях методам. Внимание к вопросам методологии позволяет заметить, что в потенции отдельные дисциплины с их специфической фактурой могут, однако, быть интегрированы, – поверх предметных размежеваний. Это произойдет, если мы обратим внимание на общие познавательные способности, которые реализуются в отдельных дисциплинах, но при этом дисциплинарными барьерами не ограничиваются. Эти методологии как бы пронизывают пространство науки, пересекая предметно заданные дисциплинарные границы [Ильин, 2014].

Такие познавательные способности можно назвать органонами-интеграторами [Ильин, 2014; Кокарев, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2015; Фомин, 2014 б; Фомин, 2015]. Они существуют (или могут существовать) самостоятельно вне приложения к предметным областям конкретных дисциплин, но при этом спо-

собны действовать и в определенных дисциплинарных границах, насыщаясь необходимой предметностью.

Как минимум один органон-интегратор в современной науке задействован во вполне явном виде. Этот органон – математика. Но единственна ли она в своем роде? Какие еще трансдисциплинарные познавательные способности могут быть прослежены? На сегодня их закрытый список едва ли можно представить. Но можем ли мы назвать основных претендентов? Помимо математики, стоит обратить внимание как минимум еще на три других методологических посредника – семиотику, морфологию и компаративистику.

Эти три органона в предметно специфических их вариантах можно проследить в разных областях знания. Так, например, семиотика встроена в инструментарии лингвистики, культурологии и искусствоведения, а также существует в виде политической семиотики, психосемиотики, социальной и антропологической семиотики и др. Аналогичным образом морфология существует как лингвистическая морфология, биологическая морфология, морфология искусства, культуры или как политическая морфология. Компаративистика реализуется в сравнительном историческом языкознании, сравнительной политологии, компаративном литературоведении, культурологии и антропологии и т.п.

Насыщение и очищение органонов

Но почему же все-таки математика пока стоит в ряду органонов-интеграторов как бы особняком? К ответу на этот вопрос мы можем приблизиться, если введем в очерченную картину одно важное измерение. Все множество модусов существования каждого из методологических интеграторов может быть упорядочено представлено в пространстве между двумя полюсами, которые соответствуют *насыщенному* и *очищенному* вариантам органонов.

В насыщенных своих вариациях органоны существуют, будучи тесно связаны с предметной фактурой той или иной дисциплины. В этом своем модусе они могут быть эффективны для решения узкопредметных задач, но менее пригодны для осуществления трансдисциплинарной интеграции. Для того чтобы такая интеграция в полной мере состоялась, необходимо отрефлексировать и

проработать связь между насыщенными версиями органонов и их очищенными вариантами.

И именно здесь выявляется специфика положения математики. Математика в нынешнем своем состоянии в большей степени, чем другие органоны, реализована в очищенном своем варианте. Для других претендентов на роль трансдисциплинарных методологических интеграторов эта перспектива еще только намечается.

Если вести речь о трех перечисленных выше претендентах, то по сравнению с морфологией и компаративистикой, пожалуй, в семиотике задачи прояснения чистой ее версии намечены чуть более ясно. Перспектива создания не только специальных дисциплинарных вариантов семиотики, но и «чистой семиотики» (*pure semiotics*) была намечена еще в начале XX в. одним из основателей этой области знания Чарльзом Моррисом [Morris, 1971, p. 366].

Задачи выделения и консолидации общей компаративистики, общей морфологии и других органонов прежде не ставились. Только в последние несколько лет эта работа начала вестись в Центре перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН [Ильин, 2014; Кокарев, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2015; Фомин, 2014 б; Фомин, 2015].

Выработка более ясного представления об очищенных вариантах органонов – общей морфологии (общих принципах изучения форм), общей компаративистики (общих принципах сравнения, определения случаев и их множеств), общей (чистой) семиотики (общих представлений о знаках, их устройстве и связях между ними) – в перспективе позволит более ясно проследить уже существующие трансдисциплинарные методологические связи и наметить перспективы дальнейшей более продуктивной и систематизированной научной интеграции.

В настоящей статье мы обратимся к рассмотрению трансдисциплинарного потенциала семиотики: рассмотрим те теоретико-методологические положения, которые могут быть отнесены к ее очищенному варианту, и наметим, по каким векторам возможно движение от обособленно задействованных политологически насыщенных элементов семиотического инструментария к интегрированной картине трансдисциплинарного знания.

Почему семиотика?

Обычно при изучении физической реальности в науке пользуются моделями и методами на основе математики. Аналогичные же модели нередко применяются и в науках об обществе. Политическая наука здесь не исключение. Но могут ли у обществоведческих и гуманитарных исследованийиться в распоряжении исследовательские инструменты другого свойства – такие, которые, может быть, в большей степени были бы адекватны для задач описания именно действительности, а не реальности, но не уступали бы при этом математическим методам в эпистемологической ценности результатов? Ведь, будем откровенны, сегодня по-прежнему слишком часто – хоть иногда и негласно (что еще более коварно) – ставится знак равенства между математичностью и научностью. И апологетика специфичности наук о человеке и обществе а-ля Риккерта [Риккерт, 1998] нередко выглядит скорее как симптом комплекса неполноценности гуманитарного знания, нежели как надежное средство, которое позволило бы от этого комплекса избавиться. Где искать то, что станет подлинным, действительно проявленным методологическим фундаментом гуманитарного знания, а не его апологией?

В своей работе 1938 г. «Основания теории знаков» уже упоминавшийся Ч. У. Моррис писал: «Понятие знака может оказаться важным для объединения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их ограничивают от наук физических и биологических» [Моррис, 1983, с. 38]. Моррис отмечал также, что семиотика, для которой понятие знака выступает центральной категорией, должна занять двойственное положение в системе наук: с одной стороны, – стать наукой в ряду других наук, с другой – взять на себя роль унифицирующей метадисциплины, которая будет выступать основой всякой другой частной науки о знаках (лингвистики, логики, математики, риторики и т.д.) [Моррис, 1983, с. 38]. Какие у нас есть основания полагать, что семиотика в этом качестве может состояться?

Человек обладает способностью отражать мир в своем сознании. Он может осознать и факт своего существования, и ситуацию конечности онного. Более того, человек способен вообразить другие возможные и невозможные миры, а также представить в этих мирах не только себя, но и Другого. Ввиду этого человек су-

ществует одновременно в двух универсумах: в физической *реальности* и в осмысленной *действительности* [Ильин, 2009, с. 186–189].

Человеческую жизнь можно поэтому представить разложенной одновременно на два вектора – материальный и информационный¹. Она оказывается, с одной стороны, подчинена законам физического мира – и в этом своем модусе стремится к распаду, к смерти. С другой же стороны, реализуясь в своем информационном измерении, она оказывается обращена ко все большему упорядочению и осмысленности.

Семиотикой обычно называют науку, занимающуюся изучением знаков, знаковых систем (языков) и целостных совокупностей знаков (текстов). При этом понятия *знак* и *текст* понимаются максимально широко. То есть текстами именуются отнюдь не только устные или письменные сообщения на естественных языках, а вообще любые фрагменты человеческой действительности, результаты осмысленной деятельности.

При этом любой текст, как средство передачи информации, имеет свойство исчерпывать количество энтропии в мире. Именно этим все то, что существует в тексте, отличается от существующего в физической реальности. Мир в его физическом измерении состоит из объектов, которые изменяются во времени в сторону нарастания энтропии. Мир, реализующийся в тексте и создаваемый посредством осмысленной деятельности, по мере своего развертывания, напротив, накапливает негэнтропию (определенность)².

Необходимость человеческого существования в действительности – т.е. внутри текста – подталкивает нас к тому, чтобы изучать человека именно с позиций семиотической перспективы, с точки зрения методов, ориентированных на изучение мира в его знаковом, информационном аспекте. Такого рода оптика может обеспечить получение как гуманитарного знания (знания о бытии-в-тексте), так и знания социального (знания о бытии-в-тексте-для-

¹ Т. Парсонс высказывал похожую мысль, отмечая, что наш мир пронизывают два структурообразующих и взаимодополняющих «кибернетических» параметра: энергетическое нарастание контролирующих факторов (*hierarchy of controlling factors*) в сторону физико-органической среды и информационное нарастание обусловливающих факторов (*hierarchy of conditioning factors*) в сторону того, что он именовал «Конечной Реальностью» [Parsons, 1966, p. 28].

² Подробнее см., например: [Руднев, 2000, с. 9–22].

Другого). При этом всю совокупность методов, ориентированных на изучение текстов и знаков, можно назвать семиотическим органоном обществоведения.

О базовых элементах семиотического органона

Базовыми концепциями для семиотики можно считать прежде всего предложенные в рамках этой дисциплины модели знака. Такие модели были предложены Ч. Пирсом, Г. Фреге, Ф. де Соссюром, Ч.У. Моррисом и др.

Ч. Моррис, развивавший идеи Ч. Пирса, сформировал четырехчастную модель знака, согласно которой семиозис (процесс, в котором нечто функционирует как знак) рассматривался как единство следующих факторов:

- Знаковое средство – то, что выступает как знак;
- Десигнат – то, на что указывает знак;
- Интерпретанта – воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком;
- Интерпретатор – того, для кого тот или иной объект выступает знаком¹ [Моррис, 1983, с. 39–40].

Согласно концепции Морриса, нечто есть знак только потому, что оно интерпретируется как знак некоторым интерпретатором. Обобщенное учитывание чего-либо является интерпретантой лишь постольку, поскольку оно вызывается чем-то, функционирующим в качестве знака. А некоторый объект также является интерпретатором только потому, что он опосредованно учитывает нечто. Семиотика, таким образом, изучает не какой-то особый род объектов, а любые объекты в той мере, в какой они участвуют в семиозисе [Моррис, 1983, с. 39–40].

Также необходимо упомянуть о предложенной Ч. Пирсом типологии знаков. В соответствии с ней, знаки можно разделить на

¹ Пример: Путешественник (Интерпретатор) готовится вести себя соответствующим образом (Интерпретанта) в определенной географической области (Десигнат) благодаря письму (Знаковое средство), полученному от друга [Моррис, 1983, с. 40].

знаки-иконы (знаки по сходству; напр.: фотография)¹, индексальные (знаки по смежности; напр.: стук в дверь) и символические (знаки по конвенции; напр.: языковые знаки) [цит. по: Нёт, 2001].

Моррисовская модель знака во многом схожа с семиотическим треугольником Г. Фреге, представлявшим знак в качестве элемента, обозначающего определенный референт (значение, *Bedeutung*, *reference*) и выражающего определенный концепт (смысл, *Sinn*, *sense*) [Frege, 1892].

Ф. де Соссюром было предложено понимание знака как единства двух необусловленных друг другом (произвольных) аспектов – означающего и означаемого [Соссюр, 1977, с. 99–100]. Эта концепция принципиальным образом повлияла на развитие гуманитарного знания в XX в., став фундаментом для структуралистских исследований языка и культуры в целом.

Из базовых моделей знака могут разворачиваться более сложные и многоуровневые конструкции. С их помощью могут быть составлены модели метафор, мифов, образов и других комплексных семиотических феноменов [Фомин, 2014 б]. Так, например, Р. Бартом на основе структуралистской концепции знака была предложена двухуровневая семиотическая модель для мифа [Барт, 1989, с. 81]. А М.В. Ильин, исходя из идеи о многослойности действительности, через модель серии актов означивания выстраивает иерархию ее ступеней, восходящую от чистой материи к чистой информации [Ильин, 1995, с. 111].

Еще одно положение теории де Соссюра, на котором необходимо остановиться, – это введенное швейцарским лингвистом различие между понятиями *язык* (*langue*) и *речь* (*parole*). Введение этого различия по праву признается в качестве одной из главных заслуг де Соссюра. Под языком Соссюр понимает ту систему знаков, которая виртуально существует в сознании у каждого владеющего языком индивида, но которая при этом не располагается в его сознании никогда полностью и никогда индивиду полностью не принадлежит, им единолично не создается и не изменяется, поскольку является собой внешний по отношению к нему социальный

¹ Некоторые существенные для обществоведения наблюдения об иконичности см.: [Якобсон, 2001; Барт, 1989, с. 93; Золян, 2015; Фомин И.В. Категория... 2014].

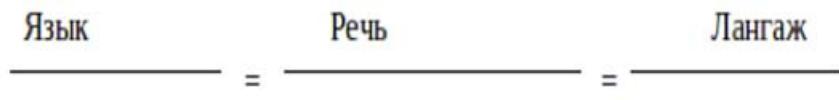
аспект речевой деятельности, существующий в полной мере лишь в коллективе [Соссюр, 1977, с. 52].

Что касается второго элемента сассюровской дихотомии – речи, то она понимается как результат говорения или письма, развернутый во времени и пространстве.

Обычно исследователи, обсуждая сассюровскую систему, фокусируются именно на дихотомии язык / речь, оставляя в стороне еще одно понятие, которое, однако, является не менее важным. Это понятие, которое традиционно переводится на русский язык как *речевая деятельность*. В оригинальном тексте «Курса общей лингвистики» соответствующий термин обозначается французским словом *langage* (лангаж) [Saussure, 1995, p. 20]. Дихотомическое же разделение на язык и речь происходит уже внутри всего множества проявлений лангажа – языка в самом широком смысле слова.

Для нас существенно было оговорить здесь значение всех трех терминов де Соссюра (язык, речь, лангаж), поскольку именно через призму этой триады можно подходить к пониманию еще одного ключевого для семиотики понятия – понятия *дискурса*. Дискурс можно рассматривать как языковую практику (лангаж) в неразрывной связи с ситуативным контекстом, с pragматическими, социокультурными, когнитивными установками автора и адресата того или иного текста. То есть если провести параллели между сассюровской терминологией относительно языка и речи и таким пониманием дискурса, то можно заключить, что дискурс есть социально суженный лангаж, который распадается на социально суженный язык – дискурс-рамку (дискурс-программу) и социально суженную речь – дискурс-произведение (дискурс-продукт) [Dijk, 1998, p. 3–4; Толпигина, 2002].

Представить такого рода соотношение можно в виде следующей пропорции:



Дискурс-рамка Дискурс-произведение Дискурс

Рис.
Соотношение триады «язык – речь – лангаж»

Причем [langue] + [parole] = [langage], а [дискурс-рамка] + [дискурс-произведение] = [дискурс].

Вести речь о дискурсе как о том, что позволяет соединить язык как систему (*langue*) и речь как деятельность (*parole*), но при этом конкретнее и уже языка в его целостности (*langage*), впервые предложил при уточнении соссюровской концепции бельгийский лингвист Эрик Бюиссанс [цит. по: Ильин, 2007].

Уровни семиотического анализа

Одним из главных элементов теоретической рамки заданной для семиотики Ч. Моррисом была триада уровней семиотического анализа:

- 1) семантика,
- 2) синтаксика,
- 3) прагматика.

Согласно этой схеме, сфера семантики включает отношения между знаками и означаемыми ими объектами, к синтаксике – отношения знаков между собой, а к прагматике – отношения знаков к интерпретаторам [Моррис, 1983, с. 42].

Моррисовская система уровней, однако, не уникальна. Зачастую авторами в рамках семиотически ориентированных исследований предлагаются и иные схемы препарирования знаковой реальности.

Так, например, в работе Ц. Тодорова, посвященной поэтике, мы встречаем разделение на *словесный, синтаксический и семантический* аспекты анализа, которые Тодоров соотносит с традиционными для классической риторики аспектами: *elocutio, dispositio* и *inventio* [Тодоров, 1979, с. 48–50].

Т. ван Дейк, в свою очередь, предлагает применительно к дискурсивному анализу вести речь о *rечевом* (*language use*), *коммуникационном* и *интеракционном* уровнях, выводя это членение из результатов препарирования ситуации социально контекстуализированной коммуникации, – ситуации, в которой адресант и адресат взаимодействуют (интеракция), передавая информацию (коммуникация) при помощи языка (*language use*) [Dijk, 1998, р. 2, 5].

В рамках дискурс-исторического подхода в критическом дискурс-анализе авторы предлагают еще одну схему членения, говоря о двух уровнях анализа: *тематическом* и *углубленном* [Krzyżanowski, 2010, р. 81]. При этом выделяемые уровни имеют отношение уже не столько к аспектам анализируемого текста, сколько к этапам применения тех или иных исследовательских техник.

При таком разнообразии подходов к разделению исследования на уровни, однако, не будет верным вести речь о какой-то фундаментальной фрагментированности поля семиотически ориентированных методов именно по этому основанию. Скорее, имеет место плюральность языков методологического описания, которые, однако, в ряде случаев вполне могут быть «переводимы» друг относительно друга. Кроме того, такое многообразие в значительной степени может быть оправдано разным расположением фокусов внимания в тех или иных подходах, а не какой-то их принципиальной разнородностью.

Вместе с тем нельзя не отметить два важных преимущества, отличающих моррисовскую схему (семантика – синтаксика – pragматика) от других предлагаемых систем членения. Во-первых, эта схема определенно не носит характера *ad hoc*, а напрямую выводится из базовых положений теории знаков. Во-вторых, она, ввиду своего крайне широкого охвата, обычно может без особых трудностей быть импортирована в ткань различных других подходов, не разрушая их внутренней логики, а лишь внося в них дополнительную упорядоченность. Кроме того, она вполне может претендовать на роль медиатора при решении тех самых задач «перевода» с одного методологического языка описания на другой. Наконец, к плюсам моррисовской триады стоит отнести тот факт, что она наиболее успешно справляется с задачами структурирования знаковой действительности вообще, а не только ее лингвистических проявлений.

В связи с этим можно сказать, что если мы и можем вести речь о какой-то теоретической рамке, которая могла бы быть общей для всех методов, образующих семиотический органон, то моррисовская триада вполне может претендовать на роль одного из базовых элементов такого рода теоретической конструкции. Тем более что она проектировалась именно в расчете на универсальный характер применения в рамках общей семиотики.

О семиотическом инструментарии в политических исследованиях

В своей максималистской версии трансдисциплинарная программа для семиотики на сегодня еще далека от реализации. Тем не менее после «лингвистического поворота» в науке XX в. некоторые инструменты наук о знаках сегодня уже встроены в арсенал наук о человеке и обществе. Однако существующие в этом пространстве семиотические инструменты пока не сложились в устоявшуюся и целостную систему семиотических методов исследования. Они существуют пока как россыпь отдельных приемов, которые образуют разнообразные сочетания и разбросаны по различным дисциплинам, школам, направлениям и исследовательским традициям (дискурс-анализ, когнитивное картирование, контент-анализ, метафорология, нарративный анализ и т.п.). В политической науке потенциальное поле применения семиотически ориентированных методов исследования очень широко.

Делая попытку охватить взглядом все множество семиотически ориентированных исследовательских инструментов, применяемых сегодня в политологии и вообще в социально-гуманитарных исследованиях, все такого рода приемы возможно представить расположенными на оси между двумя полюсами. И эти полюсы мы можем условно обозначить как *дескриптивный* и *критический*. Для всех этих подходов характерна объединяющая их ориентированность на исследование языка и речи (в широком смысле этих слов) в связи с определенными социальными и политическими контекстами, но если на дескриптивном полюсе в фокусе внимания исследователей находятся, по большей части, интралингвистические вопросы, то в критической крайности в этом фокусе оказываются уже почти исключительно вопросы социально-политической ситуативной обусловленности порядка порождения текстов.

Таким образом, вблизи дескриптивного полюса располагаются преимущественно разного рода исследования семиотической действительности, укорененные в непосредственном анализе текстов. А к критическому – тяготеют исследования *порядка дискурса*, т.е. постструктураллистские, деконструктивистские и постмодернистские интерпретации, являющиеся преимущественно размышле-

ниями по поводу социальных, исторических и психологических обусловленностей дискурсивных практик.

К числу дескриптивных семиотических инструментов можно отнести политический контент-анализ, исследования по политической метафорологии и проекты, связанные с когнитивным картированием. Ряд важных наработок в этой сфере был сделан уже в первой половине XX в. Так, например, следует отметить работы американских исследователей в области политической коммуникации П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла, Н. Лейтес и др. [Lazarsfeld, 2004; Лассуэлл, б. г.; Fischer, 1954; Будаев, 2009; Будаев, Чудинов, 2009]. Ими был внесен существенный вклад в исследование механизмов формирования общественного мнения, воздействия средств массовой информации на политическое поведение и взаимосвязей, существующих между политическим языком и политическими процессами.

Что же касается критического полюса в пространстве семиотических исследований, то он во многом черпает свои основания не из области исследований языка и коммуникации, а из марксистских и психоаналитических критических установок. Об исследовании текстов с критических позиций речь начинает идти в 1960-х годах в рамках французской школы анализа дискурса (М. Фуко, М. Пеше, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр и др.) [Серио, 1999; Бодрийяр, 1999; Фуко, 2004 и др.]. При этом, как уже отмечалось выше, для такого постструктуралистского анализа характерно не исследование собственно языковых вопросов, а анализ дискурса как системы порождения знания.

Так, например, Фуко определяет дискурс как «совокупность высказываний (высказанный, *énoncés*), принадлежащих к одной и той же системе формаций» [Foucault, 1969, p. 141]. Дискурс при этом рассматривается как часть дискурсивной практики, которая есть «совокупность анонимных исторических правил, всегда определенных во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического пространства условия выполнения функции высказанности» [Foucault, 1969, p. 153]. Таким образом, для Фуко дискурс интересен, прежде всего, как исторически, пространственно и темпорально детерминированный фон, обусловливающий появление того или иного высказывания. В качестве клю-

чевого вопроса дискурсивного анализа Фуко заявляет вопрос: почему в определенный исторический момент в определенных социальных обстоятельствах появляются именно те высказывания, которые появляются, а не какие-либо другие [Фуко, 2004, с. 51]?

Фукотианский дискурс-анализ, а также другие смежные философские подходы к исследованию дискурса формируют критический полюс семиотически ориентированных исследований. Также вблизи критического полюса находится ряд подходов, относимых к критическому дискурс-анализу (КДА) [A new agenda... 2005; Methods... 2001; Racism... 1991 и др.].

Несмотря на большое внимание, уделяемое в рамках КДА собственно лингвистической проблематике, КДА-исследования также предполагают и глубокую критико-интерпретативную вовлеченность исследователя и его ориентацию на выявление воздействия политических, социальных и идеологических сил на контексты порождения тех или иных текстов. Таким образом, критический дискурс-анализ, равно как и дискурс-исследования в рамках постструктуралистской и постмодернистской традиций, является собой меланж оснований структурной лингвистики с психоаналитическими, (нео) марксистскими и бурдьеанскими идеями.

Справедливым будет также отметить, что и сам по себе критический дискурс-анализ весьма неоднороден. Он представляет собой широкую и гетерогенную междисциплинарную область исследований, включающую разные подходы и направления, в рамках которых могут существенно варьироваться как исследовательский инструментарий, так и доля интерпретативно-критического компонента.

Существуют разные подходы к типологизации направлений критического дискурс-анализа, однако если следовать одной из них [Krzyzanowski, 2010], то в этой области исследований можно выделить следующие пять течений:

- 1) дискурс-исторический подход (Р. Водақ, М. Райзигл, Р. де Циллиа и другие исследователи из Венского и Ланкастерского университетов);
- 2) социокогнитивный подход (Т. ван Дейк и его последователи);
- 3) британское системно-функциональное направление (Н. Фэркро, Т. ван Леувен, Г. Кресс и др.);

4) психологически ориентированное направление (Лоффорская группа) (подход разработан в Университете Лоффборо М. Биллигом, Дж. Поттером, М. Ветерел и др.);

5) немецкая школа критического дискурс-анализа (Дуйсбургская группа) (представлена З. Йегером и Ю. Линком, а также отчасти У. Маасом и др.).

При всем разнообразии и широком распространении критически ориентированных приемов семиотического анализа, нельзя, однако, не отметить одного очевидного изъяна этого исследовательского направления. Зачастую при анализе политического дискурса исследователи обращаются к анализу на уровне прагматики без достаточного изучения других семиотических уровней. В частности, нередко происходит неотрефлексированное редуцирование дискурс-анализа до анализа дискурсивной прагматики. Трудно отрицать, что семиотический исследовательский аппарат в тех случаях, когда он применяется в политических исследованиях, часто действительно особенно привлекательным образом реализуется именно в своем прагматическом измерении. Ведь именно оно наиболее тесно связано с социальным контекстом. Однако полный отрыв прагматики от семантической и синтаксической «почвы» с высокой долей вероятности может оказаться контрпродуктивен. Похожая проблема прослеживается и в контент-анализе, который по сути остается приемом, работающим только на уровне семантики.

Вероятно, одной из главных задач на сегодня является устранение разрыва между дескриптивными и критическими приемами препарирования семиотической действительности. Также актуальна выработка таких исследовательских рамок, которые позволяли бы изучать знаковый универсум более целостным образом, обращая внимание и на семантические, и на синтаксические, и на прагматические его аспекты. Важной задачей видится и выработка исследовательских инструментов, которые позволяли бы эффективно и системно анализировать с точки зрения семиотики не только лингвистический материал, но и другие факты социальной и политической действительности. В таком случае станет возможным полноценное изучение через призму семиотики объектов действительности (семантика) и связей между ними (синтаксика), а также исследование идентитарных, аксиологических и социально-критических вопросов (прагматика).

Отдельное внимание следует уделить проработке категориального аппарата политических исследований. Целый ряд ценных категорий, которые могли бы быть концептуализированы или операционализированы с точки зрения семиотики, сегодня часто еще используются без такого рода проработки. Таковы, например, категории образа, имиджа, мема, символа, нарратива и т.п.

Более широкое применение аппарата семиотики позволило бы отчасти снять проблему идеографичности социальных и гуманитарных наук (которая в политической науке обычно решается посредством математики). С точки зрения семиотики исследуемые объекты рассматриваются не как полностью уникальные явления, а как воплощения некоторых абстрактных общих закономерностей. Выяснение такого рода семиотических правил по сути приближает гуманитарные науки к наукам номотетическим, т.е. позволяет вести речь о сформулированных на языке семиотики законах знаково освоенной действительности – подобно тому, как естественные науки оперируют законами, действующими в физической реальности, формулируя их на языке математики.

Проработка семиотического органона в его общей (очищенной) версии, а также развитие насыщенных его реализаций в политологии позволит систематически встроить предметно сфокусированные политические исследования в интегрированное трансдисциплинарное научное пространство.

Список литературы

- Авдонин В.С.* Методы науки в вертикальном измерении (метатеория и метаязыки-органоны) // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 5. – [В печати].
- Барт Р.* Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 72–130.
- Бодрийяр Ж.* Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с.
- Будаев Э.В.* О трех направлениях американской политической лингвистики в середине XX в. // Политическая лингвистика. – 2009. – № 3 (29). – С. 129–130.
- Будаев Э.В., Чудинов А.П.* Лингвистическая советология эпохи холодной войны // Политическая лингвистика. – 2009. – № 3 (29). – С. 47–52.
- Золян С.* Между миром и языком: к основаниям семиотики текста // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 5. – [В печати].

- Ильин М.В.* Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разъединенные сферы познания? // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 6–11.
- Ильин М.В.* Очерки хронополитической типологии / В 2-х частях. – М.: МГИМО. – Ч. 1.–1995. – 112 с.
- Ильин М.В.* Политический дискурс // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – С. 537–544.
- Ильин М.В.* Существуют ли общие принципы эволюции? // Полис: Политические исследования. – М., 2009. – № 2. – С. 186–189.
- Кокарев К.П.* Институционализмы: Сад расходящихся исследовательских тропок // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 192–202.
- Круглый стол «Математика и семиотика: две отдельные познавательные способности или два полюса единого органона научного знания?» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 122–142.
- Лассуэлл Г.* Язык власти // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/880> (Дата посещения: 20.01.2011.)
- Моррис Ч.У.* Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37–89.
- Нёт В.* Чарлз Сандерс Пирс // Критика и семиотика. – Новосибирск, 2001. – Вып. 3/4. – С. 5–32.
- Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. – 413 с.
- Руднев В.П.* Прочь от реальности. – М.: Аграф, 2000. – 432 с.
- Серио П.* Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – С. 12–53.
- Тодоров Ц.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей. – М.: Прогресс, 1975. – С. 37–113.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики // Труды по языкоznанию / Пер. с франц.; под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31–273.
- Толтыгина О.А.* Дискурс и дискурс-анализ в политической науке // Политическая наука. – М., 2002. – № 3. – С. 140–160.
- Фомин И.В.* Категория образа как средство изучения политической деятельности (на примере образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе) // Символическая политика. – М., 2014(а). – № 2. – С. 40–65.
- Фомин И.В.* Элементы семиотического органона для обществоведения: анализ повествований // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014(б). – Вып. 4. – С. 143–160.
- Фомин И.В.* Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 5. – [В печати].
- Фуко М.* Археология знания. – СПб.: Гуманитарная академия, 2004. – 412 с.

- Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика: Антология. – М.: Академический проект, 2001. – С. 111–126.
- A new agenda in (critical) discourse analysis: theory, methodology, and interdisciplinary / Ed. by Rio Wodak, Pio A. Chilton. – Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 2005. – 321 p.
- Dijk T.A. van. The Study of Discourse // Discourse as structure and process / Ed. by Teun A. van Dijkio – London: SAGE, 1998. – Vol. 1. – P. 1–34.
- Fischer G. A study of bolshevism by Nathan Leites // The Western political quarterly.– 1954. – Vol. 7, N 3. – P. 494–496.
- Foucault M. L'archéologie du savoir. – Paris: Gallimard, 1969. – 279 p.
- Frege G. Über sinn und bedeutung // Zeitschrift für philosophie und philosophische kritik, – Leipzig. – 1892. – S. 25–50.
- Krzyżanowski M. The discursive construction of european identities. A multilevel approach to discourse and identity in the transforming European Union. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. – 232 p.
- Lazarsfeld P.F., Merton R.K. Mass communication, popular taste, and organized social action // Mass communication and american social thought: Key texts, 1919–1968. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. – P. 230–241.
- Wodak R., Meyer M. Methods of critical discourse analysis. – London: SAGE, 2001. – 200 p.
- Morris C. Writings on the general theory of signs. – The Hague: Mouton, 1971. – 486 p.
- Parsons T. Societies: evolutionary and comparative perspective. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. – 120 p.
- Racism and the press / Ed. by T.A. van Dijk. – London; N.Y.: Routledge, 1991. – 276 p.
- Saussure F. de Cours de linguistique générale / Publié par C. Bally, A. Séchehaye; avec la collaboration de A. Riedlinger; ed. critique préparée par T. de Mauro; postf. de L.-J. Calvet. – Paris: Payot, 1995. – 520 p.

И.Ю. ОКУНЕВ

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИКЕ: НАВСТРЕЧУ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ
(ПОСТКРИТИЧЕСКОЙ) ГЕОПОЛИТИКЕ¹**

В настоящее время современные социальные науки все сильнее испытывают парадигмальный кризис. Как правило, исследования фокусируются на узких проблемах и развиваются только одну из парадигм научного знания, тогда как вероятность крупных открытий в рамках одного подхода представляется невысокой. Социальные явления возникают в результате комплекса взаимозависимых причин, что делает неубедительными объяснения в рамках только одного научного направления, что острее ставит вопрос о межпарадигмальном синтезе. Последние разработки в области геополитик в связи с этим представляют большой интерес. Постпозитивистский сдвиг затронул эту дисциплину, пожалуй, одной из последних, однако сейчас в ней явно прослеживаются тенденции к преодолению парадигмальных границ.

Классическая геополитика возникает в начале XX в. именно благодаря методологическому синтезу. У этого процесса было несколько измерений.

Во-первых, имеет место необходимость переосмыслить географию как область научного знания. Конец эпохи Великих географических открытий приводит к осознанию замкнутости, конечности земного пространства и, соответственно, стимулирует

¹ Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 15-33-01206.

переход от модели имперской экспансии к модели передела зон влияния в международных отношениях, от экстенсивного к интенсивному пути развития мировой экономики. География больше не может рассматриваться как дисциплина, только описывающая земное пространство, но она должна, вслед за другими науками, перейти на уровень теоретического осмысливания. Важно не только описание расположения объектов на поверхности Земли, но и поиск их взаимозависимостей. Мир к тому моменту представлялся закрытой системой, структура пространственной организации которого предопределяла характер не только физических, но и социальных процессов. В этой логике возникают первые геополитические концепции, интерпретирующие международные отношения через структурные особенности пространства, – разделение мира на сушу и море, существование мирового острова с труднодоступным центром Хартлендом и т.д.

Во-вторых, на классическую геополитику значительное влияние оказывает эволюционная теория Ч. Дарвина. Происходит попытка переноса эволюционных закономерностей с природных объектов на социальные. Убеждение, что в физическом и социальном мирах действуют общие закономерности, приводит к появлению представлений о естественных границах и необходимости территориальной экспансии как залога победы государства в естественной конкуренции видов. В то же время социал-дарвинизм позволяет переосмыслить детерминизм страноведческого подхода. Географическое положение не может детерминировать место государства в международной системе и характер его внешней политики, поскольку это исключало бы возможность эволюции как борьбы видов с победой наиболее приспособленного. Другими словами, пространство лишь создает среду, в которой конкурируют государства, и задача каждого из них – приспособиться к нему наилучшим образом, что предопределит его победу в соревновании видов. Таким образом, еще при рождении геополитика переориентируется только с фиксации закономерностей влияния пространства на политику на задачу управления пространством.

Данное сочетание – попытка управления пространством и оправдание экспансии – приведет геополитику к системному кризису во времена Второй мировой войны, после чего она будет за-

прещена в некоторых странах. Однако уже после войны возникнут две парадигмы – ревизионистская и критическая, – которые попробуют преодолеть возникшие проблемы.

Ревизионистское направление фактически будет продолжением классического, в нем также будут доминировать представления о существовании некоторых структурных факторов пространства, оказывающих влияние на международные политические процессы. Ловушка оправдания агрессивного экспансионизма и милитаризма будет обойдена в ревизионистской школе довольно элегантно – заменой знака плюс на минус, сменой дискурса экспансии на дискурс безопасности. Подобно тому как военные министерства во многих странах мира переименуют в министерства обороны, ревизионистская школа станет говорить об управлении пространством не с целью победы в соревновании видов, а сохранения мира и безопасности. Примером такой позиции станет концепция сдерживания в bipolarном противостоянии.

Ключевым понятием ревизионистской школы вскоре станет баланс сил не только как статичное состояние (*balance of power*), но и как динамический процесс (*balancing of power*). Аарон Клиеман удачно противопоставляет традиционное понимание баланса сил как уравновешенных весов балансу сил как вечному двигателю [Klieman 2013]. Клиеман подчеркивает, что этот новый подход требует переориентации внимания исследователя с констатации формулы баланса и ее «геометрии» (биполярная, многополярная, Запад – Восток, Север – Юг и т.д.) на изучение механизмов ее формирования и поддержания. Баланс сил в таком случае перестает быть только глобальным, его составными частями становятся региональные и локальные подсистемы, в которых ключевыми акторами могут выступать далеко не только великие державы. Данный процесс, резюмирует Клиеман, конституируется не только сверху, великими державами, но и снизу, всеми игроками на международной арене.

Если основатели геополитики считали географические факторы самыми важными в международных отношениях в силу их постоянства, то современная ревизионистская геополитика разделяет более мягкий подход, предложенный Н. Спикманом. Автор утверждал, что география не предопределяет, но создает условия и предлагает возможности, а пространственные факторы должны считаться не детер-

минирующими, а обусловливающими (*conditioning*) [Spykman 1938, p. 28–50].

К концу XX в. у геополитиков накопились значительные претензии к ревизионистским концепциям. Каждая из пространственных конфигураций международных отношений (противостояние морских и сухопутных держав, борьба за хартленд и римленд, противостояние Севера и Юга и т.д.) имела, по меньшей мере, два существенных ограничения. Во-первых, они объясняли лишь актуальную для них международную ситуацию (так, римленд был актуален для понимания баланса сил во времена «холодной войны», но оказался неспособным объяснить постбиполярное геополитическое равновесие). Во-вторых, они были идеологированными и зависимыми от внешнеполитических видений автора (пришел бы Х. Маккиндер к концепции хартленда, если бы не служил в Афганистане?).

На этом фоне в 90-е годы появляется так называемая критическая геополитика, отражающая постпозитивистский сдвиг в науке. Представители этого направления предположили, что геополитика государств формируется не под влиянием фундаментальных естественных законов и структур пространства, а посредством географического воображения и пространственных мифов – другими словами, под влиянием мира идеального. Это предопределило обращение к новым методам исследования, в частности дискурс-анализу, что до тех пор в геополитике казалось нонсенсом. Свою историю критическая геополитика ведет, по-видимому, с 1992 г., когда Джерард О’Тоал и Джон Эгню опубликовали статью «Геополитика и дискурс: практические геополитические рассуждения в американской внешней политике» [O’Tuathail, Agnew, 1992]. В ней была высказана мысль, что все модели глобальной политики находятся под влиянием географических представлений или даже основываются на них непосредственно, что совершенно не учитывалось классической геополитикой. Истоки направления, по всей видимости, стоит искать во французской геополитической школе: трудах Ива Лакоста и Мишеля Фуше и даже в иконографии Жана Готтманна и географическом поссибилизме Поля Видаль де ла Блаша. Французская школа издавна оппонировала идеям географического детерминизма и пыталась выстроить альтернативную научную парадигму, что выразилось в появлении целого ряда гео-

политических течений, в частности – школы журнала «Геродот» Ива Лакоста. Его подход к пониманию взаимоотношений пространства и международных отношений очень близок критической геополитике.

Таким образом, вопреки расхожему представлению о геополитике как об одной из теорий международных отношений, близкой реализму или неореализму, критическая геополитика показала, что она, наряду с историей и теорией международных отношений, образует самостоятельную парадигму трактовки международных отношений – пространственную. Более того, геополитика не может трактоваться в рамках реализма или неореализма, в своем развитии она, как отдельная парадигма, прошла ту же эволюцию: от реализма школы географического детерминизма Х. Маккинdera и К. Хаусхофера до либерализма географии человека В. де ла Блаша, от неореализма ревизионистской геополитики Н. Спикмена до постмодерна критической геополитики Дж. Тоала. Можно сделать вывод, что геополитика переживает эволюцию, переосмысливая свои объясняющие переменные – пространство и дифференцирующиеся в нем факторы.

Тем не менее вскоре критическая геополитика оказалась под шквалом критики. Главный критический тезис сводился к тому, что при изучении пространственных нарративов география оказалась забыта. Политические процессы определялись дискурсами о пространстве, в то время как объективные географические факторы и их влияние, в том числе на формирование данных дискурсов, оставались за рамками исследования. Это привело к тому, что критическая геополитика перестала быть географической дисциплиной, почти полностью уйдя в семиотическое поле.

В начале 2014 г. флагманский журнал *Geopolitics* вышел с передовой статьей, в которой была поставлена задача достижения методологического синтеза в геополитике, который бы позволил объединить ревизионистскую и критическую геополитику для создания единой картины влияния пространства на политические процессы [Terrence, Haverluk, Kevin, 2014]. Было предложено назвать новое направление неоклассической геополитикой, хотя, на наш взгляд, название «постkritическая» также было бы уместно. Попробуем включиться в данную дискуссию и предложить возможные пути синтеза противоборствующих подходов.

Спор между позитивизмом и постпозитивизмом в международных отношениях называют третьими великими дебатами. В рамках этого спора в конце 70-х – начале 80-х годов удалось несколько подорвать доминирование реализма и либерализма в осмыслении мирополитических процессов [Lapid 1989, p. 237]. Суть спора сводилась, главным образом, к вопросу о примате объективных (институциональных) или субъективных (дискурсивных) факторов в политических процессах, а также о познаваемости или непознаваемости мира, способности субъекта оставаться объективным в процессе познания [Kratochwill, Ruggie, 1986]. В рамках спора оба направления стали сближаться, в итоге возникли школы социального конструктивизма и критического реализма.

В рамках социального конструктивизма (П. Бергер и Т. Лукман, А. Вендрт, Ф. Краточвил, П. Катценштейн, Д. Кэмпбелл и др.) социальная реальность (в том числе, политические институты) воспроизводится людьми в процессах ее интерпретации и формулирования знаний о ней. Как отмечал Александр Вендрт, «люди воздействуют на объекты, включая и самих, акторов, на основе того смысла, который эти объекты имеют для них» [Wendt, 1992, p. 396].

Для понимания политического института социальный конструктивизм рассматривает не только его атрибутивные характеристики, но и дискурсивные. Политика обеспечивается не формализованными атрибутами, но риторикой, символами и их интерпретациями. Благодаря этому у общества появляется возможность изменять сам институт и его место в политической системе через его реинтерпретацию.

Идентичность, по мнению сторонников социального конструктивизма, формируется из самовосприятия и восприятия другими в результате опыта взаимодействия. Она воспроизводится в каждодневной политической практике через социальные, межкультурные, дипломатические и прочие виды коммуникации. В основе идентичности лежит динамическое диалектическое противопоставление «свой – чужой».

Социальный конструктивизм признает влияние структуры на процессы, но понимает ее шире: не только как отношения (по Д. Истону, Дж. Парсонсу и К. Уолтцу), но и как комплекс идей, речевые практики и символы. На их основе формируются социальные роли субъектов политического процесса. Если в позитивизме речь идет об одностороннем влиянии, то социальный конструктивизм

подчеркивает двусторонний характер взаимодействия. Статичному пониманию структуры противопоставляется динамический.

Одна из задач социального конструктивизма – исследование тех процессов, посредством которых человек формирует, институализирует, постигает и интегрирует социальные ценности в социальные феномены. Социальные конструкты как интерпретации реальности и объекты знания не предзданы от «природы», они должны постоянно поддерживаться и подтверждаться.

Социальный конструктивизм можно считать умеренным направлением в рамках постмодернизма, поскольку он не разделяет эпистемологический релятивизм последнего и считает, что помимо индивидуального опыта и интерпретации социального процесса есть и некий коллективный опыт, который позволяет создавать относительно стабильные интерпретации (архетипы). Данные коллективные интерпретации обеспечивают связность общества и формируют институты и процессы, которые воспринимаются как естественные, благодаря чему их можно изучать с помощью рационального подхода. Таким образом, социальный конструктивизм оппонирует позитивизму – представлению о том, что социальная реальность определяется независящими от сознания человека сущностями, – но, в отличие от постмодернизма, не противостоит ему, на основании чего может считаться метатеорией, уравновешивающей два противоборствующих направления в общественных науках.

Критический реализм (Х. Пятомякки и К. Уайт), двигаясь в том же направлении, провозглашает, что материальное и «мыслимое» нужно рассматривать как единое целое. В рамках концепции объединяются онтологический реализм, утверждающий наличие реальности, независимой от сознания, и эпистемологический релятивизм, признающий, что любое мнение является социальным продуктом и поэтому может быть ошибочным. Согласно положениям критического реализма, мир состоит из событий, впечатлений, дискурсов и структур вне зависимости от того, освоены они в опыте или отражены в дискурсе [Patomakki, 2006, p. 271].

Таким образом, теоретической основой неоклассической (посткритической) геополитики может стать соединение элементов модернистской (позитивистско-рационалистической) эпистемологии и постмодернистской (рефлексивистской) картины мира [Ка-

занцев, 2009, р. 106]. Подобное сочетание позволяет использовать отдельные наработки классической геополитики модерна, однако ограничивает обращение к географическому детерминизму, природоцентризму и социальному дарвинизму и значительно расширяет понимание пространственных аспектов политики за счет включения в проблемное поле исследовательских вопросов постмодернистской критической геополитики.

Предлагаемая для неоклассической (посткритической) геополитики схема влияния пространства на политические процессы должна состоять из следующий стадий.

Нулевая стадия заключается в существовании за пределами исследуемого процесса объективного пространства. Не оспаривая его существования, мы тем не менее выводим его из схемы, потому что прямого влияния на последующие процессы оно не оказывает. Вместе с тем все последующие механизмы опосредованно отталкиваются от объективного пространства, ориентируются на него и зачастую развиваются в рамках архетипов, которые им предлагаются.

На первой стадии – *неосознанной субъективизации* – происходит первичная интерпретация пространства. Она выражается в устойчивых пространственных нарративах и закрепленном пространственном опыте. Скажем, с детства наши представления о характере и структуре пространства формируются географическими картами и нашим опытом перемещения в пространстве. Не являясь объективными отражениями пространства, а лишь его интерпретациями, данные субъективные знания воспринимаются нами как объективные. Именно последнее обстоятельство обеспечивает их устойчивость и массовое коллективное восприятие.

На второй стадии – *осознанной субъективизации* – человеческое сознание начинает порождать, реинтерпретировать и трансформировать пространство. Например, мы разделяем пространство на части, ранжируем их, выделяя центр и периферию, осознаем существенные различия в качестве пространства, формируя важные границы, привязываем к пространству наши воспоминания или желания, порождая фантомы исторической пространственной памяти или проекты необходимой трансформации пространства. Все эти процессы мы совершаём не с объективным пространством, а с его субъективным субстратом, созданным нами на первой стадии в ходе неосознанного познания пространства, однако, по нашему

мнению, наши манипуляции мы совершаем в объективном пространстве, отталкиваясь от его объективных характеристик.

Следующая стадия – *осознанная объективизация*. До сих пор мы имели дело с индивидуальными представлениями, однако для некоторых из них возникает необходимость укоренения в массовом сознании. Именно здесь включается политика как сфера целеполагания и целедостижения. Политические процессы позволяют закрепить индивидуальные представления в массовом дискурсе, перевести их в плоскость разделяемых широкими слоями населения. На данном этапе пространственное воображение, становясь объектом интереса политических акторов, начинается закрепляться, приобретать элементы объективного.

Наконец, на четвертой стадии – *неосознанной объективизации* – происходит институционализация пространственных представлений, они переходят на уровень разделяемого коллективного бессознательного. Интерпретации пространства закрепляются в институтах, нормах, символах, что формирует представление о них как о естественных и предопределенных. Формализованные практики начинают оказывать системное влияние на общество и перестают осознаваться в качестве искусственных.

Механизма закрепления политическими процессами субъективных пространственных представлений в формализованные практики замыкается и становится цикличным.

Попробуем представить разворачивание описываемых стадий на примере института столичности.

Столица представляется одним из ключевых элементов политики-территориальной структуры государства. Это не только место размещения центральных органов власти, центр управления суверенитетом страны, но и важнейший элемент, формирующий, воспроизводящий и трансформирующий ее государственность, в первую очередь, оказывающий влияние на административно-территориальное устройство, систему взаимоотношений «центр – регионы» и региональную политику государства. Номинация столицы – это процесс познания нацией самой себя, эссенция представлений народа об их прошлом, геополитическом позиционировании и образе желаемого завтра.

Столицы можно считать одним из видов центра, наиболее типичным институциональным закреплением функции политиче-

ского центра в противовес «периферии». Вадим Россман отмечает, что столицы являются не только местом расположения органов государственной власти, но в их функции входит «представление нации о себе и окружающем мире. Столицы представляют собой идеализированные образы нации и национальной истории, своего рода нации в миниатюре» [Россман, 2013, р. 25–26].

Данное предположение можно подтвердить следующими фактами и рассуждениями.

Во-первых, название столицы часто совпадает с названием страны. В древнем мире государства возникали вокруг городов (Вавилонское царство, Римская империя и т.д.) и переносили название города-метрополии на всю страну. Однако в XX в., особенно в процессе деколонизации, новые столицы стали называть в честь государства, олицетворяя в ней идеальный образ нации. Бразилия строилась как символ новой Бразилии, Гитлер планировал построить столицу мира город Германия.

Во-вторых, контроль над столицей часто приравнивается к победе в международной войне. В последних военных конфликтах мы часто следим за положением дел в столице (Багдаде, Триполи, Дамаске), пытаясь понять состояние противостояния в стране в целом. Исторические события, знаменующие гибель государств и, соответственно, их столиц (разрушение, упадок или просто утрата статуса), либо кардинальные государственные и политические трансформации, включающие в себя и перенос столиц, оказываются феноменальным «двигателем», «мотором», с помощью которого формируется, становится, развивается динамичная историческая география столиц.

В-третьих, столичность, начиная с древности, связана, как правило, с ритуалами сакрализации властного пространства как центра. Как скажет Д.Н. Замятин, «столица – образ и понятие, бытие которых поддерживается онтологическим статусом государства и государственности. Однако если брать немного шире, то мы, несомненно, можем говорить о различных множественных вариантах феноменологии центра мира. Это подразумевает, кроме всего прочего, обращение к космогоническим контекстам архетипического мифа об основании столицы. Так или иначе, миф о столице / столичный миф оказывается онтологической границей, соединяющей и одновременно разъединяющей феномен божественной воли и

божественного указания и ноумен непосредственного властного цепеполагания и решения» [Перенос, 2013, с. 23]. Такая сакрализация особенно чувствуется в образе бывших столиц. Вокруг них формируется особый образ прошлого величия нации, ее второго отражения (сравните, например, Москву и Санкт-Петербург). В столицах также размещаются национальный музей, театр, архив, что подтверждает символическую значимость города для нации.

Наконец, иллюстрацией данной тенденции может служить дипломатический жаргон, при котором название страны заменяется именем столицы: «Москва заявила», «Вашингтон ответил».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что специфичность столицы подчеркивается как на символическом, так и на функциональном уровнях, что подтверждает наше предположение о существовании дополнительного механизма национального строительства, выражающегося в создании идеального образа нации и противопоставления его маргинальности периферии.

Процесс формирования института столичности проходит описываемые нами стадии.

Сама структура пространства предполагает существование лакун, собирающих пространственные связи, и территорий, удаленных от них, другими словами, в пространстве заложен принцип дифференциации, выделяющий потенциально центральные и периферийные точки. Однако положение столицы не предопределено только структурными институциональными факторами.

Существует два потенциальных мифа, формирующих противоположные архетипы столицы. Первый – миф о пупе Земли – о центральной точке пространства, собирающей все пространственные связи. Второй – миф о тридевятом царстве – о главной точке пространства, находящейся на самой оконечности, в самом дальнем углу пространства, наиболее отрешенной по отношению к узловым пространственным связям. Первый архетип развивается в политиях, ориентированных на внешнюю экспансию, второй – в замкнутых на внутренние источники.

Из нашего пространственного опыта формируются представления о нужном архете столицы, что на следующем этапе выражается в формулировании искусственных конструкций об идеальной столице государства. В какой-то момент политический актор закрепляет одну из таких конструкций в институте столицы,

из различных образов столицы выбирается один и маргинализируются другие. Начинается процесс институционализации идеального образа столицы – в пространственной структуре города и страны, нормах и правилах политico-территориальной организации политии, символическом пространстве. Данный процесс через какое-то время приводит к осознанию существующей модели столичности в стране как естественной и предопределенной.

Таким образом, можно говорить о том, что методологический синтез позитивистских и постпозитивистских направлений в geopolитике, развивающийся на наших глазах, начинает приближать нас к разгадке роли пространства в политических процессах, которая, по-видимому, состоит в соединении субъективных и объектививных факторов в единую модель.

Список литературы

- Казанцев А.А. «Конструктивистская революция», или О роли культурно-цивилизационных факторов в современной теории международных отношений // Политическая наука. – 2009. – № 4. – С. 88–114.
- Перенос столицы: Исторический опыт geopolитического проектирования. Материалы конференции 28–29 октября 2013 г. / Отв. ред. И.Г. Коновалова. – М.: Институт всеобщей истории РАН; Аквилон, 2013. – 164 с.
- Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и перемещения / В. Россман. – М. Изд-во Института Гайдара, 2013. – 250 с.
- Klieman A. Balance of Power, Balancing Power and Geopolitics: Paper presented at the IPSA RC-41 // Workshop on Geopolitics & Great Powers. – Jerusalem, 2013. – P. 26–64.
- Kratochwill F, Ruggie J.G. International organization: a state of the art of an art of the state // International organization. – 1986. – Vol. 40, N 4. – P. 753–775.
- Lapid K. The third debate: on the prospects of international theory in a postpositivist era // International studies quarterly. – 1989. – Vol. 33, N 3. – P. 235–254.
- O'Tuathail G, Agnew J. Geopolitics and discourse: practical geopolitical reasoning in American foreign policy // Political geography. – 1992. – Vol. 11, N 2. – P. 190–204.
- Patomakki H., Wight C. After positivism? The promises of critical realism // Theory of international relations. Vol. 4: Contemporary reflexive approaches in international Relations / Ed. by S. Chan, C. Moore. – London: Sage publications, 2006. – P. 216–267.
- Spykman N.J. Geography and foreign policy // American political science review. – 1938. – Vol. 32. – P. 28–50.

The three critical flaws of critical geopolitics: towards a neo-classical geopolitics /
Haverluk T.W., Beauchemin K.M., Brandon A. Mueller B.A. // Geopolitics. – 2014. –
Vol. 19, N 1. – P. 19–39.

Wendt A. Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics //
International organization. – 1992. – Vol. 46, N 2. – P. 391–425.

А.С. АХРЕМЕНКО, А.П. МИХАЙЛОВ, А.П.Ч. ПЕТРОВ

**ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ:
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕОРИИ ИГР?¹**

Введение

Если бы требовалось одним словосочетанием описать современную ситуацию с методологическими подходами в формальной политической теории – теории, анализирующей политику с помощью математических моделей, – ответ был бы «теория игр»². Наиболее явно господство теоретико-игрового моделирования проявляется практически во всех исследовательских направлениях, основанных на теории рационального выбора и неинституциональной теории, а также их совместном «потомстве» – институционализме рационального выбора (rational choice institutionalism). Названные парадигмы в совокупности охватывают львиную долю всей политической науки, особенно в ее североамериканской версии. Некоторые важнейшие политологические субдисциплины, например политическая экономия, находятся под тотальным «теоретико-игровым контролем». Представленность в политологии альтерна-

¹ Данное научное исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 14-06-00226.

² Здесь мы говорим исключительно о сфере политической теории, но не об эмпирических исследованиях. В последнем случае главенствующее положение с точки зрения используемой математики занимают приложения статистики (теории вероятностей и теории случайных процессов).

тивных¹ школ математического моделирования можно охарактеризовать словом «локальное», причем как в географическом, так и в «публикационном» смыслах. Так, системная динамика (*system dynamics*) развивается, по большому счету, в Массачусетском технологическом институте (MIT) и привязана к одному крупному журналу – *System Dynamics Review*. Центры агентно-ориентированного моделирования (*agent-based modeling*) распределены по миру несколько более дисперсно, но вновь почти все публикации сосредоточены в одном издании – *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*. Примечательно, что ни один из названных журналов не является специфически политологическим. В ведущих же изданиях, делающих акцент на формальной политической теории (например, *Journal of Theoretical Politics*), модели, основанные на иной технике, помимо теоретико-игровой, появляются крайне редко.

В данной работе мы постараемся показать, что, несмотря на ряд бесспорных достижений и наличие сильных интеллектуальных инструментов, теория игр не может эффективно решать некоторые основополагающие задачи современной политической науки. Более того, мы подозреваем, что никакая «теория всего» в политологии не может быть построена на данном подходе. Однако вначале опишем вкратце причины феноменальной популярности теории игр.

Прежде всего, отметим созвучие теоретико-игрового дизайна базовым установкам теории рационального выбора, со времен Э. Даунса [Downs, 1957] и, по большому счету, до настоящего времени игравших и играющих центральную роль в формально-теоретических исследованиях. Решающую роль среди таких установок играет заимствованный из неоклассической экономики принцип методологического индивидуализма [Arrow, 1994; Stigler, Becker, 1977]. Предполагается, что сложность и многообразие политических систем и процессов могут быть сведены к действиям отдельных акторов аналогично тому, как процессы ценообразования на свободном рынке могут быть представлены как результаты

¹ Имеются в виду именно альтернативные, а не просто другие школы. Так, пространственное моделирование и подходы, основанные на исследовании операций, во многих своих фундаментальных основаниях близки теории игр. Например, известную задачу о выборе двумя партиями идеологической позиции по медианному избирателю можно рассматривать и как пространственную, и как теоретико-игровую.

действий отдельных продавцов и покупателей, преследующих свои интересы. Строго говоря, актор в такого рода подходе не обязательно является собственно индивидом (отдельным человеком), а может быть организацией или группой, но действовать такая группа или организация будет как «эгоистический индивид» – выбирая из имеющихся альтернатив по принципу максимизации ожидаемой полезности¹ в рамках заданных ограничений. Именно такой *modus operandi* мы наблюдаем в теории игр: каждый игрок имеет набор стратегий (альтернатив), выбор из которых осуществляется в соответствии с максимальной ожидаемой выгодой. При этом в русле современных тенденций развития теории рационального выбора [Kroneberg, Kalter, 2012] теория игр предусматривает ограничения рациональности.

С методологическим индивидуализмом теснейшим образом (и содержательно, и генетически – происхождением из неоклассической микроэкономики) связана популярная в современной теоретической политологии и политической экономии идея «микрооснований» (*microfoundations*, MIFs) [Schmitter, 2010.]. Она играет, например, важнейшую роль в методологии моделирования Д. Асемоглу и Дж. Робинсона в их наиболее известной работе «Экономические основания диктатуры и демократии» [Acemoglu, Robinson, 2009]. В догматической версии (весома распространенной, см.: [King, 2008]) MIFs предполагает, что любые общие, глобальные (макроскопические) закономерности в поведении политических систем и процессов имеют право на существование постольку, поскольку они могут быть редуцированы до уровня индивидов, микроуровня. Методология теории игр наилучшим образом соответствует этой установке.

Очень важно при этом, что в теории игр индивиды не просто выстраивают линии поведения в соответствии со своими предпочтениями – они *взаимодействуют*. Выбор стратегии игроком осуществляется с учетом возможных ответных действий контрагента (*strategic interaction*) [Austen-Smith, 2008]. Игрок выбирает лучший (с точки зрения максимизации полезности) ответ на лучшие (с той же точки зрения) ответы других игроков – *the best response to the best responses*. Это определяющая идея для ключевого понятия

¹ В эволюционных играх – выживание потомства (см.: [Easley and Kleinberg 2010; Weingast and Wittman 2011]).

теории игр – равновесия Нэша [Gibbons, 2002; Leyton-Brown, Shoham, 2008]. Объективно это сильнейшая сторона теоретико-игровой методологии; с другой стороны, именно она накладывает наиболее серьезные ограничения на сферу применения теории игр.

Созвучность теории игр рациональной парадигме проявляется и в более специфически формальном смысле. «Сверхзадача» ТРВ состоит в построении политической теории по математическому, дедуктивному образцу, двигаясь от базовых аксиом к более общим теоремам. При таком подходе исключительно важно, чтобы исследование моделей приводило к общим аналитическим решениям (*analytical tractability*). Среди всех математических подходов в современной политологии теория игр – за счет очень сильных упрощений – является безусловным лидером по части доказательств. Только в статье, построенной на теоретико-игровом фундаменте, можно встретить доказательства сразу нескольких теорем или, по крайней мере, предположений (*propositions*). В этом конкурентное преимущество этой методологии особенно по сравнению с агентно-ориентированным моделированием, дизайн которого в еще большей мере «заточен» под идею MIFs [Epstein, 2007, de Marchi, Page, 2014].

Действительно, многие особенности «мейнстрима» современного политологического мышления либо отражены в теоретико-игровой методологии, либо родственны ей или, возможно, даже порождены ею. Полное согласие с гегемонией теории игр в формальной политической теории, работающей с институтами, будет выражаться в положительных ответах на следующие вопросы.

- Действительно ли политическая власть является феноменом микроуровня? Другими словами, можно ли пренебречь наличием сложной социальной и политической структуры? Можно ли определить форму здания по форме кирпичей?

- Могут ли все закономерности развития политических систем быть редуцированы к стратегическому взаимодействию ограниченного множества (как правило, двух) индивидов?

- Можно ли создать подлинную теорию эндогенных институтов (проанализировать не только влияние институтов на поведение, но и возникновение самих институтов внутри модели), воздействуя только на выгоды и издержки акторов?

• На самом ли деле изменение институтов (прежде всего формальных) предопределяет изменения в поведении, а не создает лишь новые рамочные условия для разнообразных поведенческих стратегий?

• Можно ли совместить понимание политики как процесса перераспределения ресурсов (в рамках институтов) с формальным подходом, не способным – по своему математическому «устройству» – моделировать процессы такого перераспределения в динамике?¹

Наш ответ на все эти вопросы – «нет». Аргументация в пользу каждого из них потребовала бы изложения, превышающего рамки данной статьи. Поэтому мы приступим иначе. Мы остановимся на гипотезе относительно качества институтов, которая в принципе не могла бы появиться в рамках теоретико-игрового мышления. Анализ этой гипотезы мы проведем посредством модельного инструментария, принципиально отличающегося от теоретико-игрового как по своим математическим особенностям, так и по содержательным предпосылкам.

2. Теоретико-игровой и динамический подходы к оценке качества институтов: Рациональность и робастность

С точки зрения соответствия теоретико-игрового подхода принципам неоинституциональной теории (особенно рационального институционализма) отметим два основных момента. В общем смысле институты как «правила игры» [North, 1990] получают в теории игр вполне конкретное формальное выражение – через множества доступных игрокам стратегий, определение последовательности их действий и вид платежной матрицы (матрицы, сопоставляющей стратегиям игроков численные выигрыши). В теории

¹ В теории игр есть динамическое направление – динамическая политическая экономия (*dynamic political economy*). Здесь до некоторой степени преодолеваются проблемы стандартного подхода, прежде всего в части перехода к динамическому описанию поведения системы. Однако это преодоление носит частичный характер. Оно сводится к выделению единственного зависящего от времени параметра (*dynamic linkage*, см., напр.: [Battaglini et al., 2012; Acemoglu et al., 2011]), что не позволяет отобразить полноценную динамику системы и снабдить модель нужными обратными связями.

игр может быть буквально реализован ключевой тезис «изменение институтов приводит к изменению поведения акторов через изменение их выгод и издержек» (ссылка). Меняя матрицу платежей, мы можем менять оптимальные стратегии игроков и, соответственно, равновесную ситуацию.

В теории игр есть свой подход к оценке качества институтов, – проблема, имеющая особое значение в контексте данной работы. Основополагающая идея этого подхода состоит в сопоставлении равновесия Нэша – реально сложившегося равновесия с Парето-оптимальным (нормативным, желательным) равновесием, в котором достигается максимально возможный уровень общего блага в данных условиях. Простейший пример – знаменитая игра «дилемма узника» (сноска), где игроки выбирают между кооперативным и некооперативным поведением. Реализуемое при рациональном (максимизирующем ожидаемую полезность) поведении игроков равновесие Нэша соответствует ситуации взаимного отказа от сотрудничества, а Парето-оптимальным является равновесие, соответствующее кооперативному поведению обоих игроков. Такое несоответствие является признаком «плохих» институтов. Меняя правила, воздействуя на матрицу платежей, мы можем добиться (в теории, по крайней мере) изменения поведения и совмещения равновесия Нэша и Парето-оптимального равновесия. Последнее и будет признаком «хороших» институтов.

Характерный пример применения такой логики в реальном политологическом исследовании дает теория селектората, разработанная Буэно де Мескита с коллегами [Bueno de Mesquita et al., 2003]. Она изучает влияние институтов избрания лидера (*selection institutions*) на формирование стимулов к проведению избранным лидером той или иной политики (именно определения величины налоговой ставки и распределения бюджета между инвестициями в публичные блага и трансфертами в пользу своих сторонников). Ключевыми понятиями этой теории являются *селекторат*, т.е. множество акторов, которые могут влиять на избрание лидера, и *выигрывающая коалиция*, т.е. часть селектората, усилиями которой он избран. Размер селектората S и минимальная численность выигрывающей коалиции W выступают в качестве институциональных параметров. В целом для демократии характерны большие значения S и W (приближенные, соответственно, к численности

взрослого населения и к половине населения плюс один голос), для монархии или хунты – малые, вплоть до нескольких человек. Вопрос о качестве институтов ставится здесь следующим образом: какие значения S и W более способствуют инвестициям в публичное благо, а какие – перераспределению благ в пользу сторонников власти? Для решения этого вопроса в рамках теоретико-игрового подхода постулируется рациональное поведение всех акторов (инкумбента, члеленджера и членов селектората). В частности, рациональность для инкумбента заключается в стремлении продлить свое пребывание у власти на следующий срок, а его инструментами для достижения этой цели являются, как указано выше, величина налоговой ставки и политика распределения бюджета. Основной результат исследования теоретико-игровой модели работы состоит в том, что чем больше размер селектората и выигрывающей коалиции, тем больше у инкумбента стимулов к инвестициям в публичное благо. Таким образом, «хорошие институты» представлены большими значениями S и W , ассоциированными с демократическим способом избрания лидера.

В целом при оценке качества политических институтов на основе парадигмы рационального выбора логика исследования в общих чертах выглядит следующим образом. Действуя в рамках определенных институтов, рационально действующий актор выбирает ту или иную линию поведения, стремясь максимизировать свою функцию полезности (например, продолжительность пребывания у власти или экономическую выгоду). При одних институтах это преследование актором собственных, индивидуальных интересов способствует возрастанию общественного блага, при других – убыванию. Это соотношение частных и общественных интересов и дает основание для оценки качества институтов. Другими словами, «хорошие» институты – это те, которые создают стимулы для ведущего к возрастанию общего блага поведению, «плохие» институты – это те, которые создают противоположные стимулы. Важнейшим элементом этой схемы является предположение о рациональности акторов – в частности, предполагается, что они способны правильно «прочитать» стимулы и понимают полезность строго определенным образом, намерены ее максимизировать и обладают достаточными для решения этой задачи вычислительными способностями.

Вопрос о рациональности, более точно – о том, насколько обоснована экспансия парадигмы рационального выбора и такого ее воплощения, как теория игр, из экономики в социальные науки, широко обсуждается на протяжении продолжительного времени [Сапир, 1995; Green, Shapiro, 1996; Kroneberg, Kalter, 2012]. Не имея возможности рассмотреть ее в деталях, отметим лишь один момент. Отказ от предположения, что все индивиды действуют рационально, влечет за собой признание того, что присутствует неопределенность относительно действий акторов. Выдвигаемое нами положение состоит в том, что эту неопределенность необходимо учитывать при оценке качества институтов. В соответствии с этим положением, *самые лучшие институты – это не только те, которые максимально способствуют общему благу при рациональном поведении акторов, но и те, которые способствуют общему благу при наиболее широком диапазоне отклонений поведения акторов от рационального*. Меру, характеризующую этот диапазон, мы называем робастностью. Можно сказать, что робастность характеризует институты в плане того, насколько они способны сохранять эффективность при «плохих» политиках акторов.

В следующем разделе вводится конкретная задача оценки качества институтов на основе их робастности, именно – проблема определения максимально допустимых границ неравенства. Там же присутствует краткое описание того, как эта проблема могла бы решаться на основе теоретико-игрового подхода.

3. Максимально допустимые границы неравенства: Оценка качества институтов на основе робастности

Рассмотрим процесс перераспределения ресурсов в социальной системе. Как и в модели [Ахременко, Петров, 2014], перераспределение понимается как результат политического соперничества различных акторов. Более конкретно, в модели принято предположение о том, что чем выше объем политических инвестиций некоторого актора (по сравнению с инвестициями других акторов), тем большую долю общественного ресурса он получит при перераспределении. Эффективность системы зависит, в частности, от того, как ресурс распределяется между более и менее эффективными

акторами. Различные социальные системы отличаются друг от друга тем, насколько большая разница в получаемых ресурсах возможна в данном обществе в принципе. Если, например, один из акторов обладает при распределении подавляющим политическим преимуществом над конкурентами, то насколько большим будет перевес получаемого им ресурса над другими? В одних системах победитель получает все или почти все, а проигравшему не достается почти ничего. В других, более эгалитарно устроенных обществах, «правила игры» таковы, что даже проигравший при перераспределении актор получает существенную долю общественного ресурса. Отметим здесь, что в политэкономической литературе большей «перераспределительной эгалитратностью» характеризуются демократии по сравнению с авторатиями [Acemoglu, Robinson, 2009; Knutson, 2011].

Ограничения на степень неравенства могут быть явно прописаны в законах (в частности, в налоговом законодательстве) либо неявно содержаться в социальных нормах. Важный вопрос заключается в том, как границы экономического неравенства влияют на эффективность социальной системы. При каких условиях общества с более эгалитарными «правилами игры» оказываются более, а при каких условиях – менее эффективными, чем те, что допускают более высокое неравенство? Подход, предлагаемый в настоящей работе, требует некоторого уточнения и переформулировки данного вопроса.

В соответствии с этим подходом, демонстрируемая системой эффективность зависит от трех факторов: экономической продуктивности акторов, действующих институтов (в данном случае – ограничений на неравенство), создающих рамки для политических стратегий акторов, и самих этих политических стратегий (которые мы иногда будем кратко называть политиками). Институциональные характеристики в данном случае – это правила перераспределения общественного ресурса. Они включают в себя, в частности, ограничения на степень неравенства. Таким образом, при распределении общественного ресурса актор получает тем большую его долю, чем больше его политические инвестиции (по сравнению с другими акторами), с учетом данных ограничений. Сам этот общественный ресурс возникает в результате производственной деятельности акторов на предыдущем временном периоде.

Экономическая продуктивность каждого актора является в модели экзогенно заданной постоянной величиной, равной отношению произведенного этим актором продукта к затраченному ресурсу. Например, если актор производит продукта на 120 руб., затратив на это ресурс в размере 100 руб., то его эффективность равна $x = 1,2$. В социальной системе могут присутствовать также акторы, имеющие продуктивность ниже единицы.

На производственную деятельность направляется лишь часть индивидуального ресурса, полученного актором в результате распределения общественного ресурса. Другая часть направляется им на борьбу за перераспределение общественного ресурса; эта часть ресурса «сгорает» в результате борьбы, теряясь безвозвратно. Доля индивидуального ресурса i -того актора, направляемую им на борьбу за перераспределение, далее будем обозначать π_i и называть его политической стратегией, или просто политикой. Заметим, что даже если все акторы высокопродуктивны, то система может быть неэффективной (т.е. общественный ресурс будет убывать с течением времени), если слишком большая его часть тратится на борьбу за перераспределение.

Чтобы формализовать приведенные рассуждения, определим пространство политик. Принимаемые акторами решения (политики) – это, в рамках данной модели, величины π_1 и π_2 , т.е. доли индивидуальных ресурсов первого и второго акторов, направляемые ими на институциональные инвестиции. Поэтому пару политик (т.е. решения обоих акторов) можно отобразить точкой $(\pi_1; \pi_2)$, принадлежащей квадрату $0 \leq \pi_1 \leq 1, 0 \leq \pi_2 \leq 1$. Этот квадрат мы будем называть пространством политик. В рамках модели можно найти политики $(\pi_1; \pi_2)$, приводящие (при определенных институтах) систему к росту. В соответствии со сказанным выше, чем больше таких политик, тем более робастными являются институты. В качестве меры робастности выберем площадь в пространстве политик, точки из которой приводят систему к росту.

Еще раз укажем на отличие принятого нами подхода от теоретико-игрового – на этот раз, конкретно в применении к данной модели. Теоретико-игровая модель в данном случае имела бы следующий вид. Каждый из двух акторов (т.е. игроков) решает определенную задачу оптимизации. Это сочетание оптимальных политик двух акторов называется равновесием Нэша. При одних

институтах равновесие Нэша образуют политики $(\pi_1; \pi_2)$, ведущие к росту, при других институтах – к спаду. Институты (в данном случае – правила распределения ресурса) полагаются тем более качественными, чем к более высокому росту они приводят в равновесии Нэша.

Возвращаясь к подходу, основанному на робастности, сформулируем вопрос о качестве институтов следующим образом. Правило распределения в данной модели включает в себя задание максимально допустимой при этом степени экономического неравенства (или, что то же самое, – максимально возможной доли ресурса, которая может достаться одному актору). При каких условиях общества с более эгалитарными «правилами игры» оказываются более, а при каких условиях – менее робастными, чем те, что допускают более высокое неравенство?

Дадим краткое описание полученного результата. Для низко-продуктивных и среднепродуктивных систем получено, что чем более сильное неравенство допускается, тем робастнее оказывается система, для высокопродуктивных – наоборот. При этом низко-продуктивные системы ни при каких политиках не могут показывать рост при отсутствии значительного неравенства.

Другими словами, если средняя экономическая продуктивность акторов достаточно низка, то для выживания этой системы недостаточно, чтобы наиболее продуктивный актор получил больше ресурса, чем низкопродуктивный. Надо еще, чтобы он имел возможность получить намного большую часть общественного ресурса. Если же продуктивность системы достаточно высока, то она является более робастной, если допускает лишь небольшое неравенство. Это связано с тем, что если продуктивность акторов достаточно высока, то при малом неравенстве система может оказаться эффективной не только в случае победы высокопродуктивного актора (когда он забирает себе большую долю ресурса), но и в некоторых случаях, когда большую часть ресурса забирает низкопродуктивный актор.

Таким образом, если критерием качества институтов является робастность, т.е. свойство системы позывать экономический рост при как можно более широком диапазоне политик акторов, то при повышении продуктивности система должна уменьшать степень максимально допустимого неравенства.

Следующие разделы настоящей работы посвящены построению модели, а также ее математическому анализу.

4. Динамическая математическая модель

Данная математическая модель в ряде своих черт развивает модели, предложенные в [Ахременко, Петров, 2012, 2014].

При изложении модели ограничимся случаем двух акторов. Такой упрощенной модели достаточно для целей настоящей работы. Обобщение на случай большего количества акторов не составляет труда с точки зрения построения модели, однако значительно усложняет ее анализ математическими средствами.

Итак, рассматривается система из двух акторов, имеющих экономические продуктивности, соответственно, x_1, x_2 . Построение модели проводится для акторов, имеющих произвольные значения продуктивности, однако при ее анализе мы ограничимся наиболее содержательным случаем $0 < x_1 < 1 < x_2$, соответствующим ситуации, когда в системе присутствуют как высокопродуктивный, так и низкопродуктивный актор.

Пусть в начальный момент акторы располагают ресурсами, соответственно, $R_1(0), R_2(0)$. Каждый из них направляет часть своего ресурса на выпуск продукта, другую часть – на борьбу за перераспределение общественного ресурса, которая будет происходить на следующем временном шаге. Обозначим через π_i долю индивидуального ресурса i -того актора, направляемую им на инвестиции в перераспределение. Объемы этих ресурсов в таком случае равны величинам:

$$w_1(0) = \pi_1 R_1(0), w_2(0) = \pi_2 R_2(0) \quad (1).$$

Объемы ресурсов, направляемых на производство:

$$r_1(0) = (1 - \pi_1) R_1(0), r_2(0) = (1 - \pi_2) R_2(0).$$

В соответствии с введенным выше понятием продуктивности, акторы производят продукт в количестве:

$$\begin{aligned} p_1(0) &= r_1(0)x_1 = (1 - \pi_1)R_1(0)x_1, \\ p_2(0) &= r_2(0)x_2 = (1 - \pi_2)R_2(0)x_2. \end{aligned}$$

Сумма этих продуктов есть общий (системный) ресурс следующего года:

$$R(1) = p_1(0) + p_2(0) = (1 - \pi_1)R_1(0)x_1 + (1 - \pi_2)R_2(0)x_2.$$

Далее, этот ресурс распределяется между акторами. Рассмотрим этот процесс более подробно.

В работе [Ахременко, Петров, 2014] была предложена модель, в соответствии с которой распределение ресурса происходит пропорционально политическим инвестициям акторов. Если подлежащий распределению на данном временном шаге общественный ресурс равен $R(1) = 900$ руб., причем первый актор вложил в борьбу за перераспределение 100 руб., а второй актор – 200 руб., тогда общественный ресурс будет поделен в соотношении 1 : 2, т.е. акторы получат, соответственно, 300 и 600 руб. Тот же результат будет, если первый актор инвестировал в политику всего 10 руб., а второй – 20 руб. Однако если первый актор инвестировал 10 руб., а второй – 200 руб., то ресурс будет поделен в соотношении 10 : 200, т.е. примерно 43 руб. против 857 руб. Тем самым, если ресурс распределяется пропорционально объемам политических инвестиций, то это может привести, по крайней мере теоретически, к сколь угодно большому неравенству между акторами.

Здесь мы рассмотрим случай, когда в «правилах игры» существует ограничение: неравенство не может превышать некоторого уровня, задаваемого максимально возможным значением индекса Джини G_0 . Пусть, например, как в последнем случае, первый актор инвестировал 10 руб., а второй – 200 руб., но действует следующее правило: как бы ни соотносились между собой политические инвестиции акторов, победитель не может забрать себе более чем две трети общего ресурса (чему соответствует $G_0 = 1/6$). Тогда, несмотря на колоссальное превосходство в политическом влиянии, при распределении второй актор забирает себе лишь 600 руб.

Математически можно показать, что в нашем случае (т.е. в случае системы, состоящей всего из двух акторов) доля победителя составляет $0,5 + G_0$. Например, если максимально возможный

Джини равен $G_0 = 0,2$, то победитель получает не более 70% распределяемого ресурса.

Два крайних случая ограничения на неравенство – это, с одной стороны, абсолютно эгалитарное правило, при котором ресурс всегда делится поровну ($G_0 = 0$), и, с другой стороны, – отсутствие ограничений на неравенство. Для системы из двух акторов отсутствию ограничений соответствует $G_0 = 0,5$. Заметим, что в подавляющем большинстве стран мира фактические значения коэффициента Джини по уровню доходов ниже, чем 0,5. Исключение составляют не более полутора-двух десятков стран Латинской Америки и Африки (причем у большинства из этих стран коэффициент Джини лишь незначительно превышает 0,5).

Вопрос оценки качества институтов в данном разрезе заключается в том, как наличие ограничения на неравенство влияет на эффективность системы. В самом грубом приближении, это ограничение можно считать стабилизирующим: оно исключает наиболее успешные и наиболее катастрофические сценарии. Действительно, если система состоит из высокопродуктивного и низкопродуктивного акторов, то ограничение, например, $G_0 = 0,25$ приводит к тому, что высокопродуктивный получит не менее четверти ресурса, что исключает самые худшие сценарии. С другой стороны, и самый быстрый рост также становится невозможным, так как «точка роста» получает не более трех четвертей общественного ресурса.

Итак, общественный ресурс делится между акторами пропорционально введенным формулой (1) весам:

$$R_1(1) = \frac{w_1(0)R(1)}{w_1(0)+w_2(0)}, R_2(1) = \frac{w_2(0)R(1)}{w_1(0)+w_2(0)},$$

но в пределах ограничения:

$$\min\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}, \frac{R_2}{R_1+R_2}\right) \geq \frac{1}{2} - G_0 \quad (2).$$

Тем самым, определены объемы ресурсов $R_1(1), R_2(1)$ на временном шаге $t=1$.

Для произвольного момента времени имеем:

$$R(t+1) = (1 - \pi_1) R_1(t) x_1 + (1 - \pi_2) R_2(t) x_2 \quad (3).$$

Итак, математическая модель построена. Перейдем к ее анализу в случаях отсутствия и наличия ограничений, а также сравнению этих ситуаций в плане робастности.

Рассмотрим сначала случай, когда ограничения на неравенство отсутствуют. Математический анализ (который мы опускаем) показывает, что тогда доля ресурса, получаемая более политически активным актором, возрастает, приближаясь при $t \rightarrow \infty$ к 100%. Рассмотрим, будет ли при этом система эффективной.

Если система состоит из низкопродуктивного актора x_1 и высокопродуктивного актора x_2 , т.е. $0 < x_1 < 1 < x_2$, то получаем, что необходимое (но недостаточное) условие эффективности системы имеет вид $\pi_1 < \pi_2$. Другими словами, такая система может быть эффективной лишь в том случае, когда высокопродуктивный актор инвестирует в политику больше, чем низкоэффективный. Это условие является необходимым, но не достаточным.

Пусть оно выполнено. Тогда при достаточно больших значениях t имеем из формулы (3): $R(t+1) = (1 - \pi_2) R(t) x_2$, т.е. для эффективности должно быть выполнено неравенство $\pi_2 < 1 - 1/x_2$. Итак, необходимое и достаточное условие эффективности системы имеет вид:

$$\pi_1 < \pi_2 < 1 - \frac{1}{x_2} \quad (4).$$

Таким образом, при отсутствии ограничений на неравенство система эффективна, если выполнены два условия:

- высокопродуктивный актор вкладывает в борьбу за перераспределение больше ресурса, чем низкоэффективный;

- высокопродуктивный актор вкладывает в борьбу за перераспределение ресурса не настолько много, чтобы истощить производственный ресурс.

Чтобы ввести числовую меру робастности, рассмотрим введенное выше пространство политик (π_1, π_2) .

Область $\pi_1 < \pi_2$ имеет вид большого треугольника выше диагональной линии на рис. 1. Область $\pi_2 < 1 - 1/x_2$ расположена ниже соответствующей горизонтальной прямой. Таким образом,

область эффективных политик имеет вид малого (выделенного серым) треугольника.

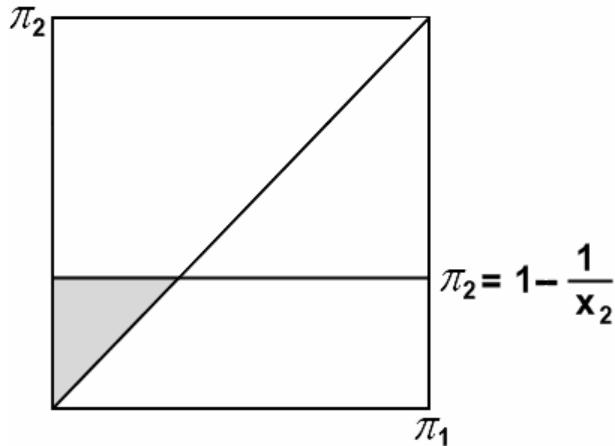


Рис. 1.
**Область эффективных политик
при отсутствии ограничений на неравенство**

Площадь этого треугольника примем в качестве числовой меры робастности, и числовое значение также будем называть робастностью.

Пусть, например, $x_2 = 2$. Это означает, что производство второго актора настолько эффективно, что на каждые 100 руб. производственных инвестиций он получает 200 руб. продукта. Тогда из неравенства (4) следует, что для эффективности системы необходимо, чтобы он тратил на политическую борьбу менее половины своего ресурса, т.е. $\pi_2 < 1/2$ (рис. 2, слева).

Если же $x_2 = 1,25$, то из неравенства (4) следует, что система эффективна, если высокопродуктивный актор тратит на политику менее 20% своего ресурса, т.е. $\pi_2 < 1/5$ (рис. 2, справа). Конечно, при этом он должен тратить больше, чем низкопродуктивный актор, т.е. $\pi_2 > \pi_1$.

Нетрудно вычислить, что в первом из рассмотренных случаев робастность равна $1/8 = 0,125$, а во втором — $1/50 = 0,02$.

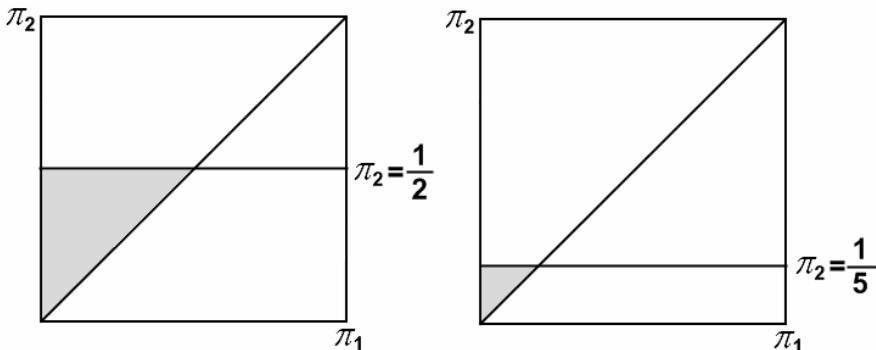


Рис. 2.

Область эффективных политик при отсутствии ограничений на неравенство при $x_2 = 2$ и $x_2 = 1,25$

Перейдем к рассмотрению случая, когда в системе присутствует ограничение на неравенство. Не вдаваясь в математические подробности, укажем два важных отличия данного случая от рассмотренного в предыдущем подразделе. Во-первых, ограничения на неравенство позволяют системе быть эффективной даже в некоторых случаях, когда низкопродуктивный актор больше инвестирует в перераспределение и получает большую долю общественного ресурса. Это происходит, если производство высокопродуктивного актора оказывается способным компенсировать потери низкопродуктивного. Пусть, например, $G_0 = 0,1$, т.е. общественный ресурс не может быть поделен более неравномерно, чем 60 на 40%. И пусть $x_1 = 0,5, x_2 = 2$ (т.е. первый автор производит в два раза меньше продукта, чем он затратил на производство, а второй актор – в два раза больше). Если в начальный момент времени общественный ресурс составлял 100 руб., и низкопродуктивный актор победил в политической борьбе, то он получает из них 60 руб., которые при производстве «усыхают» до 30 руб. В то же время второй актор получает 40 руб. и приумножает их, произведя продукта на 80 руб. Тем самым в системе произведено $30 + 80 = 110$ руб., и эта система является эффективной, если суммарные расходы акторов на борьбу между собой не превысят 10 руб. С введением ограничений на неравенство система приобретает некоторую robust-

ность в случаях, когда высокоэффективный актор проигрывает борьбу за перераспределение общественного ресурса.

Во-вторых, увеличивается количество случаев, когда система оказывается неэффективной, при том что высокопродуктивный актор получает большую долю ресурса. Это происходит, если низкопродуктивный актор потеряет при производстве настолько много, что высокопродуктивный не сможет восполнить убыток (напомним: если ограничений на неравенство нет, то низкопродуктивный актор, проигравший борьбу за перераспределение, не может нанести ущерб системе, так как не получает ресурса вообще).

Таким образом, вводя ограничения на неравенство, мы увеличиваем робастность в одном месте, но уменьшаем в другом (рис. 3). Вопрос заключается в том, в какую сторону (большую или меньшую) изменяется робастность системы в целом. Для того чтобы прояснить данный вопрос, рассмотрим отдельно высокопродуктивные и низкопродуктивные системы.

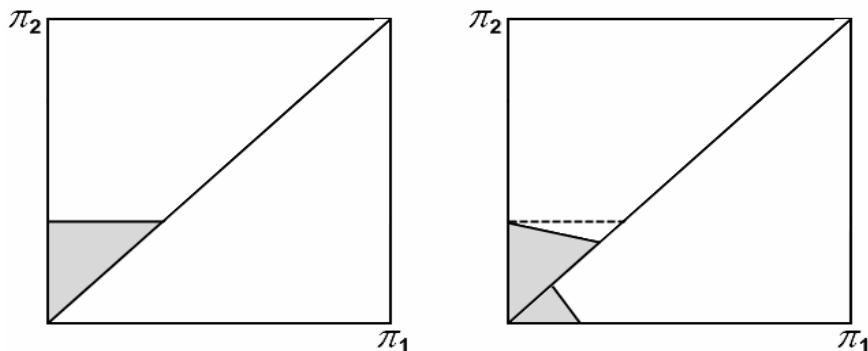


Рис. 3.

При введении ограничений на неравенство (правый рисунок) робастность уменьшается выше диагональной линии, но может появиться также ниже этой линии

Выше мы пользовались такими понятиями, как *низкопродуктивный* ($x < 1$) и *высокопродуктивный* ($x > 1$) актор. Расширим эти понятия на системы (с некоторым усложнением).

Далее будем называть систему низкопродуктивной, если $(x_1 + x_2)/2 < 1$.

Рассмотрим низкопродуктивную систему. Предположим, что в ней существует абсолютно эгалитарное правило: общественный ресурс делится между акторами поровну (независимо от инвестиций в борьбу за перераспределение). Очевидно, такая система не может быть эффективной, так как низкопродуктивный актор потеряет при производстве больше, чем приумножит второй.

Вычислительные эксперименты с построенной математической моделью показывают, что даже если распределение не является абсолютно эгалитарным, но все же достаточно жестко ограничивает неравенство, то низкопродуктивная система также не может быть эффективной. Например, для эксперимента, представленного на рис. 4, эффективных политик не существует при $G_0 \leq 0,15$ (т.е. если общественный ресурс не может быть разделен более неравномерно, чем 65 на 35%). Таким образом, низкопродуктивная система является наиболее робастной при отсутствии ограничений на неравенство.

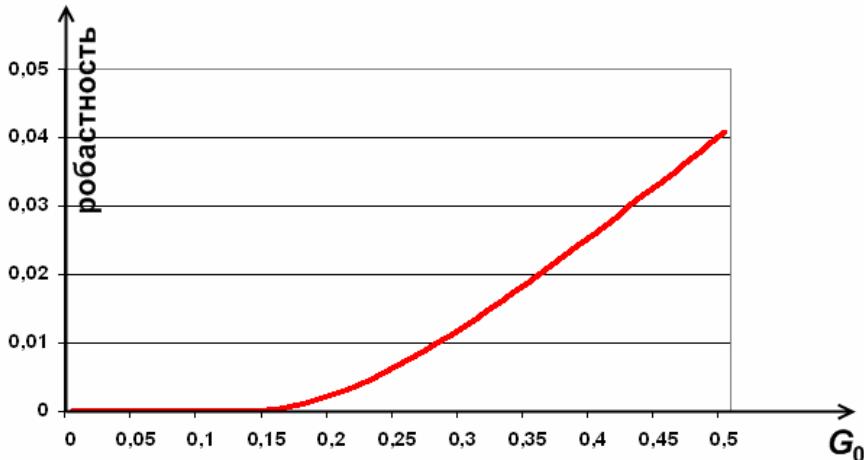


Рис. 4.

**Зависимость робастности от уровня максимально допустимого неравенства для низкопродуктивной системы
(вычислительный эксперимент проведен для $x_1 = 0,3, x_2 = 1,4$)**

Перейдем к рассмотрению систем, для которых $(x_1 + x_2)/2 > 1$. В этом случае при любом значении G_0 в пространстве политик существует область эффективности – см. рис. 5, 6.

Другими словами, система обладает робастностью даже при $G_0 = 0$.

Вычислительные эксперименты с моделью показывают, что общие закономерности в данном случае имеют следующий вид:

- минимальная робастность имеет место при некотором срединном ограничении между 0 и 0,5, а максимальная робастность – либо при абсолютно эгалитарном ограничении $G_0 = 0$, либо при отсутствии ограничений на неравенство ($G_0 = 0,5$);

- если системная продуктивность $(x_1 + x_2)/2$ не слишком высока, хотя и превышает единицу, то наиболее робастной является система с отсутствием ограничений ($G_0 = 0,5$, см. рис. 5). Для систем с более высокой продуктивностью робастность максимальна при абсолютно эгалитарном ограничении $G_0 = 0$ (рис. 6). В первом случае будем говорить о среднепродуктивных системах, во втором – о высокопродуктивных.

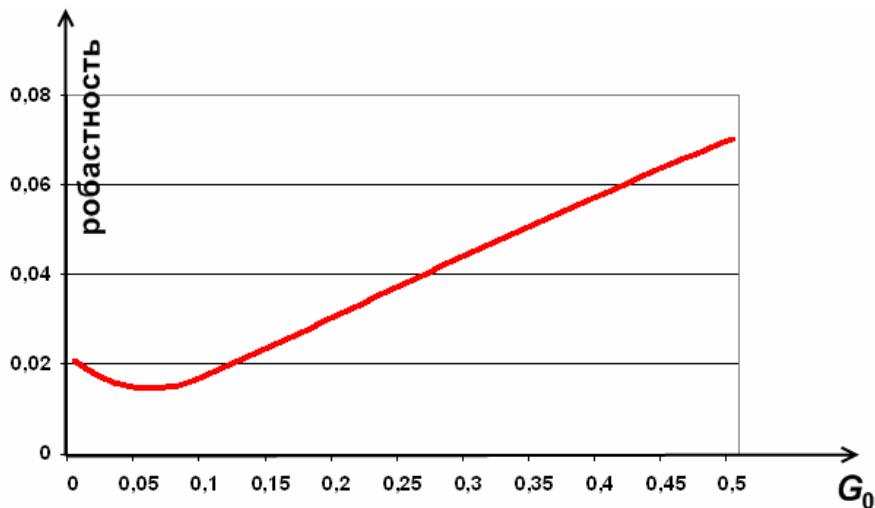


Рис. 5.

Зависимость робастности от уровня максимально допустимого неравенства для среднепродуктивной системы (вычислительный эксперимент проведен для $x_1 = 0,6, x_2 = 1,6$)

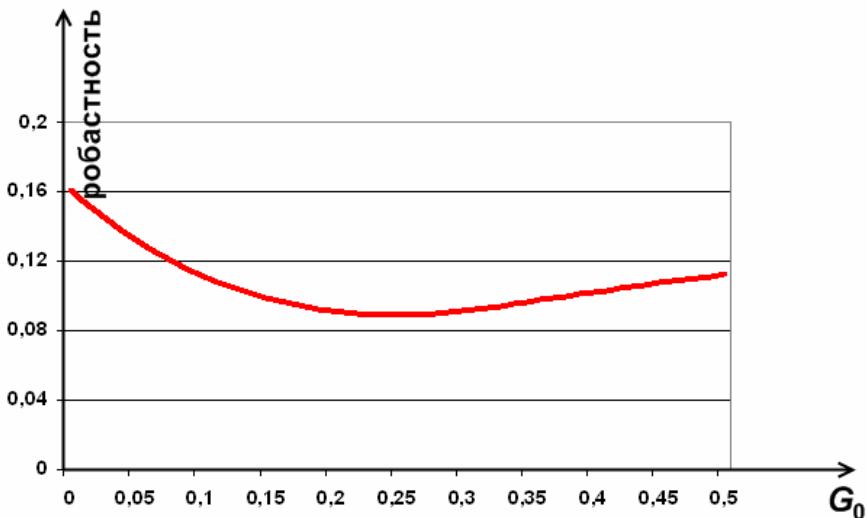


Рис. 6.

Зависимость робастности от уровня максимально допустимого неравенства для высокопродуктивной системы (вычислительный эксперимент проведен для $x_1 = 0,8, x_2 = 1,9$)

В заключении отметим, что предлагаемый в данной работе подход не является «жестко конкурентным» по отношению к существующим методологиям. Скорее, речь идет о дополнении и расширении имеющихся инструментов формально-теоретического анализа. Нашей основной задачей было продемонстрировать, что формальная политическая теория может оперировать подходами, принципиально отличающимися от теоретико-игровых как по базовой методологии, так и по используемой математике. Если результаты показались читателю заслуживающими внимания, жизнь за пределами теории игр все-таки существует.

Список литературы

Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и – Полис: Политические исследования. – М., 2012. – № 6. – С. 81–100.

- Aхременко А.С., Петров А.П. Институциональное инвестирование и эффективность общественной системы: опыт математического моделирования // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин.* – М., 2014. – Вып. 4. – С. 62–82.
- Capir Ж. Новые подходы теории индивидуальных предпочтений и ее следствия // Экономический журнал ВШЭ.* – М., 2005. – № 3. – С. 325–360.
- Acemoglu D., Robinson J. Economic origins of dictatorship and democracy.* – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 2009. – 434 p.
- Acemoglu D., Ticchi D., Vindigni A. Emergence and persistence of inefficient states. // Journal of the European economic association.* – 2011. – Vol. 9, N 2. – P. 177–208.
- Arrow K. Methodological individualism and social knowledge. // American economic review.* – 1994. – Vol. 84, N 2. – P. 1–9.
- Austen-Smith D. Economic methods in positive political theory // The Oxford handbook of political economy.* – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – June. – Mode of access: <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199548477.001.0001/oxfordhb-9780199548477-e-050> (Дата посещения: 04.02.2015.)
- Battaglini M., Nunnari S., Palfrey T. Legislative bargaining and the dynamics of public investment // American political science review.* – 2012. – Vol. 106. – N 2. – P. 407–429.
- The logic of political survival / Bueno de Mesquita B., Smith A., Siverson R., Morrow J.* – Massachusetts: MIT Press, 2003. – 550 p.
- Downs A. An economic theory of democracy.* – New York: Harperand Row, 1957. – 310 p.
- Easley D., Kleinberg J. Networks, crowds, and markets: reasoning about a highly connected world.* – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 2010. – 744 p.
- Epstein J. Generative social science: Studies in agent-based computational modeling.* – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2007. – 384 p.
- Gibbons R. Game theory for applied economists.* – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2002. – 288 p.
- Green D., Shapiro I. Pathologies of rational choice theory. A critique of applications in political science.* – Yale, MI: Yale univ. press, 1996. – 254 p.
- King J. Microfoundations? // Working paper of La Trobe university.* – Melbourne, 2008. – Mode of access: http://www.boeckler.de/pdf/v_2008_10_31_king.pdf (Дата посещения: 04.02.2015.)
- Knutsen C. Democracy, dictatorship and protection of property rights // Journal of development studies.* – 2011. – Is. 47 (1). – P. 164–182.
- Kroneberg C., Kalter F. Rational choice theory and empirical research: methodological and theoretical contributions in Europe // Annual review of sociology.* – Palo Alto, CA, 2012. – Vol. 38. – P. 73–92
- Leyton-Brown K., Shoham Y. Essentials of game theory.* – Morgan and Claypool Publishers, 2008. – 88 p.
- Marchi B., Page S. Agent-based models // Annual review of political science.* – 2014. – Vol. 17. – P. 1–20.
- North D. Institutions, institutional change and economic performance.* – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 1990. – 159 p.

- Schmitter Ph.* Micro-foundations for the science(s) of politics: The 2009 Johan Skytte prize lecture // Scandinavian political studies. – 2010. – Vol. 33, N 3. – P. 316–330.
- Stigler G., Becker G.* De gustibus non est disputandum // American economic review. – 1977. – Vol. 67 (2). – P. 76–90.
- Weingast B., Wittman D.* Overview of political economy: The reach of political economy // The Oxford handbook of political science. – Oxford: Oxford univ. press, 2011. – P. 1–19.

КОНТЕКСТ: ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

О.В. ПОПОВА

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Введение

Предлагаемая вниманию научной общественности статья носит обзорный характер, но в известной степени она является и проблемной.

С одной стороны, дискуссия о состоянии политической науки в России, постоянно идущая среди отечественных ученых, с некоторыми материалами которой можно ознакомиться на сайте Российской ассоциации политической науки, свидетельствует о глубокой убежденности многих российских ученых в том, что эмпирические политологические исследования в нашей стране значительно продвинулись вперед по сравнению с теоретическими и методологическими. Но этот тезис отнюдь не означает того, что методы, используемые в эмпирических исследованиях, посвященных анализу актуальных политических процессов и институтов, являются новаторскими и соответствуют современному состоянию мировой науки. Кроме того, автору этой статьи, активно занимающемуся эмпирическими и прикладными политическими исследованиями, многократно приходилось сталкиваться с крайне пренеб-

режительным отношением к этому уровню политической науки со стороны некоторых именитых коллег-теоретиков.

С другой стороны, не вполне понятно, что следует считать «новыми» направлениями. Насколько актуальна в целом такая постановка вопроса? Не продолжает ли эмпирическая политология традиционно двигаться по пути постепенного заимствования и приспособления к специфике своего предмета методов, уже успешно освоенных или осваиваемых в других общественных и гуманитарных науках? Ответить на эти вопросы не так легко в связи со следующими обстоятельствами.

Во-первых, в эмпирических исследованиях в общественных науках в целом сложилась практика очень медленного освоения методов, которые разрабатываются в области математики и статистики. Так, например, факторный, дискриминантный и кластерный виды анализа, которые активно развивались уже в середине XX в., на излете ушедшего столетия все еще интерпретировались в научной литературе по общественных наукам как новаторские.

Во-вторых, по тематике и содержанию учебников «Политический анализ и прогнозирование» [Ахременко, 2012; Боришпольц, 2010; Попова, 2011; Туронок, 2006] нельзя судить об уровне массового использования методов исследования российскими политологами. В реальных исследованиях в большинстве случаев используются только элементарные приемы группировки данных. Дискуссии с коллегами показывают, что для многих представителей общественных наук даже такие элементарные приемы, позволяющие обнаружить скрытые статистические закономерности, как анализ стандартизованных остатков в микроанализе комбинированных таблиц данных, представляются чем-то ненужным или избыточным.

В-третьих, даже у высококвалифицированных ученых срабатывают стереотипы активного освоения и концентрации на использовании одного-двух методов. Так, например, до сих пор некоторые ведущие российские политологи, имеющие высокие показатели индекса Хирша в РИНЦ, массу публикаций в англоязычных периодических научных изданиях и весьма неплохие показатели в зарубежных базах цитирования, не продвинулись в использовании математических методов дальше классического варианта линейного парного или множественного регрессионного

анализа, хотя он плотно вошел в арсенал общественных наук еще в середине XX в. В результате возникает парадоксальная ситуация методического агностицизма: то, что ученый-политолог не знает или не делает, как бы и не существует как средство анализа политических процессов вообще. Более того, подобный методический агностицизм подчас становится основанием пренебрежительного отношения к работе коллег, которые используют иные технологии политического анализа.

В-четвертых, в некоторых случаях материалы, преподносимые как нечто новаторское, на самом деле являются стандартными, хорошо отработанными процедурами. Например, некоторые принципы булевой алгебры применяются в сложных методах статистического анализа (кластерный анализ, многомерное шкалирование, факторный анализ и т.д.), когда исследователь вынужден использовать так называемые бинарные (дихотомические) шкалы, преобразуя наличную информацию, подчас не количественную, в биномимальную с кодировкой 1 (интересующее исследователя свойство) и 0 (другие данные).

В-пятых, в российской политической науке пока не сложилась устойчивая практика акцентирования внимания на разработке авторских методик эмпирических исследований и активной публикации материалов, посвященных обоснованию использования того или иного метода для решения аналитических задач. Акцент делается только на результат, но методологическое и методическое обоснование достоверности полученных данных чаще всего в научных публикациях если не отсутствует, то представлено в предельно лапидарном, сжатом виде. Исключения есть, но они крайне редки.

У российских социологов есть профильный журнал («Социология: методология, методы и математическое моделирование» («Социология: 4 М»), в котором с начала 1990-х годов пытаются решать актуальные методические задачи эмпирических исследований; у отечественных политологов ситуация несколько сложнее, поскольку отдельные публикации в научных журналах «Политическая наука», «Полис» и «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС», а также издание с 2013 г. созданного при поддержке Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований

ИНИОН РАН и Московского Роккановского центра ежегоднику «МЕТОД» проблему принципиально пока не решают.

Было бы несправедливым утверждать, что ничего конструктивного для решения этих задач в российском политологическом научном сообществе не делается. Внимание аналитиков-политологов постепенно концентрируется на проблеме выбора эффективных методов анализа применительно к различным тематическим областям политологического знания. Достаточно упомянуть, что в 2014 г. теме сложных методов анализа был посвящен XV Всероссийский научный семинар с международным участием «Современная политическая реальность и государство: сложные методы исследований» (Анапа, октябрь 2014 г.), организованный Российской ассоциацией политической науки (РАПН) совместно с Кубанским государственным университетом. Кроме того, одна из наиболее плодотворно отработавших секций ежегодной Всероссийской конференции РАПН с международным участием «Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы» (Москва, ноябрь 2014 г.) была также посвящена комплексным видам анализа сложных политических процессов. Можно надеяться также, что одно из постоянных направлений конкурса (РФФИ) – использование **естественно-научных методов исследований в гуманитарных науках** – со временем поможет сдвинуть решение этой проблемы с «мертвой точки».

Актуальные методические направления исследований российских политологов

На наш взгляд, на сегодняшний день благодаря энтузиазму и усилиям ученых-политологов заслуживают особого внимания четыре группы методов исследования политических процессов.

Во-первых, следует отметить усилия отечественных исследователей в области индексного анализа. В последнее десятилетие российскими учеными проводится активная аналитическая работа по разработке индексного инструментария для оценки различных проектов органов государственной власти, в том числе акцентирующих внимание на качестве взаимодействия государственных

структур с институтами гражданского общества в нашей стране [Попова, 2013, с. 326–351].

В основе этих процедур лежит достаточно хорошо известный метод редукций понятий к индексам, включающий четыре этапа: 1) формирование первоначального образа явления; 2) спецификация измерений явления, представленного определенным (и) понятием (ями); 3) выбор индикаторов спецификации; 4) формирование из этих индикаторов индексов, соответствующих анализируемому явлению. Механизм создания индекса не сводится к процедуре операционализации, поскольку отношение между выбранными индикаторами и исследуемым явлением имеет вероятностный характер. При увеличении количества индикаторов повышается надежность измерения / оценки, что положительно сказывается на качестве индекса.

Среди индексных методик, разработанных отечественными исследователями и прошедших серьезную аprobацию, следует назвать:

а) рейтинг прозрачности госзакупок, разработанный в 2006 г. сотрудниками Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУФОР) и Межрегионального общественного движения «Против коррупции» (рейтинг опирается на результаты периодического анкетирования представителей государственных федеральных, региональных и местных закупщиков, а также корпоративных закупщиков);

б) композитный индекс оценки обратной связи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти (КИ_ОС) [Леонова, Якимец, 2008, с. 351–363];

в) рейтинг информационных ресурсов органов государственной власти (ИРСИ);

г) рейтинг демократичности выборов в регионах, разработанный экспертами Независимого института выборов;

д) ЯН-индекс Института системного анализа РАН для оценки и мониторинга публичной политики в регионах РФ¹;

е) АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального партнерства [Акрамовская, Якимец, 2007, с. 3–10];

¹ В некоторых публикациях ЯН-индекс обозначается как Индекс оценки состояния публичной политики (ПП).

ж) индекс ПРИМ (Балезина, Якимец, 2010, с. 179–181) для оценки инновационного потенциала регионов РФ [Якимец, 2006, с. 138–146; Якимец, 2008, с. 107–121; Балезина, Якимец, 2010, с. 179–181].

Мы писали уже неоднократно о неоднозначности технологий создания и использования индексов в идеологических целях [Попова, 2006, с. 31–50; Попова, 2009, с. 271–291; Попова, 2012, с. 81–93]. Важнейшей задачей для ученых является создание инструментов, не чувствительных к чьей-либо политической воле. Безусловно, особый, позитивный вклад в это направление вносит В.Н. Якимец. Индексы, предложенные В.Н. Якимцом и его коллегами, позволяют проводить сравнение различных политических институтов и процессов, в том числе государственных программ и проектов.

Во-вторых, речь идет об использовании методов сетевого анализа. От первоначальных идей использования анализа сетей коммуникации для оценки характера социальных связей в обществе (Я. Морено) в 1950-х годах и активной разработки теории и методов анализа различного рода сетей в 1960–1980-х годах (Д. Ноук) современные ученые, занятые изучением политических проблем, продвинулись вперед значительно. В сетевом анализе на сегодняшний день применяются различные модели, которые опираются на представление сетей в виде графов. Помимо традиционного моделирования, основанного на теории графов и включающего оценку конфигурации сети, ее силы и частоты связей (плотности сети), а также решения задачи перколяции – моделирования информационных потоков в сетях, в настоящее время исследователи активно используют и другие модели: малых миров; кластерную модель; распределения степеней вершин; многоуровневого сетевого диадного анализа (the multilevel p_2 model; разработана в 2004 г. и реализована в статистическом пакете StOCNET); экспоненциального моделирования случайных графов (ergm); стохастическую агент-ориентированную модель (agent-based modeling). Эти методы эффективно используются в изучении межэтнических, в том числе конфликтных взаимодействий, функционировании различных политических закрытых групп и т.д. [Duijn, Vermunt, 2006, р. 2–6; Baerveldt, Zijlstra, Wolf, Van Rossem, Duijn, 2007, р. 701–719; Vermeij, Duijn, Baerveldt, 2009, р. 230–239].

Кроме того, судя по публикациям 2013–2015 гг. в журнале «Political analysis», для зарубежных исследователей актуальна оценка политического содержания различных форм коммуникации в социальных сетях в Интернете (блогов, твитта, чатов, сетевых сообществ и т.д.) с помощью одной из моделей Байеса (Bayesian spatial following model), метода Монте-Карло, логистической регрессии для анализа динамики сетей (частный случай временной экспоненциальной модели случайного графа) [Barbera, 2015, р. 76–91; Almquist, Butts, 2013, 430–448]. Пожалуй, наиболее активно в отечественной политической науке в последние годы осваивают методы сетевого анализа исследователи Санкт-Петербургского государственного университета [Быков, 2013; Сморгунов, Шерстобитов, 2014].

В-третьих, при решении задач типологического анализа достаточно эффективными в настоящее время считаются логико-комбинаторные методы, которые самими разработчиками позиционируются как средства реализации причинного анализа: метод качественного сравнительного анализа (KCA, QCA, qualitative comparative analysis, предложен Ч. Рейджином во второй половине 1980-х годов) [Krogslund, Choi, Poertner, 2015, р. 21–41; Hug, 2013, р. 252–265] и ДСМ-метод (предложен отечественным исследователем В.К. Финном в начале 1980-х годов), которые изначально разрабатывались параллельно как несвязанные методы.

Однако современная исследовательская стратегия подчас опирается на совмещение этих методов с целью содержательного сравнения полученных результатов. Безусловными достоинствами этих методов являются возможность выделения при типологизации пересекающихся групп, необязательность измерения или оценивания качеств анализируемых объектов с помощью абсолютной метрической или интервальной шкалы, формирование на основе исходных данных содержательных, концептуальных гипотез, возможность интерпретации анализируемых переменных как независимых или зависимых [Кученкова, Татарова, 2013, с. 10]. Основная задача обоих методов связана с поиском сочетания характеристик, которые можно определить как детерминанты существования какого-то социального или политического феномена. Обнаружение нескольких адекватных причинных объяснений позволяет гово-

рить о множественной конфигуративной причинности явления [Configurational comparative methods..., 2009].

Результаты одного из единичных на сегодняшний день отечественных политологических исследований на основе КСА приведены в статьях Д.К. Стукала и Т.Е. Хавенсон [Стукал, Хавенсон, 2012, с. 238–264], а также Л.В. Сморгунова [Сморгунов, 2011, с. 76–85]. Метод КСА реализуется в статистических пакетах tosmana и fsQCA и частично – STATA и R. Метод ДСМ назван в честь Дж.С. Милля и представляет собой так называемый метод автоматического порождения гипотез [ДСМ-метод..., 2009; Автоматическое порождение..., 2009].

Наконец, в-четвертых, весьма перспективным направлением представляется использование математических методов для обнаружения так называемых нетипичных результатов голосования в электоральных исследованиях. Если в 1960–1990-х годах ученые нетипичное голосование объясняли чаще всего с помощью теорий голосования «по разорванному билету», «рационального избирателя» или теории смешения голосования в «нетипичных» выборах, не ставя под сомнение результаты голосования как таковые, то на сегодняшний день политологи все чаще ставят вопрос о способах обнаружения ошибок подсчета или даже прямых фальсификаций на выборах. Не случайно в англоязычной научной литературе закрепился устойчивый термин «Electoral forensics» («электоральная криминастика»). Название говорит само за себя. Вопрос о «несущественном» или «существенном» влиянии воли людей, участвующих в подсчете голосов, на результаты выборов, т.е. о степени воздействия на реальное волеизъявлением избирателей, что вообще-то является уголовно наказуемым деянием (это касается отнюдь не только стран, находящихся в транзите, но и государств со стабильной демократией), исследователей интересует прежде всего как методическая проблема.

Анализ достоверности результатов выборов возможен, по мнению некоторых специалистов, даже с помощью такого простого инструмента, как статистика хи-квадрат [Гусаров, Гухман, 2008, с. 105–118]. В целом можно выделить три основные группы методов фиксации ошибок подведения итогов голосования: а) обнаружение «выбросов» – нетипичного голосования (метод неявных контрольных сумм, метод сопоставления результатов голосования

в близлежащих избирательных комиссиях); б) приемы, основанные на теории чисел (закон Бенфорда по второй цифре, закон Бенфорда по последней цифре, метод Бербера – Сакко по двум последним цифрам); в) приемы, основанные на оценке линии регрессии (метод Собянина–Суховольского, метод Шпилькина, метод Климека) [Бузин, Любарев, 2008; Мебайн, Калинин, 2009, с. 57–70; Шпилькин, 2011, с. 2–4; Шпилькин 2011; Beber, Scacco, 2012, р. 211–234; Kobak, Shpilkin, Pshenichnikov, 2012; Myagkov, Ordeshook, Shakin, 2009].

Справедливости ради отметим, что ошибки подсчета могут рассматриваться и как техническая проблема подведения итогов голосования в случае использования технических средств. Классический пример – проблема подсчета голосов на президентских выборах в США в 2004 г. Типичными же приемами фальсификации считаются завышенные результаты явки на выборы (эксперты утверждают, что в России отличие числа граждан, имеющих право участвовать в выборах, и количество лиц, внесенных в списки избирателей, составляет 2–5 млн), переброс голосов определенному кандидату или партии от следующего непосредственно за ним /ней претендента или пропорциональный «отъем» голосов от всех объектов выборов в пользу одного.

В настоящее время в России анализом этой проблемы занимается весьма узкий круг преимущественно молодых исследователей, но в целом отечественные авторы уже пользуются значительными результатами исследований в различных странах, позволяющих считать данное направление весьма перспективным даже в среднесрочной перспективе [Alvarez, Atkeson, Hall, 2013; Breunig, Goerres, 2011, р. 534–545; Carriquiry, 2011, р. 471–478; Deckert, Myagkov, Ordeshook, 2010; 2011, р. 245–268; Diekmann, Ben, 2010, р. 397–401; Election fraud..., 2008; Estok, Nevitte, Cowan, 2002; Fewster, 2009, р. 26–32; Implementing..., 2009; Statistical..., 2012, р. 16469–16473; Leemann, Bochsler, 2014, р. 33–47; Lehoucq, 2003, р. 233–256; Lukinova, Myagkov, Ordeshook, 2011, р. 603–621; Mebane, 2011, р. 269–272; Mebane, 2013; Mebane, 2010, р. 6–15; Mebane, 2013; Pericchi, Torres, 2011, р. 502–516; Shikano, Mack, 2011, р. 719–732; Torneo, Teehankee, Francis, 2013].

Векторы развития методов исследования политических процессов

Прогресс исследовательских техник последних десятилетий существенно повлиял на стратегию исследования политических процессов и качество результатов научных проектов. Помимо понимания сложности перехода от обоснованных статистически, подтвержденных эмпирических гипотез к уровню концептуализации, следствием применения сложных техник анализа стала также и возросшая потребность в ходе исследования обращаться много-кратно к теоретическому уровню знания о предмете исследования. И если в середине XX в. эмпирические модели строились на множестве индикаторов, но при этом за пределами описываемого случая чаще всего имели относительно невысокие объяснительные возможности, то в последние два-три десятилетия ставка делается на то, чтобы связать воедино эмпирический и теоретический конструкты исследовательского проекта. Немалую пользу в решении этой задачи оказали модели, основанные на анализе латентной структуры объектов и поиске факторов, влияющих на изучаемые процессы.

Достаточно часто латентные измерения выполняют в проекте подчиненную роль, обеспечивая возможности выявления причинных отношений между анализируемыми явлениями или объекта изучения и окружающей среды. Обычно считается, что латентная переменная обеспечивает взаимосвязь между наблюдаемыми переменными. Она не имеет явно наблюдаемых значений [König, Marbach, Osnabrücke, 2013, p. 468–491; Oberski, 2014, p. 45–60].

Традиционно поиск латентной переменной опирается на исследование моделей классической теории тестов, многомерного шкалирования, факторного анализа (учитываются и одно-, и двух-, и многофакторные варианты; наиболее используемым остается метод главных компонент), IRT (Item Response theory) и латентно-структурного анализа. Эти модели последовательно разрабатывались с конца XIX в. до середины XX в., однако стали применяться массово учеными в эмпирическом анализе политических процессов только во второй половине прошедшего столетия.

Одним из адекватных инструментов решения аналитической задачи поиска латентной переменной может выступать более со-

временное моделирование на основе структурных уравнений (МСУ) с латентными переменными – путевой анализ (path analysis, причинный анализ), первоначально применявшийся в области эконометрии и постепенно начинаящий использоваться в исследованиях политических процессов. В МСУ достаточно часто используется метод максимального правдоподобия (ММП) с полной информацией, но ситуации, когда исследователи вынуждены прибегать к алгоритмам оценки с использованием ограниченной информации, требуют от них обращения к «тестам спецификации, основанным на двухшаговом методе наименьших квадратов, для моделей структурных уравнений с латентными переменными, разработанных Болленом» (метод оценки 2 МНК) [Кирби, Боллен, 2012, с. 132]. Для оценки качества модели традиционно используется метод Монте-Карло. МСУ реализуется с помощью пакета LISREL (разработчики К. Йериског, Д. Сербом). Возможности использования имитационной модели содержатся в программном обеспечении EQS 5.0.

Определенный интерес представляет метод структурно-логической типизации, в основе которого лежит многоэтапная кластеризация и процедура выделения «ядер кластеров».

К сожалению, в российских научных публикациях до сих пор крайне редко встречается информация о дискриминантном анализе, который хорошо зарекомендовал себя в процедурах классификации, и возможностях его применения в политическом прогнозировании [Бессокирная, 2009, с. 25–35; Большов, 2009, с. 46–64].

Фрактальный анализ, который активно используется в области естественных наук, а также в экономике в теории управления и анализе финансовых рядов, крайне медленно входит в арсенал российских ученых. Этот вид анализа основан на принципе масштабной инвариантности – неизменности фактуры, свойств, конфигурации изучаемого объекта вне зависимости от степени «приближенности» ученого к нему. Речь идет о нескольких возможных моделях воспроизведения качеств объектов анализа: а) самоподобии, когда структура более высокого уровня строго фиксирует качества объекта более низкого уровня (так называемые регулярные фракталы; например, принцип организации отношений между ветвями власти на региональном и государственном уровнях); б) самоафинности – обобщении преобразований подобия, когда

объекты более высокого уровня сохраняют свойства исходных «кирпичиков» явлений, но с несколько измененными свойствами (например, формы проявления политического лоббизма на локальном и федеральном уровнях будут отличаться, хотя природа и сущность этого явления сохраняются). Ученые предупреждают об опасности излишне широкой трактовки «самоподобия» политических объектов разного уровня [Brown, Liebovitch, 2010; Aguilera, Morer, Barandiaran, Bedia, 2013, р. 395–402].

Одним из перспективных направлений считается использование этого вида анализа для оценки динамических рядов с целью поиска скрытых закономерностей формирования определенных циклов, например оценки вероятности роста протестной активности населения определенного региона или страны. Вторым наиболее перспективным вариантом исследований с помощью фрактального анализа является соотнесение характеристик политических процессов на различных уровнях проявления, например: государственные – региональные – локальные явления; массовые – групповые – индивидуальные явления. Более 10 лет существуют компьютерные программы для реализации фрактального анализа: FRACTAN и FRACLAB.

Отдельного упоминания заслуживает так называемая методология анализа качественных данных (АКД; в англоязычной научной литературе – Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) или Qualitative Data Analysis (QDA) software) – совокупность статистических компьютерных программных пакетов, позволяющих анализировать нечисловую информацию (тексты, рисунки, фотографии, аудио-, видеозаписи и т.д.) на основе выделения значимых компонентов информации, ее кодирования и последующего структурирования. К АКД относятся такие компьютерные программы, как, например, «Ethnograph» (разработчик Дж. Зейдель) и MAXqda (разработчики А. и У. Кукарц). Достаточно часто АКД связывают с *grounded theory*¹, предполагающей процедуру последовательного кодирования информации (сначала «от-

¹ В русскоязычных изданиях присутствуют следующие переводы понятия «*grounded theory*»: а) «обоснованная теория» (чаще всего используется именно это название); б) «выращенная теория»; в) «восхождение к теории»; г) «приземленная теория»; д) «укорененная теория».

крытого», а затем «осевого» («избирательного»), связанного с какой-то определенной категорией или термином), а также с методологией конструктивизма. Подробно с методами АКД можно познакомиться на сайте Online QDA (<http://onlineqda.hud.ac.uk/methodologies.php>). Автоматический анализ текстов осуществляется с помощью латентно-семантического анализа (LSA), вероятностного латентно-семантического анализа (pLSA) и латентного размещения Дирихле (LDA). Современные политологи предлагают различные типологии методов автоматизированного анализа текстов (Grimmer, Stewart, 2013, p. 267–297), а также ставят вопрос о поиске латентной переменной при изучении политических текстов [Lowe, Benoit, 2013, p. 298–313].

Отдельной частной, но методически важной проблемой в обработке неколичественных данных является надежность их кодировки, как вручную, так и с использованием автоматического компьютерного кодирования [DeBell, 2013, p. 393–406].

Считается весьма перспективной так называемая методическая триангуляция (термин, используемый обычно социологами) – применение одновременно нескольких методов к исходному объему данных для получения максимально достоверной и полной информации о скрытых закономерностях, связанных с состоянием объекта анализа. При изучении публикаций последних 3–4 лет в ведущем англоязычном журнале «Political analysis», посвященном методам политологических исследований, легко убедиться, что политологи идут этим же путем, используя, например, сравнение результатов исследования голосования, проведенного на основе метода множественной регрессии с последующей классификацией (multilevel regression and poststratification, MRP) [Buttice, Highton, 2013, p. 449–467], или, например, сочетая метрическое многомерное шкалирование на основе байесовских методов и цепь Маркова с методом Монте-Карло (Markov chain Monte Carlo MCMC) [Bakker, Poole, 2013, p. 125–140].

Судя по всему, метод Монте-Карло оказывается востребованным в целом спектре политологических тем. Помимо электоральных исследований и сетевой политической коммуникации, он актуален для реконструкции политических диспозиций политиков на основе их текстов (речей, выступлений, заявлений и т.д.) [Elff, 2013, p. 217–232].

Ограниченностю размеров статьи не позволяет остановиться на процедурных компонентах различных методов, о которых речь шла выше. Однако это и не являлось задачей данного текста. Мы ориентировались на необходимость систематизации информации, связанной с использованием различных сложных методов анализа в политологических исследованиях, с тем чтобы зафиксировать наиболее значимые результаты и тенденции. Надеемся, что эта задача успешно выполнена.

Список литературы

- Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах / Под ред. В.К. Финна. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 528 с.
- Акрамовская А.Г., Якимец В.Н. АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального партнерства // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Социально-ориентированные стратегии экономического развития». – М.: ГУУ, 2007. – С. 3–10.
- Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Введение в количественные методы. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 472 с.
- Балезина И.Л., Якимец В.Н. Индекс оценки инновационного потенциала региона // Вестник философии и социологии Курского госуниверситета. – 2010. – № 1. – С. 179–181.
- Балезина И.Л., Якимец В.Н. Оценка инновационного потенциала субъекта РФ на основе индекса ПРИМ: концепция, модель и результаты апробации // Политическая экспертиза: Политэкс. – 2011. – Т. 7. – № 3. – С. 5–22.
- Бессокирная Г.П. Дискриминантный анализ для отбора информативных переменных // Социология: методология, методы, математические модели. – 2003. – № 16. – С. 25–35.
- Большов Е.С. Дискриминантный анализ в прогнозировании поведения неопределившихся избирателей // Социология: 4 М., 2009. – № 29. – С. 46–64.
- Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М.: Аспект пресс, 2010. – 230 с.
- Бузин А.Ю. Преступление без наказания. Административные технологии федеральных выборов 2007–2008 годов / Бузин А.Ю., Любарев А.Е. – М.: ЦПК «НИККОЛО М»; Центр «Панорама», 2008. – 284 с.
- Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, политика и методы исследования. СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. – 200 с.
- Гусаров А.А., Гужман В.Б. К оценке спорных результатов выборов с помощью статистического критерия согласия // Социология. – М., 2008. – № 26. – С. 105–118.

- ДСМ-метод автоматического порождения гипотез: логические и эпистемологические основания / Под ред. О.М. Аншакова, Е.Ф. Фабрикантовой. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 432 с.
- Кирби Дж.Б., Боллен К.А.* Использование тестов с инструментальными переменными в оценивании качества спецификации модели для моделей структурных уравнений с латентными переменными // Социология. – М., 2012. – № 34. – С. 131–170.
- Кученкова А.В., Татарова Г.Г.* Стратегия применения логико-комбинаторных методов в процедурах типологического анализа // Социология. – М., 2013. – № 36. – С. 7–35.
- Леонова М.В.* Инструменты «электронного участия» в России: оценка и перспективы // Политическая экспертиза: ПолитЭкс. 2010. – Т. 6. – № 3. – С. 232–239.
- Леонова М.В., Якимец В.Н.* Индекс оценки полноты и качества обратных связей информационных ресурсов государственной власти // Труды ИСА РАН. – 2008. – Т. 34. – С. 351–363.
- Леонова М.В., Якимец В.Н.* О развитости обратных связей на сайтах э-правительства: индекс оценки, пилотные измерения, критерий «дружелюбности», актуальность в условиях кризиса // Государственное управление в XXI в: традиции и инновации. – М.: Макс Пресс, 2009. – С. 548–556.
- Мебейн У., Калинина К.* Электоральные фальсификации в России: комплексная диагностика выборов 2003–2004, 2007–2008 гг. // Российское электоральное обозрение. – 2009. – № 2. – С. 57–70.
- Оценка состояния и развития гражданского общества России: Проблемы, инструменты и региональная специфика. Труды Института системного анализа РАН. Т. 57 / Под ред. В.Н. Якимца. – М.: КРАСАКНД, – 2010. – 200 с.
- Попова О.В.* «Измерительный инструмент» в сравнительной политологии: к вопросу о нерешенных проблемах // Политическая экспертиза: ПолитЭкс. – 2009. – Т. 5. – № 1. – С. 271–291.
- Попова О.В.* Политический анализ и прогнозирование: Учебник. – М.: Аспект-Пресс, 2011. – 464 с.
- Попова О.В.* Почему Россия – несвободная страна, или О том, как нас «посчитали?» // Политическая экспертиза: Политекс. – 2006. – Т. 2. – № 1. – С. 31–50.
- Попова О.В.* Рейтинги как элемент информационной политики в электоральном цикле // Политическая наука. – М., 2012. – № 1. – С. 81–93.
- Сморгунов Л.В.* Проблема методологического синтеза в современной сравнительной политологии // Вестник СПбГУ. Сер. 6. – СПб., 2011. – Вып. 1. – С. 76–85.
- Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С.* Политические сети: Теория и методы анализа: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 320 с.
- Стукал Д.К., Хавенсон Т.Е.* Моделирование государственной состоятельности постсоциалистических стран // Политическая экспертиза: ПолитЭкс. – 2012. – Т. 8. – № 1. – С. 238–264.
- Туронок С.Г.* Политический анализ. – М.: Дело, 2006. – 360 с.
- Центр и регионы в системе государственного управления: состояние и тренды. Материалы научного семинара – М.: Научный эксперт, 2010. – Вып. 4 (34). – 113 с.

- Штилькин С.А.* Математика выборов – 2011 // Троицкий вариант. – 2011. – № 94. – С. 2–4.
- Штилькин С.А.* Статистика исследовала выборы // Газета.ру. – 2011. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/science/2011/12/10_a_3922390.shtml (Дата посещения: 25.10.2014.)
- Якимец В.Н.* Индекс для оценки и мониторинга публичной политики // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт взаимодействия. – М.: РАПН; РОССПЭН, 2008. – С. 107–121.
- Якимец В.Н.* Индекс для оценки и мониторинга публичной политики в регионах России // Труды ИСА РАН. – 2006. – Т. 25. – С. 139–147. – Режим доступа: <http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2006-25/139-147.pdf> (Дата посещения: 12.03.2015.)
- Aguilera M., Morer I., Barandiaran X.E., Bedia M.G.* Quantifying political self-organization in social media. Fractal patterns in the Spanish 15 M movement on Twitter // Advances in artificial life. ECAL. – 2013. – Т. 12. – P. 395–402.
- Almquist Z.W., Butts C.T.* Dynamic network logistic regression: A logistic choice analysis of inter- and intra-group blog citation dynamics in the 2004 US presidential election // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 4. – P. 430–448.
- Alvarez R.M., Atkeson L.R., Hall Th.* Evaluating elections: a handbook of methods and standards. – Н.Й.: Cambridge univ. press, 2013. – 180 p.
- Baerveldt C.* Ethnic boundaries in high school students' networks in flanders and the Netherlands / Baerveldt C., Zijlstra B., Wolf de M., Van Rossem R., Duijn M.A.J., van // International sociology. – 2007. – Vol. 22. – P. 701–719.
- Bakker R., Poole K.T.* Bayesian metric multidimensional scaling // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 2. – P. 125–140.
- Barbera P.* Birds of the same feather tweet together: Bayesian ideal point estimation using Twitter data // Political analysis. – 2015. – Vol. 23, N 1. – P. 76–91.
- Beber B., Scacco A.* What the numbers say: A digit-based test for election fraud // Political analysis. – 2012. – Vol. 20. – P. 211–234.
- Breunig C., Goerres A.* Searching for electoral irregularities in an established democracy: Applying Benford's law tests to Bundestag elections in unified Germany // Electoral studies. – 2011. – Vol. 30. – P. 534–545.
- Brown C.T., Liebovitch L.S.* Fractal analysis. Quantitative applications in the social sciences. – Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2010. – Vol. 165. – 90 p.
- Buttice M.K., Highton B.* How does multilevel regression and poststratification perform with conventional national surveys? // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 4. – P. 449–467.
- Carriquiry A.L.* Election forensics and the 2004 Venezuelan presidential recall. referendum as a case study // Statistical science. – 2011. – Vol. 26, N 4. – P. 471–478.
- Deckert J., Myagkov P., Ordeshook P.C.* The irrelevance of Benford's law for detecting fraud in elections /// Caltech. MITvoting technology project working paper. – 2010. – N 9. – Mode of access: <http://vote.caltech.edu/content/irrelevance-benfords-law-detecting-fraud-elections> (Дата посещения: 20.10.2014.)

- Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. B. Rihoux, Ch. Ragin. – London: SAGE Publications, 2009. – 209 p.
- DeBell M.* Harder Than it looks: Coding political knowledge on the ANES // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 3. – P. 393–406.
- Deckert J.* Benford's law and the detection of election fraud. / J. Deckert, M. Myagkov, P.C. Ordeshook // Political analysis. – 2011. – Vol. 19. – P. 245–268.
- Diekmann A.* Benford's law and fraud detection: facts and legends. / A. Diekmann, J. Ben // German economic review. – 2010. – № 11 (3). – P. 397–401.
- Duijn M.A.J., Vermunt J.K.* What is special about social network analysis? // Methodology. – 2006. – Vol. 2. – P. 2–6.
- Election fraud: Detecting and deterring electoral manipulation / Ed. Alvarez, Michael R., Hall, Thad E., Hyde, Susan D. – Washington, DC: Brookings institut. press – 2008. – 255 p.
- Elff M.* A Dynamic state-space model of coded political texts // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 2. – P. 217–232.
- Estok M., Nevitte N., Cowan G.* The quick count and election observation / National democratic institute for international affairs. – Washington, DC, 2002. – 182 p.
- Fewster R.M.* A Simple explanation of Benford's law // The American statistician. – 2009. – February. – Vol. 63, N 1. – P. 26–32.
- Grimmer J., Stewart B.M.* Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 2. – P. 267–297.
- Implementing risk-limiting post-election audits in California / Hall J.L., Miratrix L.W., Stark P.B. et al. // 2009 Electronic voting technology. Workshop on Trustworthy Elections (EVT/WOTE '09). – Montreal, 2009. – 24 p.
- Hug S.* Qualitative comparative analysis: How inductive use and measurement error lead to problematic inference // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 2. – P. 252–265.
- Statistical detection of systematic election irregularities. / Klimek P., Yegorov Yu. et al. // PNAS. – 2012. – Vol. 109 (41). – P. 16469–16473.
- Kobak D., Shpilkin S., Pshenichnikov M.S.* Statistical anomalies in 2011–2012 Russian elections revealed by 2D correlation analysis. – 2012. – Mode of access: <http://arxiv.org/abs/1205.0741> (Дата посещения: 15.04.2013.)
- Krogslund Ch., Choi D.D., Poertner M.* Fuzzy sets on shaky ground: Parameter sensitivity and confirmation bias in fsQCA // Political analysis. – 2015. – Vol. 23, N 1. – P. 21–41.
- König T., Marbach M., Osnabrigge M.* Estimating party positions across countries and time – A dynamic latent variable model for manifesto data // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 4. – P. 468–491.
- Leemann L., Bochsler D.* A systematic approach to study electoral fraud // Electoral studies. – 2014. – Vol. 35. – P. 33–47.
- Lehoucq F.* Electoral fraud: Causes, types and consequences // Annual Review political sciences. – 2003. – Vol. 6. – P. 233–256.
- Lowe W., Benoit K.* Validating estimates of latent traits from textual data using human judgment as a benchmark // Political analysis. – 2013. – Vol. 21, N 3. – P. 298–313.

- Lukinova E., Myagkov M., Ordeshook. P.C.* Metastasised fraud in Russia's 2008 presidential election // Europe-Asia studies. – 2011. – Vol. 63, N 4. – P. 603–621.
- Mebane W.R. Jr.* Comment on «Benford's law and the detection of election fraud» // Political Analysis. – 2011. – Vol. 19. – P. 269–272.
- Mebane W.R. Jr.* Election forensics: The meanings of precinct vote counts' second digits. – 2013. – Mode of access: <https://pages.shanti.virginia.edu/PolMeth/files/2013/07/Mebane.pdf> (Дата посещения: 21.10.2014.)
- Mebane W.R., Jr.* Fraud in the 2009 Presidential election in Iran? // Chance. – 2010. – Vol. 23, N 1. – P. 6–15.
- Mebane W.R.Jr.* Using vote counts' Digits to diagnose strategies and frauds: Russia // Prepared for presentation at the 2013 Annual meeting of the American political science association. – Chicago, IL. – 2013. – August 29 – September 1. – Mode of access: <http://www.umich.edu/~wmebane/apsa13.pdf> (Дата посещения: 20.12.2014.)
- Oberski D.L.* Evaluating Sensitivity of parameters of Interest to measurement invariance in latent variable models // Political analysis. – 2014. – Vol. 22, N 1. – P. 45–60.
- Pericchi L., Torres D.* Quick anomaly detection by the Newcomb–Benford Law, with applications to electoral processes data from the USA, Puerto Rico and Venezuela // Statistical science. – 2011. – Vol. 26, N 4. – P. 502–516.
- Shikano S., Mack V.* When does the second-digit Benford's law-test signal an election fraud? Facts or misleading test Results. // Jahrbucher f. Nationalokonomie u. Statistik (Lucius & Lucius, Stuttgart 2011). – 2011. – Bd. (Vol.) 231/5+6. – P. 719–732.
- Torneo A., Teehankee J.C., Francis I.* Towards a systematic analysis of automated election in the Philippines: A review of the 2010 and 2013 elections / A. Torneo, J.C. Teehankee, I. Francis // SPARK The key link to idea and action. – 2013. – Dec. – Vol. 6, N 4. – P. 143–165.
- Vermeij L., Duijn M., Baerveldt C.* Ethnic segregation in context: social discrimination among native Dutch Pupils and their ethnic minority classmates // Social networks. – 2009. – Vol. 31. – P. 230–239.

И.М. ЛОКШИН

**ИГРА В БИСЕР? КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СВЕТЕ ТЕЗИСА
ДЮЭМА-КУАЙНА**

I. Введение

Прогресс современной политической науки нередко описывается в терминах все возрастающей достоверности данных и все большей объективности выводов [Алмонд, 1999, с. 69–112]. И количественные, и качественные методы имеют своей целью приближение к как можно более строгим научным стандартам. Однако остаются многочисленные проблемы, связанные с разнообразными методологическими, эпистемологическими и даже онтологическими вопросами [см., например: King, Keohane Verba, 1994; Brady, Collier, 2004; Gerring, 2012; Hay, 2006]. В настоящей статье предпринята попытка выяснить некоторые проблемы, возникающие в связи с конвенциональными количественными методами (такими, как регрессионный анализ или тестирование нулевых гипотез), с точки зрения тезиса Дюэма-Куайна – важного достижения философии науки XX в. Речь не идет о том, что приложение тезиса Дюэма-Куайна к названным методам приводит к их принципиально новому восприятию или оценке; однако я полагаю, что рассмотрение конвенциональных количественных методов с позиций тезиса Дюэма-Куайна все-таки может оказаться полезным по трем причинам: 1) тезис Дюэма-Куайна может пролить новый свет на эпистемологические свойства некоторых методов конвенционального ко-

личественного анализа; 2) обращение к тезису Дюэма-Куайна позволяет «укоренить» представления о недостатках ряда конвенциональных количественных методов в философии науки, благодаря чему эти представления могут оказаться более точными и ясными; 3) привязывание методологической дискуссии к эпистемологическим, т.е. более фундаментальным, проблемам указывает на природу вызовов, стоящих перед исследователями в политической науке, а значит, и на возможные направления поиска новых методов или усовершенствования уже имеющихся.

Необходимы по меньшей мере три оговорки.

Во-первых, я не имею в виду, что статистические и эконометрические методы сводятся к их простейшим разновидностям, – однако разные типы регрессионного анализа и тестирования нулевой гипотезы занимают очень важное место в количественном крыле современной политологии. Но несмотря на серьезный прогресс в разработке более «продвинутых» методов, названные процедуры до сих пор во многом остаются «мейнстримом»; кроме того, более сложные методы основываются на простых процедурах и тем самым часто наследуют ограничения последних.

Во-вторых, многие проблемы, связанные с этими сравнительно простыми процедурами, хорошо известны. Однако несмотря на длительные поиски соответствующей литературы, мне не встретилось книг или статей, рассматривающих последствия тезиса Дюэма-Куайна для политологии¹. Единственным возможным исключением является глава Фреда Черноффа из Оксфордского справочника по философии общественных наук, где он рассматривает некоторые проблемы, вытекающие из тезиса Дюэма-Куайна, но большей частью его внимание поглощено не этим тезисом *per se*, а ролью конвенциональных договоренностей в методологической плоскости для прогресса общественных наук [Chernoff, 2012, p. 229–258]. Поэтому даже названное исследование – единственное, которое, казалось бы, непосредственно касается нашей темы, – не вполне соответствует ей. Я полагаю, что такое невнимание к тезису Дюэма-Куайна незаслуженно.

¹ Для другой обществоведческой дисциплины – экономики – ситуация не такова: имеется несколько статей на эту тему, например: [Cross, 1982; Sawyer K., Beed C., Sankey H., 1997].

В-третьих, хотя я фокусируюсь на количественных методах, я не предполагаю, что качественный подход совершенно свободен от аналогичных проблем. Но репутация количественных методов как более строгих и соответствующих научным стандартам придает особую важность демонстрации именно их ограничений.

Статья выстроена следующим образом: раздел I посвящен тезису Дюэма-Куайна и некоторым из его следствий, показывающим релевантность тезиса для методологии политической науки; в разделе II освещаются отдельные методологические проблемы конвенциональных количественных методов с целью: а) привлечь внимание к их недостаткам на методологическом уровне, б) выявить связь этих недостатков с эпистемологическими сюжетами, затронутыми тезисом Дюэма-Куайна; в разделе III тезисы двух предыдущих частей статьи обобщаются и формулируется общий вывод.

I. Тезис Дюэма-Куайна

I. 1. Формулировки тезиса

История тезиса Дюэма-Куайна начинается с публикации книги французского физика Пьера Дюэма «Физическая теория: ее цель и строение»¹ [Duhem, 1906] в 1906 г. В ней, помимо прочего, содержится важная идея о том, что позднее было названо в англоязычной литературе «холистской недодетерминированностью» [Stanford, 2014] (holist underdetermination) физических теорий: «...Физик не может экспериментально проверить изолированную гипотезу, но только весь комплекс гипотез; когда результаты эксперимента расходятся с теоретическими предположениями, это означает, что по крайней мере одна из гипотез, составляющих этот комплекс, неверна и должна быть изменена; но эксперимент не указывает на то, какие именно из гипотез должны быть скорректированы» [Duhem, 1906, р. 307]. Содержание тезиса Дюэма состоит,

¹ Заметим, что название можно перевести и как «Физическая теория: ее предмет и строение» из-за многозначности употребленного в заглавии слова «*objet*».

таким образом, в том, что мы никогда не можем отвергнуть какую-то конкретную гипотезу, но только связанную совокупность гипотез и допущений.

Сегодня признается, что выводы Дюэма значимы не только для физики, но для любой науки, тестирующей гипотезы.

Еще до первой публикации книги Дюэма на английской языке в 1954 г. выдающийся философ науки и логик Уиллард Куайн обратил внимание почти на ту же проблему, что и Дюэм, но ход его мысли был совершенно иным: Куйан отталкивался от критики кантовского разделения суждений на аналитические и синтетические. Однако нас более интересуют следствия этой критики. В статье «Две догмы эмпиризма» [Quine, 1951, р. 20–43] Куайн (мы излагаем этот аспект его статьи в упрощенном виде) почти повторяет мысль Дюэма о том, что при противоречии между наблюдениями и нашими знаниями или убеждениями мы можем, чтобы последние вновь стали соответствовать опыту, пересмотреть то, какие из наших предположений являются истинными и какие – ложными, и при этом мы должны работать не с отдельными допущениями и гипотезами, а с их комплексом; как и Дюэм, Куайн полагает, что опыт ничего не диктует нам по поводу того, как должен быть произведен этот пересмотр. Но далее Куайн делает еще один шаг.

Поскольку опыт молчит в указанном отношении и поскольку вся тотальность науки есть произведенная людьми условность («*a man-made fabric*») [Quine, 1951, р. 39], соответствие между теорией и наблюдениями может быть восстановлено произвольно: через обращение к другим каузальным связям, к иным значимым переменным, даже к иным законам логики – и может оказаться, что таких способов чрезвычайно много.

Следовательно, одни и те же наблюдения можно объяснить более чем одним способом, при помощи более чем одной теории, хотя эти теории могут быть логически несовместимы. Заметим, что очень похожую мысль высказывал еще Джон Стюарт Милль в «Системе логики» [Mill, 1974, р. 500], но важное отличие идеи Куайна от идеи Милля заключается в том, что Куайн фактически выдвигает предположение о невозможности применения какого-либо рационального, также «научного» по своему существу, критерия

при выборе между конкурирующими гипотезами¹ [Quine, 1951, p. 42–43].

Из сказанного ясно, что тезис Дюэма-Куайна распадается, по сути, на два: один из них касается невозможности тестирования изолированной гипотезы («холистская недодетерминированность»), другой (в интерпретации Куайна) говорит о невозможности различения эквивалентных в смысле своих эмпирических следствий (или, как мы будем говорить для краткости, эмпирически эквивалентных), но логически несовместимых теорий согласно рациональному, но не чисто pragматическому критерию (используя неуклюжий перевод с английского, назовем это «контрастивной недодетерминированностью» – «contrastive underdetermination»²).

Другое важное следствие тезиса Куайна состоит в том, что граница между фактом и теорией всегда – в большей или меньшей степени – размыта. Факты оказываются теоретически нагруженными, и полностью отделить факты от их интерпретаций в рамках какой-либо теории невозможно. Тем самым тезис Куайна подрывает основания позитивистского проекта науки, основывающейся именно на однозначном разграничении фактов и теорий. Ниже я постараюсь показать, что проблема отсутствия четкой границы между фактами и их интерпретациями чрезвычайно актуальна для современной политической науки.

I. 2. Тезис Дюэма-Куайна, структурная недодетерминированность и политическая наука

Мы еще будем обращаться к оригинальному тезису Куайна, но нам понадобится также и его «слабая» версия, акцентирующая внимание на том, что мы назовем «структурной недодетерминированностью» теорий.

¹ Куайн отмечает в той же статье, что это не подрывает его веры в науку и что он придерживается в отношении нее pragматических (в смысле философии pragmatизма) установок [ibid, p. 42–43].

² Термин «contrastive underdetermination» используется потому, что он описывает невозможность предпочесть одну теорию своим альтернативам [Stanford, op. cit.].

Структурная недодетерминированность описывает ситуации, когда два или более факторов или их комбинаций претендуют на объяснение явления и вокруг этих факторов (или их комбинаций) формулируются теории, но, в отличие от случая контрастивной недодетерминированности, такие теории логически *не* противоречат друг другу. При этом у исследователя нет «научных» по своему существу способов распределения объяснительных весов (см. ниже ссылку 5) между объясняющими факторами. Структурная недодетерминированность названа так потому, что она связана с непроясненностью каузальной структуры явления¹.

Контрастивная недодетерминированность есть частный случай структурной недодетерминированности. Для прояснения этого тезиса воспользуемся упрощенным примером, когда на объяснение некоего явления претендуют только две теории. В случае, если относительный вес некоего комплекса объясняющих факторов (или некой каузальной цепи, или причинного механизма) равен нулю, а вес другого – единице, но мы не можем выяснить, какому комплексу какой вес соответствует, мы имеем дело с контрастивной недодетерминированностью; если же относительный вес обоих комплексов объясняющих факторов больше 0, но меньше 1, и мы не можем выяснить конкретные значения этих весов, то мы имеем дело со структурной недодетерминированностью. Но поскольку крайние значения (0 и 1) тоже являются частью отрезка, на котором располагаются объяснительные веса теорий, контрастивную недодетерминированность можно считать частным случаем структурной.

¹ Под каузальной структурой явления здесь и далее я подразумеваю «значимость» всех факторов (по отдельности), полный учет которых позволил бы совершенно точно предсказать все параметры данного явления, интересующие исследователя. Однако само понятие «значимости» тоже нуждается в пояснении. В качестве интуитивного представления о том, что может скрываться за этой формулировкой, можно предложить следующее: «значимость» фактора А в каузальной структуре явления складывается из трех компонентов: 1) число каузальных цепочек, вызывающих явление В, в которых участвует фактор А (обозначим это число как N); 2) «правдоподобие» каждой каузальной цепочки, в которой задействован фактор А, или относительная частота случаев, когда явление В вызывается именно данной цепочкой $i_A()$; 3) величина причинного эффекта, ассоциирующегося с каузальной цепочкой $i_A()$.

На первый взгляд, структурная недодетерминированность менее «опасна» для самого дела науки, чем недодетерминированность контрастивная, так как предполагает, что каждое объяснение исследуемого явления может быть хотя бы отчасти верно, но в то же время она гораздо более распространена в общественных науках в целом и в политологии в частности.

При достаточном усилии со стороны исследователя можно сформулировать теории, постулирующие каузальные связи между потенциально бесконечным числом факторов и явлений. Это оказывается возможным как по эпистемологическим причинам, так и благодаря специфике объектов, с которыми имеет дело политическая наука.

С эпистемологической точки зрения это оказывается возможным благодаря как минимум двум обстоятельствам: 1) возможности выделения множества каузальных цепочек, ведущих к объясняемому явлению; 2) возможности вновь и вновь переинтерпретировать «факты», т.е. эмпирические наблюдения, имеющиеся в отношении тех или иных явлений; иными словами, факты оказываются теоретически нагруженными, а не совершенно отделенными от теории (как то постулировал позитивизм), что и предполагает тезис Дюэма-Куайна.

Другой источник возможности постулировать огромное число причинно-следственных связей в рамках политологии состоит в том, что в обществе почти все хотя бы статистически связано со всем: при изучении какой-то важной переменной, отражающей масштабный социальный или политический процесс, найдется колоссальное количество признаков, хотя бы слабо коррелирующих с этой переменной и претендующих на каузальную роль. Но почти для любой статистической связи можно благодаря указанным выше эпистемологическим основаниям придумать каузальную интерпретацию.

Все это представляет плодородную почву для процветания структурной недодетерминированности и / или эмпирически эквивалентных теорий. Хрестоматийные примеры на этот счет – десяток факторов, традиционно рассматриваемых как причины демократизации [Мельвиль, Стукал, 2011, с. 165–169], или множество объяснений того, почему демократии не воюют друг с другом [Rosato, 2003, р. 585–602], или несколько причинных механизмов,

предположительно стоящих за «ресурсным проклятием» [Ross, 2001, р. 325–361]. Но даже явления не столь крупного масштаба часто бывают связанными с несколькими признаками, которые можно записать в число причин данного явления. При достаточных фантазии и времени можно разработать теории, правдоподобно связывающие почти все со всем.

II. Конвенциональные практики количественного анализа и тезис Дюэма-Куайна

Ряд практик, которыми широко пользуются при проведении количественных исследований, усугубляет серьезность проблем, очерченных в предыдущем разделе. Ниже я кратко остановлюсь на распространенных практиках количественного анализа и таких их особенностях, как: 1) повсеместное употребление тестов статистической значимости; 2) недооценка последствий того, что исследуемые наблюдения могут быть каузально неоднородны; 3) стремление работать с процессами и явлениями самого общего характера.

II. 1. Злоупотребление тестами статистической значимости

В экономике и особенно в психологии – науках, которые тоже очень широко, как и политология, используют количественные методы анализа, – уже десятилетия ведется острая полемика по поводу ценности тестов значимости и тестирования нулевой гипотезы. В экономике эту практику критикует в основном Д. Макклоски [McCloskey, 1985, р. 201–205], при этом, хотя далеко не все согласны с некоторыми пунктами этой критики, иные ее положения не подвергаются сомнению. В психологии же сложилась мощнейшая традиция критики тестов значимости: особенно примечательны в связи с этим имена Яакоба Коэна и Пола Миля [Cohen, 1994, р. 997–1003; Cohen, 1990, р. 1304–1312; Meehl, 1967, р. 103–115; Meehl, 1990, р. 108–141]. Но в политической науке критика подобного рода начала звучать сравнительно поздно, а примеры ее – весьма

редки¹. Как будет видно из дальнейшего, данный вопрос заслуживает большего внимания.

A. Тестируовать нулевые гипотезы в общественных науках почти всегда бессмысленно, потому что между переменными почти никогда не бывает полного отсутствия связи.

Данное утверждение – переложение ранее сформулированного тезиса о том, что в обществе хотя бы статистически почти все связано со всем – в большей или меньшей степени². Но тестирование нулевой гипотезы подразумевает проверку предположения о том, что связи *нет вообще*, что она в самом деле *нулевая*, но это заведомо нереалистично. Следовательно, в тестировании нулевой гипотезы нет самодостаточного смысла.

Будет или нет отвергнута нулевая гипотеза, зависит от четырех факторов: уровня значимости, статистической мощности, размера эффекта (effect size) и размера выборки [Cohen, 1992, p. 156]³. Учитывая, что размер эффекта для переменных, которыми интересуется политология, почти никогда не бывает равным *точно нулю*, при достаточно большом размере выборки нулевая гипотеза будет отвергнута на любом уровне значимости⁴.

Но данная проблема усугубляется эпистемологическим аспектом, который был очерчен в предыдущем разделе. Именно, практически для любой переменной, статистически связанной с объясняемым явлением, можно придумать теорию каузальной связи. Даже если тест отвергает нулевую гипотезу, исследователь может сослаться на малый размер выборки и тем самым подвергнуть сомнению полученные результаты [Zumbo, Hubley, 1998], что вновь ведет к неопределенности в смысле того, верна или неверна testируемая гипотеза. Поэтому тестирование нулевых гипотез, по на-

¹ Мне удалось найти лишь четыре статьи, в явной форме критикующие практику использования тестов значимости в политологии: [Gill, 1999, p. 647–654; Rainey, 2014; Ward, Greenhill, Bakke, 2010, p. 363–375; Schrottdt, 2014, p. 287–300]. Хотя дело, разумеется, не в количестве статей, а в том, что они порождают слишком мало резонанса.

² Аналогичное явление в психологии отмечает П. Миль и называет это «фактором чепухи» (crud factor) [см.: Meehl, 1990, p. 123].

³ О размере эффекта см.: [Cohen, 1992, p. 157].

⁴ Прекрасный пример из реального исследования, иллюстрирующий это положение, приводит П. Миль: см.: [Meehl, 1990, p. 205].

шему предположению, само по себе очень часто лишено смысла не только в статистическом, но и в содержательном плане.

В. Тесты значимости предоставляют информацию о статистической значимости, но не свидетельствуют напрямую о политической, или, шире, содержательной значимости.

Хорошо известно, что, к примеру, в уравнении регрессии статистически значимыми могут оказаться коэффициенты, очень мало отличные от нуля. В то же время коэффициенты, которые исследователь может считать, полагаясь на результаты анализа, теорию и на свой опыт, достаточно большими по модулю, могут оказаться статистически незначимыми. Статистическая значимость не является надежным показателем содержательной значимости, т.е. не указывает сама по себе на то, что коэффициент при предикторе или размер эффекта достаточно велик. Тем не менее, как в силу того, что прилагательное «статистическая» часто опускается при сообщении результатов, так и, вероятно, по ряду других причин, *статистическая значимость часто интерпретируется как содержательная значимость.*

На сказанное выше можно возразить: нельзя трактовать размеры эффекта или коэффициенты статистически незначимых предикторов как устойчивые, потому что для таких предикторов сила сигнала слишком слаба по сравнению с уровнем «шума» [Hoover, Siegler, 2008, р. 15–16]. В расширенной и более репрезентативной выборке коэффициент может сильно измениться.

Но является ли статистическая значимость единственным критерием, позволяющим судить об устойчивости коэффициента при расширении выборки? Что если исследователь уверен в том, что его малая выборка включает в себя разные типы наблюдений примерно в той же пропорции, в какой они распределены в генеральной совокупности? В таком случае, по-видимому, он может быть достаточно уверен в устойчивости коэффициентов при предикторах, даже если они не являются статистически значимыми.

Но именно в политологии исследователи часто могут надеяться на репрезентативность своих выборок. Нередко исследуемые выборки являются, в сущности, генеральными совокупностями: речь идет о множестве независимых государств, о множестве посткоммунистических государств, о множестве регионов России, штатов США, множестве несостоявшихся государств, множестве

партий, принимающих участие в выборах, и т.д. И даже если предположить, что все эти «выборки – генеральные совокупности» являются частями некой «сверхгенеральной совокупности» [Western, Jackman, 1990, р. 413–414; Berk, Western, Weiss, 1999, р. 421–423] (например, выборка государств на 2014 г. принадлежит сверхгенеральной совокупности государств за период 1950–2050 гг.), исследователь может быть достаточно уверен в том, что такие выборки довольно точно репрезентируют эту сверхгенеральную совокупность (продолжая пример, можно сказать, что весь ревантный период страны делится на одни и те же группы с сохранением общего паттерна распределения значений политических переменных: есть страны Запада, образующие один кластер; страны Африки или, например, «третьего мира», образующие другой кластер, и т.д.).

Если приведенный аргумент верен, то выходит, что зачастую политологам следует гораздо внимательнее относиться к коэффициентам и размерам эффекта статистически незначимых переменных: с высокой вероятностью расширение выборки, если оно вообще возможно, не внесет в результаты статистического анализа коренных изменений.

К этому нужно добавить, что само вынесение решения о статистической значимости происходит на основании конвенциональных порогов ($\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,01$), которые зачастую приобретают полусвященный ореол. Они еще и потому должны играть меньшую роль в научных исследованиях, что наша задача сильно отлична от задачи инженеров или чистых экспериментаторов, для которых такого рода конвенциональные пороги особенно полезны: политологи должны не принимать решение о значимости или незначимости коэффициента при переменной или «обработки» (treatment), а уточнять степень нашей уверенности в корректности той или иной гипотезы [Rozeboom, 1960, р. 420].

Подмена понятий статистической и содержательной значимости приводит к тому, что иногда занижается важность переменных, коэффициенты при которых не признаны статистически значимыми, и завышается важность переменных со статистически значимыми коэффициентами. *Как следствие, представление о каузальной структуре изучаемого явления может сильно исказяться.* При противоречии результатов, полученных на разных выборках, при разных операционализациях переменных или при использовании

разных критических уровней усугубляется проблема структурной недодетерминированности.

Итак, акцентирование внимания на статистической значимости легко может вести к недостаточному вниманию к содержательной значимости и к оценке размеров эффекта. Не исключено, что это обстоятельство возымело последствия и в области того, как привыкли формулировать вопросы многие политологи, работающие с количественными методами. Так, много лет продолжается полемика о том, способствует ли демократия более высокому экономическому развитию; вызывают ли свободные ресурсы гражданскую войну; какие факторы повышают риск революции; опасна ли президентская форма правления для демократии – этот список можно продолжить еще многими десятками пунктов. Но с точки зрения рассмотренных выше обстоятельств такие вопросы почти бессмысленны. Нужно спрашивать не о том, является ли фактор X причиной явления A, потому что *в какой-то мере и в каких-то обстоятельствах он легко может оказаться таковым*, и, кроме него, эту же функцию, вполне вероятно, выполняют еще и многие другие факторы. В связи с этим в рамках общей логики конвенциональных количественных методов¹ разумнее спрашивать о том, насколько велик абсолютный и относительный причинный эффект фактора X на явление A и насколько он велик при разных конфигурациях причинных факторов – говоря более общо, насколько он велик в разных обстоятельствах и при разных условиях. Если не задавать вопросы подобного рода, то мы сталкиваемся с проблемой структурной недодетерминированности: мы не понимаем ни того, в какой мере фактор X политически значим, ни того, как он действует в условиях разных каузальных паттернов.

II. 2. Недооценка последствий каузальной неоднородности исследуемых наблюдений

Ученые-политологи часто – явно или подспудно – стремятся обнаружить универсальные закономерности, однако многие из

¹ В заключении мы подробнее скажем о том, что понимаем под этой «общей логикой», и поставим вопрос о том, в какой мере она в принципе адекватна научным целям.

этих закономерностей напоминают морскую свинку или, если угодно, Священную Римскую империю: подобно тому как морская свинка не морская и не свинка (а Священная Римская империя, по слову Вольтера, не Священная, не Римская и даже не империя), так и универсальные закономерности в политологии иногда оказываются и не закономерностями, и не универсальными.

В самом деле, полезно различать два смысла понятия «универсальный»: с одной стороны, «универсальный» может означать «относящийся в равной степени ко всем наблюдениям»; с другой стороны, под ним фактически часто понимают «усредненный (например, в соответствии с концептом математического ожидания) по всем наблюдениям». Дэвид Бакан проводит примерно такое же по смыслу различие между «общим» (general) и «агgregированным» (aggregate) [Bakan, 1966, p. 433]. Разница между двумя этими идеями универсальности имеет далеко идущие последствия. В физике и прочих естественных науках, насколько мне известно, закономерности формулируются как универсальные в первом смысле этого слова: они применимы ко всем физическим объектам заранее определенного класса. В общественных науках и в политологии в частности, если не всегда, то, возможно, в большинстве случаев и не в последнюю очередь благодаря популярности регрессионного анализа, «универсальность» на самом деле имеет второй смысл. Установленная закономерность может быть верна в среднем, но очень плохо описывать каждое наблюдение в отдельности.

К примеру, в результате количественного анализа можно выяснить, что демократия «в среднем» способствует экономическому развитию; при использовании какого-то вида регрессионного анализа можно даже назвать вклад демократии в экономическое развитие (коэффициент при предикторе демократии). Однако возникает вопрос: что означает это открытие? Значит ли это, что демократия для всех стран выборки делает одинаковый вклад в экономическое развитие? Или мы все же допускаем, что для Швейцарии этот вклад будет не таким, как для Конго? И может ли быть, что для каких-то стран повышение уровня демократичности на один пункт согласно какому-либо рейтингу, позволившему нам операционализировать это понятие, негативно скажется на экономическом развитии? Вероятно, это предположение тоже нельзя сбрасывать со счетов. Иными словами, мы можем получить, казалось бы, ясный и

однозначный результат, но элементарные вопросы о его содержании выявляют то, что этот результат трудно распространить по крайней мере на значительную часть конкретных наблюдений. В свою очередь, это ведет к тому, что такую «универсальную» закономерность не вполне корректно использовать в прогностических целях. Эта неясность преследует ученых-политологов всякий раз, когда пространство наблюдений каузально неоднородно: именно, когда исследуемое явление в разных наблюдениях порождается в чем-то отличными друг от друга каузальными структурами¹.

Таким образом, выявление «общих» или «универсальных» закономерностей приведет к результатам, успешно приложимым к конкретным наблюдениям, лишь тогда, когда каузальная структура исследуемых наблюдений достаточно однородна. Если же это требование не соблюдается, то результаты анализа оказываются весьма неустойчивыми к составу выборки, операционализации переменных и прочим аспектам исследования. В свою очередь, такая неустойчивость приводит к путанице в каузальной структуре исследуемого явления и, следовательно, лишь усугубляет серьезность проблемы структурной недодетерминированности.

Еще одна связь обсуждаемого в данном разделе вопроса с тезисом Дюэма-Куайна состоит в том, что при анализе каузально неоднородной выборки резко возрастает число факторов, с которыми статистически связана зависимая переменная. В свою очередь, как мы отмечали выше, это подготавливает почву для того, чтобы воспринять такие факторы как имеющие каузальную связь с интересующим исследователя явлением (во всяком случае, часто возможно придумать соответствующие теории). В свою очередь, это обычно приводит к попытке учесть все большее и большее число контрольных переменных. Однако данная стратегия чревата искажением оценок регрессионных коэффициентов – точно так же, как и отказ от учета дополнительных контрольных переменных [Clarke, 2005]. Возможное разрешение этой проблемы – сужение выборки с целью сокращения каузальной неоднородности явлений.

¹ Более подробное обсуждение этого сюжета применительно к видам регрессионного анализа [см. в: Achen, 2002, р. 446–447].

II. 3. Источники структурной недодетерминированности, связанные с анализом явлений самого общего характера

Ученые-эмпирики склонны к тому, чтобы включать в свои эмпирические модели явления самого общего характера – такие, которые фигурируют в теориях, проверяемых эмпирически. Исследование причин демократизации почти всегда происходит с включением в эмпирическую модель операционализации понятия демократизации – это лишь один пример, подобный десяткам других такого же рода.

Благодаря этому эмпирическая и теоретическая работа оказываются максимально приближенными друг к другу, что, безусловно, облегчает как формулирование гипотез и теорий, так и их проверку. Но у этого удобства есть оборотная сторона: *чем более общий характер носит эмпирически исследуемое явление, тем в большем количестве каузальных цепочек оно участвует и тем легче придумать правдоподобную гипотезу или теорию, эмпирически эквивалентную тестируемой*. И тогда, если теория или гипотеза не была эмпирически опровергнута, мы не можем указать «объяснительный вес» каждой из эмпирически эквивалентных теорий.

Совершенно аналогичный эффект имеет и то, что *операционализацию некой переменной можно истолковать и как операционализацию какой-то другой переменной (эта проблема имеет непосредственную связь с теоретической нагруженностью факторов, которую выявляет тезис Дюэма-Куйна)*.

Итак, выше названы два источника структурной недодетерминированности: первый источник – это возможность изменения каузальных цепочек, ведущих от явления А к явлению В; второй источник – это возможность изменения интерпретации операционализации явления А, ведущего к явлению В.

Для прояснения этих источников структурной недодетерминированности приведем два примера из популярной ныне области исследований.

Одна из теорий, на которую мы обратим внимание, разработана Дароном Асемоглу и Джеймсом Робинсоном [Acemoglu, Robinson, 2006], другая – Рональдом Инглхартом и Кристианом Вельцелем [Welzel, Inglehart, 2008, р. 126–140].

Д. Асемоглу и Дж. Робинсон предлагают причинно-следственную цепочку, которая схематически и в упрощенном виде может быть представлена следующим образом: модернизация (включая экономическое развитие) → снижение имущественного неравенства и изменение структуры экономики, в которой повышается доля физического и человеческого капитала, рост средних доходов и среднего уровня жизни населения → ущерб, причиняемый элитам более выраженной распределительной политикой, предполагаемой демократией, снижается → элиты становятся менее склонны к сопротивлению демократизации → элиты оказываются готовыми к демократизации [Acemoglu, Robinson, 2006, р. 285–286; 319–320].

Что касается главного эмпирического основания исследования, то оно заключается в хорошо установленной связи между модернизацией и демократией; цель теории Асемоглу и Робинсона заключается в том, чтобы разработать теорию, объясняющую эту связь [Acemoglu, Robinson, 2006, р. 54–55].

Эта же задача преследуется Рональдом Инглхартом и его коллегами, в том числе Кристианом Вельцелем. Каузальная цепь, соединяющая модернизацию и демократизацию, выглядит в их теории примерно так: модернизация (включая экономическое развитие) → распространение в обществе ресурсов, а) повышающих возможности сопротивления элитам, б) повышающих субъективную ценность свободы → распространение и укрепление продемократических ценностей (следствие пункта (б) → оказание давления на элиты по демократизации (следствие пунктов (а) и (б) → демократизация [Welzel, 2009, р. 74–90].

Почему сопоставление этих двух теорий порождает проблемы? На это есть две причины.

Во-первых, главное эмпирическое обоснование обеих теорий – сильная корреляция между модернизацией (экономическим развитием, уровнем грамотности и т.д.) и демократизацией; но эмпирическая проверка каждой из теорий посредством очередной оценки упомянутой связи не будет настоящей проверкой, поскольку, опираясь на идентичные переменные, мы не можем изолировать эти теории друг от друга; мы вновь сталкиваемся с проблемой структурной недодетерминированности, так как не знаем реального «объяснительного веса» этих теорий.

Во-вторых, только что указанная сложность усугубляется тем, что теория Инглхарта и Вельцеля плохо совместима с теорией Асемоглу и Робинсона; причина состоит в том, что для Инглхарта и Вельцеля переход к демократии происходит из-за давления на политические элиты «снизу», двигатель перехода – народные массы, предпринимающие успешные коллективные действия, направленные на демократизацию. В теориях, разработанных в парадигме политической экономии, напротив, демократизация случается потому, что на нее соглашается элита, отказываясь от стратегии репрессий. Возможно, это различие в теориях еще не ведет к логическому противоречию и их полной несовместимости, но оно определенно ставит проблемы на пути к их согласованию.

Второй источник структурной недодетерминированности (тот, что связан с множественностью интерпретаций операционализации абстрактных и общих явлений) удобно рассмотреть на примере теории Карлеса Боша [Boix, 2003]. Его теория предсказывает, в частности, что экономическое развитие увеличивает долю в экономике мобильного капитала, а те элиты, которые владеют мобильным капиталом, могут, в случае установления демократии и, как следствие этого, более равномерного экономического распределения, переместить свои активы за рубеж и тем самым сократить ущерб для себя от бремени, порождаемого более равномерным распределением. Вследствие этого сопротивление демократии со стороны элит, владеющих мобильным капиталом, будет слабее, чем сопротивление элит, чей капитал немобилен; значит, чем более развита экономика и чем большая доля приходится в ней на мобильный капитал, тем меньше сопротивляемость элит демократии и тем вероятнее ее установление [Boix, 2003, р. 12–13].

Однако нас интересует не теория сама по себе, а то, как операционализируются ключевые переменные. Бош использует следующие способы операционализации переменной мобильности капитала: доля в ВВП страны, которая приходится на сельское хозяйство; доля сырьевого экспорта в совокупном экспорте; среднее число лет обучения (в предположении о том, что число лет обучения формирует человеческий капитал, который мобильнее физического) [Geddes, 2007, р. 323–324].

Все три способа операционализации подвержены широким интерпретациям. Доля, которая приходится на сельское хозяйство в

ВВП страны, может рассматриваться не только как показатель мобильности капитала, но и как показатель инновационности экономики или даже как степень «традиционности» общества; при достаточной изобретательности можно предложить еще немало интерпретаций. Доля сырьевого экспорта в совокупном экспорте может рассматриваться как мера «свободных» денег у правительства, способных вести к ресурсному проклятию. Среднее число лет обучения выступает показателем образованности населения, которое, в свою очередь, может трактоваться в духе гипотезы Мартина Липсета или исследований Рональда Инглхарта о ценностных продемократических предпочтениях, свойственных более образованным гражданам. Каждая из этих интерпретаций указывает на новую теорию, посредством которой может объясняться переход к демократии. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой эмпирической эквивалентности: проводя анализ, подобный тому, что проделал Карлес Бош, мы не можем проверить ни одну из этих теорий в изоляции от других; следовательно, положительные результаты эмпирических тестов ни на йоту не добавят нам уверенности в том, что какая-то из этих теорий верна¹; в более широком смысле мы вновь сталкиваемся с недодетерминированностью каузальной структуры явления демократизации.

Нет сомнения, что с обоими источниками структурной недодетерминированности бороться чрезвычайно тяжело, хотя бы потому, что многие общественные процессы сильно коррелируют друг с другом, а мы ограничены в своих возможностях собирать те или иные данные для формирования все новых операционализаций переменных. Тем не менее не исключено, что в некоторых случаях полезно было бы работать не на уровне очень общих и абстрактных явлений, а на более «низком» уровне переменных, которые в каузальной цепи достаточно близки к эффекту. В этом смысле идея поиска «*microfoundations*» весьма резонна, но она не играет большой роли, если касается лишь придумывания новых теорий, а не попытки их прямого тестирования.

Кроме того, продуктивным может оказаться использование более узких, менее подверженных разным интерпретациям опера-

¹ На амбивалентность выводов К. Боша указывает, например, Барбара Геддес в упомянутой главе: [Geddes, op. cit.].

ционализаций. Однако сложно найти какой-либо хороший критерий или признак, которым можно руководствоваться при выборе таких операционализаций. Вероятно, в каждом отдельном случае нужно полагаться на уже имеющееся представление о каузальной сложности явления и на опыт и проницательность исследователя.

Заметим еще, что освещенный в этом разделе сюжет тесно связан с предыдущим: анализ масштабных явлений часто проводится в контексте каузальной неоднородности наблюдений. Поэтому стратегия сокращения этой неоднородности тоже можетоказаться полезной.

Заключение

Выше я попытался показать, как в конвенциональных методах количественного анализа воспроизводятся и усугубляются эпистемологические проблемы, связанные с тезисом Дюэма-Куайна. Особенное внимание было удалено трем распространенным в рамках количественного подхода исследовательским практикам: 1) использование тестов значимости как самодовлеющего аналитического инструмента; 2) невнимание к каузальной неоднородности явлений в больших выборках; 3) применение операционализаций переменных (представляемых как «данные», т.е. факты), подверженных большому числу интерпретаций. Эти практики значительно усугубляют проблему структурной недодетерминированности теорий: исследователь оказывается в ситуации, когда разные факторы, в том числе такие, которые плохо совместимы друг с другом, претендуют на объяснение данных, а строгий метод предпочтения одних теорий перед другими неочевиден.

На предполагаемое отсутствие надежного критерия выбора теорий нужно обратить особенно внимание. Об обманчивой эффективности тестов значимости, которые часто выступают в роли волшебной палочки, позволяя легко отвергать гипотезы, говорилось выше. Преимущества квазиконтрольных переменных, теоретически несостоительны [Clarke, 2005]. Большие выборки, нацеленные на выявление универсальных закономерностей, имеют оборотную сторону медали (казуальная неоднородность явлений), а потому

выводы, сделанные на их основании, нельзя по умолчанию признать более надежными, чем заключения, полученные на меньших выборках.

Все это означает, что в рамках конвенциональных количественных методов вопрос о критерии предпочтения одних теорий перед другими стоит весьма остро. Более того, на первый взгляд все неочевидно и то, каким мог бы быть хотя бы pragматический критерий выбора теорий (именно pragматический характер научных теорий защищал Куайн).

В действительности пресловутая *проблема эндогенности – частный случай структурной недодетерминированности*: мы не можем корректно оценить, как соотносятся между собой две (в случае «классической» проблемы эндогенности, когда есть сомнения о том, в какую сторону и с какой силой направлена каузальная связь) не исключающие друг друга теории. Но если этой проблеме справедливо уделяется столь большое внимание, то ее обобщение бросает политической науке еще более серьезный вызов.

Кроме того, разработка новых теорий, «проверяемых» на давно известных и многократно использованных данных, часто несет в себе мало смысла, потому что можно придумать десятки правдоподобных, но эмпирически эквивалентных теорий, и в результате нельзя будет по-настоящему проверить ни одну из них.

Нередко в политической науке речь идет о попытке выяснить, влияет ли одна переменная на другую, но довольно редко прилагаются усилия к тому, чтобы понять, насколько сильно это влияние и в какой мере оно сильнее или слабее влияния прочих факторов, одинаково ли оно для наблюдений разных классов, необходимое оно или достаточное, может ли оно компенсировать слабость влияния других переменных и т.д. Иными словами, ученыеполитологи редко стремятся составить обоснованное *представление о каузальной структуре явления в ее целостности*. Но без такого представления простой вывод о влиянии одной переменной на другую зачастую оказывается совершенно тривиальным: политика настолько сложная область, что почти все коррелирует почти со всем, и при достаточном воображении исследователь может вычленить многие десятки факторов, имеющих причинное воздействие на изучаемый процесс в тех или иных обстоятельствах. Но какие-то из этих факторов будут иметь большой объяснительный вес

или по иным причинам окажутся важными, а какие-то, напротив, будут играть лишь маргинальную роль.

Несомненно, задача составления целостного представления о каузальной структуре явления чрезвычайно сложна. В этом смысле неудивительно, что Джон Герринг, рассматривающий в одной из своих статей сюжеты, близкие к настоящему рассуждению¹, призывает к снижению строгости стандартов, когда речь заходит об эмпирическом тестировании каузальных механизмов [Gerring, 2010, p. 1518]. Хотя такая идея по ряду причин может показаться сомнительной, она вскрывает сложности, заложенные в стремлении как можно более полно учесть каузальную структуру исследуемых явлений.

Однако можно поставить под вопрос даже и саму задачу о выяснении каузальной структуры явления, потому что она сформулирована в предположении, что исследователь заинтересован в выявлении причинных эффектов всех важных (в каком бы то ни было смысле этого слова) факторов изучаемого явления. Использование стратегии явного учета размера причинных эффектов – это и есть то, что ранее мы называли «общей логикой» конвенциональных количественных методов. Но эта стратегия чревата большими трудностями.

Одна из явных альтернатив ей – оценка размера только одного причинного эффекта при изоляции всех остальных. Это и есть идея, стоящая за экспериментальным дизайном. В связи с этим можно сформулировать такую методологическую дилемму:

а) явный учет размеров причинных эффектов технически легко осуществим (если только речь не идет о попытке оценить эффекты *всех* важных факторов; это и делается в рамках конвенциональных количественных методов), но приводит к проблемам, которым посвящена настоящая статья;

б) явный учет лишь одного причинного эффекта – в котором более всего заинтересован исследователь – при изоляции всех ос-

¹ Предмет размышлений Дж. Герринга – проблемы, проистекающие из стремления эмпирически тестировать каузальные механизмы; многие выводы, к которым он приходит, имеют немало общего с положениями настоящей статьи, но Герринг рассматривает каузальные механизмы без привлечения тезиса Дюэма-Куайна.

тальных (что и происходит в эксперименте) технически тяжело осуществить, но, по-видимому, эта стратегия свободна от многих проблем, выявляемых в связи с тезисом Дюэма-Куайна.

Разумеется, эта дилемма не нова для общественных наук вообще и для политологии в частности. Но в настоящей статье я попытался продемонстрировать, что тезис Дюэма-Куайна позволяет: а) выявить ряд серьезных недостатков первой стратегии и явно их сформулировать; б) «укоренить» эти формулировки в философии науки и таким образом придать им более точный и ясный характер.

Как бы то ни было, несомненно, что методологический спор (*Methodenstreit*) в политической науке будет продолжен, но также несомненно и то, что соответствие строгим научным стандартам и самим целям науки требует дальнейшего совершенствования альтернативных методологических подходов и более аккуратного применения конвенциональных количественных методов.

Список литературы

- Алмонд Г.* Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые направления / Под ред. Гудин Р., Клингеманн Х.-Д. – М., 1999. – С. 69–112.
- Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К.* Условия демократии и пределы демократизации // Полис: Политические исследования. – М., 2011. – № 3. – С. 164–183.
- Acemoglu D., Robinson J.* Economic origins of dictatorship and democracy. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – 434 p.
- Achen C.* Toward a new political methodology: microfoundations and ART // Annual review of political science. – 2002. – N 5. – P. 423–450.
- Bakan D.* The test of ignificance in psychological research // Psychological bulletin. – 1966. – Vol. 66, N 6. – P. 423–437.
- Berk R., Western B., Weiss R.* Statistical influence for apparent populations // Sociological methodology. – 1995. – Vol. 25. – P. 421–458.
- Boix C.* Democracy and redistribution. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003. – 284 p.
- Chernoff F.* The impact of duhemian principles on social science testing and progress. // Oxford handbook of philosophy of social science / Ed. by Harold Kincaid. – New York: Oxford univ. press, 2012. – P. 229–258.
- Clarke K.* The Phantom menace: Omitted variable bias in econometric research // Conflict management and peace science. – 2005. – N 22. – P. 341–352.
- Cohen J.* Things I have learned (So Far) // American psychologist. – 1990. – Vol. 45, N 12. – P. 1304–1312.
- Cohen J.* A power primer // Psychological bulletin. – 1992. – Vol. 112, N 1. – P. 155–159.

- Cohen J.* The Earth Is round ($p < 0.05$) // American psychologist. – 1994. – Vol. 49, N 12. – P. 997–1003.
- Cross R.* The Duhem-Quine thesis, Lakatos and the Appraisal of theories in macroeconomics // The economic journal. – 1982. – Vol. 92. – P. 320–340.
- Duhem P.* La theorie physique. Son objet et sa structure. – Paris, 1906. – 450 p.
- Geddes B.* What causes democratization? // The Oxford handbook of comparative politics / Ed. by Carles Boix, Susan C. Stokes. – Oxford: Oxford univ. press. – 2007. – P. 317–339.
- Gerring J.* Causal mechanisms: Yes, But... // Comparative political studies. – 2010. – Vol. 43, N 11. – P. 1499–1526.
- Gerring J.* Social science methodology: A unified framework. – Cambridge, Cambridge univ. press, 2012. – 522 p.
- Gill J.* The insignificance of null hypothesis significance testing // Political research quarterly. – 1999. – Vol. 52, N 3. – P. 647–654.
- Hay C.* Political ontology. // The Oxford handbook of contextual political analysis / Ed. by Robert E. Goodin, Charles Tilly. – Oxford: Oxford univ. press., 2006. – P. 78–96.
- Hoover K., Siegler M.* Sound and fury: McCloskey and significance testing in economics // Journal of economic methodology. – 2008. – Vol. 15, N 1. – P. 1–37.
- King G., Keohane R., Verba S.* Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – 300 p.
- McCloskey D.* The loss function has been mislaid: The rhetoric of significance tests // American economic review. – 1985. – Vol. 75, N 2. – P. 201–205.
- Meehl P.* Testing Theories in psychology and physics: A methodological paradox // Philosophy of science. – 1967. – Vol. 34, N 2. – P. 103–115.
- Meehl P.* Appraising and amending theories: The strategy of Lakatosian defence and two principles what warrant it // Psychological inquiry. – 1990. – Vol. 1, N 2. – P. 108–141.
- Meehl P.* Why summaries of research on psychological theories are often uninterpretable // Psychological reports. – 1990. – Vol. 66. – P. 195–244.
- Mill J.* A System of logic ratiocinative and inductive. – Toronto, Toronto univ. press, 1974. – 1254 p.
- Quine W.* Main trends in recent philosophy: Two dogmas of empiricism // The philosophical review. – 1951. – Vol. 60, N 1. – P. 20–43.
- Rainey C.* Testing hypotheses of no meaningful effect // The society for political methodology. – 2014. – 31 p. – Mode of access: <http://www.polmeth.wustl.edu/media/Paper/nme.pdf> (Дата посещения: 23.08.2014.)
- Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards / Eds. Brady H., Collier D. – L.: Rowman and Littlefield publishers, 2004. – 428 p.
- Rosato S.* The flawed logic of democratic peace rheory // American political science review. – 2003. – Vol. 97, N 4. – P. 585–602.
- Ross M.* Does oil hinder democracy? // World politics. – 2001. – Vol. 53. – P. 325–361.
- Rozeboom W.* The fallacy of the null-hypothesis significance test // Psychological bulletin. – 1960. – Vol. 57, N 5. – P. 416–428.

- Sawyer K., Beed C., Sankey H.* Underdetermination in economics. The duhem-quine thesis // Economic and philosophy. – 1997. – Vol. 13, N 1. – P. 1–23.
- Schrodt P.* Seven deadly sins of contemporary quantitative political analysis // Journal of peace research. – 2014. – Vol. 51, N 2. – P. 287–300.
- Stanford K.* Underdetermination of scientific theory // Stanford encyclopedia of philosophy. – 2009. – 12 August. – Mode of access: <http://plato.stanford.edu/entries/scientific-underdetermination/> (Дата посещения: 08.03.2014.)
- Ward M., Greenhill B., Bakke K.* The perils of policy by p-value // Journal of peace research. – 2010. – Vol. 47, N 4. – P. 363–375.
- Welzel C.* Theories of democratization // Democratization / Ed. by Christian Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald Inglehart, Christian Welzel. – Oxford: Oxford univ. press, 2009. – P. 74–90.
- Welzel C., Inglehart R.* The role of ordinary people in democratization // Journal of democracy. – 2008. – Vol. 19, N 1. – P. 126–140.
- Western B., Jackman S.* Bayesian inference for comparative research // The American political science review. – 1994. – Vol. 88, N 2. – P. 412–423.

Е.В. ПОЛУХИНА, Д.В. ПРОСЯНЮК

**МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА В СМЕШАННОМ¹
ДИЗАЙНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ²**

**Смешанный дизайн как современная
исследовательская практика**

Стратегия «смешивания» методов (mixed methods research) [Tashakkori, Teddlie, 1998; Creswell, 2003; Morgan, 2013] получила широкое распространение в западной практике [Полухина, Савинская, 2014]. В самом общем виде – это «способ проведения иссле-

¹ В российской практике сочетание качественного и количественного подходов называют «комплексными» исследованиями. Мы хотим внести корректировку в понятийное обозначение этого направления исследований, предложив термин, согласующийся с международной практикой. Таким образом, слово «комплексный», скорее, обозначает сложность, многокомпонентность составных частей исследования, а не идею сочетания методов. Понятие «смешивание» представляется адекватным с точки зрения деятельности, которая происходит в исследовательском процессе. Термин «смешивание» подходит, во-первых, когда необходимо формально соединить методы в одном исследовании, оставив сущностную уникальность качественного или количественного характера исследования, следуя прагматическому подходу; во-вторых, «перемешать до однородности», интегрировать, создать полуформализованный, полустандартизованный метод, находящийся на середине методического континуума (по степени формализации / стандартизации).

² Статья написана в рамках научного проекта «Смешанные стратегии исследования: потребности, дизайн и процедуры воплощения» (№ 15-05-0012), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г.

дования, в котором сочетаются элементы качественных и количественных исследовательских подходов (оптики, процедур сбора и анализа данных, методов и пр.) для всестороннего и глубокого анализа и решения широкого круга задач» [Burke, Onwuegbuzie, 2004, р. 15]. Современные отечественные исследователи осознают необходимость данного подхода и отмечают, что «...поворот социологии к текстуальности и визуальности способствует увеличению множественности и разнородности данных о социальном мире, что, соответственно, должно вести к многовидовому подходу (*микс-методу*) (курсив авт.) при изучении социальных феноменов, что видится как интеграция или одновременное использование качественной и количественной стратегии при изучении социальных объектов» [Семенова, 2014, с. 8].

Основные характеристики традиционных количественных исследований – дедуктивный подход, подтверждение теорий / гипотез, стандартизованный, формализованный сбор данных и статистический анализ. Качественные исследования же опираются на индуктивную логику, непрерывный поиск, разведку, выдвижение гипотез / теорий, неформализованность, неразрывность сбора и анализа данных. Исследователь выступает в качестве основного инструмента, где его субъективность выступает основой познавательных возможностей.

Принципиальным моментом «смешанного» дизайна исследования является комбинация сильных сторон каждого из методов. Таким образом, результаты исследования будут превосходить данные, полученные с помощью одного из методов.

Гносеологической платформой стратегии смешивания методов является *классический прагматизм*, представленный, в первую очередь, идеями Ч. Пирса, У. Джеймса и Дж. Дьюи. Прагматизм, как версия позитивизма, возник в Америке в конце XIX в. Прагматизм позволяет понять, каким образом может быть достигнута наибольшая эффективность, полезность от объединения различных способов действия. Приверженцы школы прагматизма полагают, что научные методы должны применяться для поиска ответа, «наилучшего» из всех возможных. Сторонники школы стремятся рассматривать различные точки зрения, перспективы и взгляды, используя оптику качественных и количественных исследований. Прагматический подход предполагает взаимный интерес качест-

венного и количественного подходов. Его не интересуют природа изучаемой реальности и вопросы «истины». Прагматизм подчеркивает приоритетность действия как основы знания, где акцент делается, скорее, на *полезности* получаемого знания. С прагматической точки зрения исследование является одной из форм действия по достижению цели, в основе которой лежит решение исследовательских задач [Morgan, 2013, p. 42–43].

Методы анализа текста: Формализованный vs неформализованный подход

Контент-анализ является главным методом текстового анализа. Он выступает одним из наиболее интересных методов в социальных науках. Контент-анализ – это метод как сбора данных, так и анализа содержания текста, который может быть реализован в рамках качественного («неформализованного») и количественного («формализованного») подходов. Слово «контент» («содержание» – в переводе с англ.) относится к широкому кругу данных – словам, рисункам, символам, которые могут быть объектом коммуникации. Слово «текст» предполагает определенные рамки и означает нечто написанное, видимое или произнесенное, которое выступает как пространство коммуникации и презентации. Это пространство может включать в себя книги, газетные или журнальные статьи, объявления, выступления, официальные документы, кино- и видеозаписи, песни, фотографии, этикетки или произведения искусства [Ньюман, 1998].

Контент-анализ используется как исследовательский инструмент более 100 лет. Сфера его применения междисциплинарна и включает такие науки, как история, журналистика, политические науки, психология и т.д. Так, на первом заседании Германского социологического общества в 1910 г. Макс Вебер предлагал использовать его для анализа газетных текстов [Krippendorff, 1980].

Спектр современных методов формализованного анализа текстов значительно расширился и помимо контент-анализа включает кластерный анализ, тематическое моделирование, анализ тональности и пр. В нашей работе формализованный подход представлен методом кластерного анализа, базирующегося на

представлении текста в виде «мешка слов» (bag of words). Основные допущения данного подхода: а) порядок следования слов / документов в корпусе не имеет значения в тексте; б) текст рассматривается как неупорядоченная совокупность слов (вектор, состоящий из частот слов), где каждое слово имеет равный «вес»; в) слова, встречающиеся часто, исключаются из анализа; г) разные формы слов приравниваются к одному значению.

К формализованным подходам также относится анализ тональности, который нацелен на выявление эмоциональной «окраски» текста. Этот подход разрабатывается в работах Б. Лью, Б. Панга, Л. Ли и С. Вайтинатан и др. [Bing, 2012]. Преимущество формализованного подхода к анализу текста состоит в возможности обработки больших массивов. Не менее важной чертой подхода является «объективность» кодирования – нивелирование субъективности исследователя на этапе обработки данных. Основное ограничение – технические возможности компьютеров, а также учет «прямого» значения слов, безразличие к жанрам, скрытым смыслам, коннотациям. Один из недостатков формализованного подхода – определение темы как совокупности слов в тексте, однако их семантика не эксплицирована. Этот недостаток призван компенсировать альтернативный метод – неформализованный анализ, где процедуру кодирования совершает исследователь «вручную», самостоятельно («эвристическое» кодирование).

Неформализованный анализ рассматривает текст как совокупность смыслов. Текст трактуется как авторское описание, реализуемое с помощью целенаправленного конструирования значений. Исследователя интересуют выявление и толкование смыслов, явно и неявно транслируемых автором, а также интерпретация, реконструкция позиций и типов аргументации, способ преподнесения и видение автором социальной реальности. Этот анализ вытекает из теории аргументации [Attride-Stirling, 2005], он основан на индуктивном подходе, имеет описательный характер и решает поисковые аналитические задачи [Guest, MacQueen, Namey, 2012]. Неформализованный анализ требует активного участия со стороны исследователя. Этот подход выходит за рамки подсчета слов / фраз и сосредоточивается на выявлении и описании значений. В результате такого анализа происходит определение семантической структуры текста. Исследователем разрабатываются коды – «маркеры»

тем, используемые в дальнейшем анализе. Существуют две точки зрения на сущность этого анализа и его соотношение с другими подходами к анализу текста. Ряд исследователей [Braun, Clarke, 2006] полагают, что *неформализованный* (или «тематический», «качественный» контент-анализ) *анализ является интегральным методом*: включает процедуры, заимствованные у таких методов, как обоснованная теория, дискурс-анализ и др. Метод перенимает преимущества других в рамках теоретического и методологического арсенала и адаптирован к прикладным исследованиям. С другой стороны, некоторые авторы отмечают [Boyatzis, 1998], что *данный вид анализа не является самодостаточным методом, а, скорее, представлен алгоритмом – кодированием*, который используется также и другими методами.

Образ современной России в текстах газеты «Нью-Йорк таймс»: Процедура работы с текстами

Цель проведенного эмпирического исследования – выявление и описание образа Российской Федерации в американском издании – «Нью-Йорк таймс». Политические и социальные события последних десятилетий, динамика взаимоотношений двух «империй» свидетельствуют об актуальности вопросов, связанных с изучением образа РФ в американских средствах массовой информации.

Эмпирическую базу исследования составляет корпус статей «Нью-Йорк таймс» о России за период августа 2011 г. – июля 2012 г. В это время уровень информационного внимания к событиям в России был достаточно высок, так как проходили думские и президентские выборы, а также был назначен новый состав кабинета министров. Пики публикационной активности приходятся на периоды думских и президентских выборов декабря 2011 г. – марта 2012 г. В исследовании были использованы различные методы анализа текста в зависимости от степени формализации – формализованные (клusterный анализ и сентимент-анализ (метод определения тональности текста) и неформализованный (тематический) анализ.

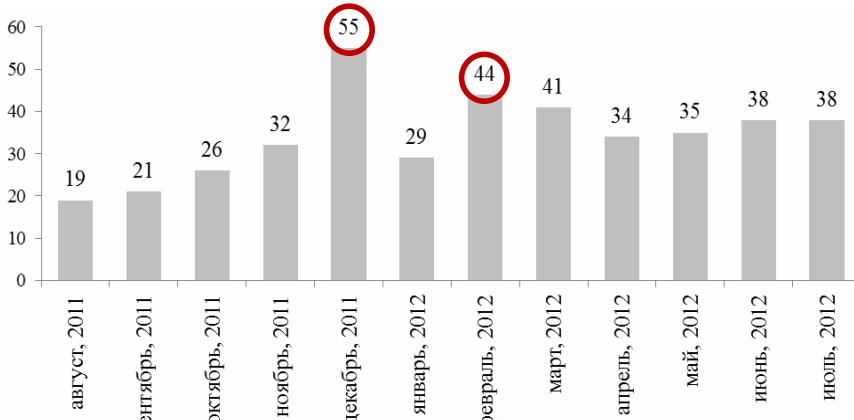


Рис.

Динамика количества публикаций о России в издании «Нью-Йорк таймс», август 2011 г. – июль 2012 г.

Было сформулировано рабочее определение образа России (интегральный конструкт, состоящий из совокупности характеристик России, транслируемых СМИ). Каждый элемент образа соотносится с темой, в контексте которой описывается Россия. Для индуктивного выделения и описания интегрального образа России было необходимо: а) определение тематической структуры и профиля изучаемых текстов; б) последующий анализ каждой из тем, сфокусированный на характеристиках России [Просянюк, 2014]. Алгоритм проведения исследования включает шесть последовательных этапов (см. табл. 1).

Таблица 1
Алгоритм проведения исследования

№	Наименование этапа	Описание этапа	Результат реализации этапа
1	2	3	4
1	Определение источника (источников)	Источником был выбран «Нью-Йорк таймс» – качественное издание, наиболее предпочтаемое элитой и имеющее значительное влияние на	Выбран источник материалов исследования – «Нью-Йорк таймс»

		общественное мнение	
Продолжение таблицы			
1	2	3	4
2	Отбор публикаций	Многоступенчатый отбор. На первом этапе отбора была осуществлена сплошная выборка публикаций «Нью-Йорк таймс» за период 01.08.2011–31.07.2012. На втором этапе были отобраны релевантные (удовлетворяющие информационной потребности) статьи	Сформирована выборка исследования. Размер – 411 статей «Нью-Йорк таймс», релевантных теме исследования. Период – 01.08.2011 – 31.07.2012
3	Определение единиц анализа	Разделение текста статьи на два структурных элемента – заголовок и текст	Сформированы две подвыборки исследования – заголовки статей и тексты статей
4	Определение тональности заголовков: автоматическое и эвристическое	Проведение автоматической и эвристической оценки тональности заголовков статей	Выявлена негативная тональность заголовков. Единственной темой, освещаемой исключительно положительно, является российская культура
5	Классификация текстов статей: автоматическая и эвристическая	Проведение автоматического и эвристического тематического анализа текстов статей («bottom-up approach»). Автоматический тематический анализ проводился двумя методами: кластерный анализ и тематическое моделирование	Выявлено четыре кластера с помощью кластерного анализа и 11 кластеров эвристическим кодированием
6	Выявление и описание элементов образа России на основе проведенной классификации	Индуктивное выделение и описание элементов образа России на основе выделенных эвристическим кодированием тем	Выявлен и описан интегральный образ России, состоящий из следующих элементов: внутренняя политика России, выборы, протесты; внешняя политика России; международные экономические отношения России; культура России; прочие темы (менее 1% корпуса)

Этап 1. Определение источника / источников текстовых данных. Эмпирическим источником был выбран «Нью-Йорк

таймс» – издание, наиболее предпочтаемое элитой и имеющее значительное влияние на общественное мнение. Газета уделяет особое внимание иностранным новостям. Издание «Нью-Йорк таймс» публикует как «жесткие» (критические / политические), так и «мягкие» (нейтральные) новости. «Нью-Йорк таймс» традиционно относится к «качественной» прессе как ориентированной на аудиторию с высоким экономическим и образовательным статусом.

Этап 2. Отбор публикаций. При работе с большими корпусами текстов начальный этап – отбор источников – исключительно важен. Результат, полученный на данном этапе, предопределяет дальнейший ход исследования и качество данных. Основные способы отбора текстов соотносятся с типами выборок и достаточно разработаны в контент-анализе [Krippendorff, 1980; Krippendorff, 2004].

В ходе исследования был использован многоступенчатый отбор, включающий процедуры сплошной выборки¹ (отобрана 2041 статья) и последующего экспертного отбора релевантных статей² (411 статей). Фактически оказалось, что 80% исходной выборки (формированных с помощью указания ключевых слов) является «шумом» для настоящего исследования. Полученный результат свидетельствует о необходимости верификации корпуса текстов исследования, отобранных с помощью применения формализованных методов. Соотношение нерелевантных и релевантных статей 100 к 20% (5/1) соответственно свидетельствует, что интеграция

¹ Публикации «Нью-Йорк таймс» за период 01.08.20011 – 31.07.2012 по всем разделам («Политика», «Общество», «Культура» и пр.). Поиск проводился по ключевым словам «Russia», «Russian Federation». Поиск осуществлялся с помощью информационной базы данных LexisNexis.

² При первом ознакомлении с материалом стало очевидно, что далеко не все статьи отвечают задачам исследования. Так, статья может содержать ключевое слово «Russia» единожды – в расшифровке аббревиатуры BRIC. Данная статья формально является релевантной, но не отвечает информационной потребности исследователя, так как не содержит в себе эксплицированных в тексте индикаторов предмета исследования – мнений, оценок России и пр. С другой стороны, статья может быть посвящена нарушению прав человека в российском обществе, т.е. очевидным образом соответствовать информационной потребности исследователя, но также содержать ключевое слово «Russia» в единственной фразе. Такие статьи будем называть «пертинентными» (релевантными, т.е. соответствующими информационной потребности).

формализованных и неформализованных процедур отбора является приоритетной.

Этап 3. Определение единицы анализа. Определение единиц анализа при работе с большими массивами текстов является неоднозначным вопросом. С одной стороны, в сложившейся практике принято *отождествлять текстовый массив и единицу анализа*. Процедура рассмотрения текста как единицы анализа отвечает pragматическим соображениям – при работе с корпусами размером в несколько сотен / тысяч документов разделение текстов на единицы анализа трудозатратно. С другой стороны, лингвистические дисциплины рассматривают газетные *статьи как особый вид текста*. Следуя за Т. Ван Дейком, особого внимания заслуживает *анализ как отдельных структурных элементов, так и макроструктурных характеристик* (тематической структуры текста). У каждого структурного элемента статьи свои социально-коммуникативная функция, строение, лексико-семантические особенности. Ввиду специфики каждого элемента / сегмента текста статьи целесообразно, на наш взгляд, рассматривать их как отдельные единицы анализа. Применительно к нашему исследованию отдельные элементы формирования образа России содержательно должны рассматриваться в комплексе.

В журналистике подробно изучена структурная организация текстов разных жанров. М.Н. Ким [Ким, 2001] отмечает, что в аналитической статье главная роль отводится: а) выдвижению основного тезиса для доказательства; б) построению системы аргументации, раскрывающей суть выдвинутого тезиса; в) выводам из системы доказательства [*ibid*]. Данные структурные элементы создают трехчленную структуру статьи: начало (основной тезис) – основная часть (аргументы) – заключение (вывод). Как правило, основная цель аналитической статьи заключается в демонстрации различных точек зрения, мнений, оценок. Представляется возможным использовать укрупненные единицы, а именно *две основные части статьи*, имеющие принципиально различные цели и структуру: заголовок (для привлечения внимания, описания основной идеи статьи) и «тело» статьи (включая заключение).

Этап 4. Определение тональности заголовков: автоматическое и неавтоматическое («ручное»). СМИ используют как средства рационального (аргументированного), так и эмоционального

воздействия. Было решено определять тональность заголовков (уровень предложений) по нескольким причинам. Во-первых, заголовок представляет главную тему статьи. Как правило, тема в заголовке традиционно одна. Последнее дает основание полагать, что возможно адекватно определить именно тональность заголовка. Во-вторых, текст статьи, как правило, содержит спектр тем и аргументов, следовательно, однозначно определить его тональность затруднительно. Напомним, что метод оценки тональности исходит из допущения, что каждый документ выражает мнение об одном объекте. Таким образом, анализ не применим к документам, которые оценивают или сравнивают несколько объектов. В-третьих, специфика новостного жанра допускает, что получатель сообщения в ряде случаев ограничивается прочтением заголовка из всего текста новости.

Тональность текста может быть определена двумя альтернативными методами: автоматическим (формализованным) либо неавтоматическим (тематическим кодированием). Для формализованного определения тональности использовалось онлайн-программное обеспечение Tweenator¹. Кодировщик определял тональность по шкале «Негативно» – «Нейтрально» – «Положительно». На вход программному обеспечению были представлены заголовки, которые были определены кодировщиком как «не нейтральные».

Адекватно тональность заголовка была определена в 55% случаев. Типичные ошибки соответствуют ожидаемым проблемным зонам формализованного анализа тональности (нечувствительность к иронии, сарказму), что, в свою очередь, и приводит к смысловомуискажению («смысли плынут»). Подход «обучения с учителем» (обучается машинный классификатор на заранее размеченных текстах, а затем используют полученную модель при анализе новых документов) имеет явные недостатки, которые негативно повлияли на результат. Полученные параметры являются «черным ящиком», не подлежат дальнейшей настройке и корректировке. Отсюда следует,

¹ Данное программное обеспечение разработано для определения тональности на уровне предложений таких элементарных контекстов, как «твиты» (сообщения из социальной сети Twitter) или заголовки новостных статей. Программа основана на методе обучения с учителем (machine learning approach). Обучающей выборкой были данные Stanford Twitter Sentiment Data, которые были собраны в период с 6 апреля по 25 июня 2009 г. Выборка состояла из 1,6 млн твитов и такого же количества твитов, содержащих эмотиконы (способы выражения эмоций).

что результат применения «обученного» алгоритма на новой выборке требует обязательной экспертной верификации («ручной» проверки). Таким образом, применение тематического («ручного» / неформализованного) кодирования значительно повышает качество формализованной оценки тональности текста.

Проведенный анализ тональности заголовков показал, что новостные материалы, посвященные России, носят преимущественно негативную эмоциональную окраску. Анализ тем показывает, что единственной темой, освещаемой положительно, является российская культура (в большинстве случаев – балет).

Этап 5. Классификация текстов статей: автоматическая и эвристическая. Элементы образа России могут быть индуктивно определены на основе анализа тем, представленных в текстах «Нью-Йорк таймс», где упоминалась Россия. Для решения данной задачи был проведен автоматический (формализованный)¹ и тематический (неформализованный) анализ текстов статей [Braun, 2006]. Автоматически в корпусе статей было выделено четыре кластера: Krymsk (19%), Oil (13%), Putin (40%) и Syria (28%). Результаты проведения неформализованного тематического анализа представлены в табл. 2. В данном случае автоматически удалось идентифицировать две самые частотные темы (как количественно, так и содержательно). Вместе с тем по наполнению кластеры, выделенные автоматическим путем, гетерогенны дальнейшему анализу и интерпретации не подлежат.

Таблица 2
Кластеры текстов статей, полученные
с помощью неформализованного / тематического анализа

№	Тема	Доля (в %)
1	Внутренняя политика России (выборы, протесты, деятельность правительства и пр.)	51
2	Внешняя политика России	33
3	Культура России	4
4	Экономическая политика России	4

¹ Формализованный тематический анализ проводился методом кластерного анализа, алгоритм двукластерного решения (*bisectingk-means*), косинусная мера. Использовалось программное обеспечение TLab.

5	Нарушение прав человека в России	2
6	Возможности организации бизнеса с Россией	2
7	Остальные темы (менее 1% каждая)	4

Этап 6. Выявление и описание элементов образа России. Каждому сообщению соответствовала не одна, а несколько тем. Поэтому описание основных тем находится не в четком соответствии с подкорпусом информационных сообщений.

Заключение

Для изучения такого явления, как образ страны, сочетание формализованных и неформализованных подходов к анализу текстов является необходимым и естественным. Технические средства изменяют структуру текста, могут приводить к искажению его первоначального значения. Так, отобранный для анализа текстовый фрагмент, помещенный в программное обеспечение, претерпевает существенные изменения. Автор повествования сменяется автором обработки и анализа. В поле исследователя остаются преимущественно образованные коды, к которым обращены фрагменты текста.

Важность учета контекстуальности текстовых данных делает необходимым «индивидуальную» работу, где программное обеспечение представлено в качестве оптимизирующего механизма. Так, авторами в целях изучения формируемого в СМИ образа страны реализован смешанный дизайн исследования, интегрирующий как формализованные, так и неформализованные методы анализа текста. Таким образом, преимуществом смешанного дизайна исследования является взаимообогащение познавательных возможностей, данных и интерпретаций.

Список литературы

- Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические исследования. – М., 1998. – № 6. – С. 119–129.
- Полухина Е.В., Савинская О.Б. Через исследования к доверительному глобальному сотрудничеству: перспективы качественных исследований в XXI веке // Социологические исследования. – М., 2014. – № 1. – С. 122–125.

- Просянок Д.В.* Образ России в призме социально-проектных и информационных технологий // Власть. – М., 2014. – № 1. – С. 50–54.
- Семенова В.В.* Стратегия комбинации качественного и количественного подходов при изучении поколений // Интер. – 2014. – № 8. – С. 5–15.
- Attride-Stirling J.* Thematic networks: ananalytic tool for qualitative research // Qualitative research. – 2001. – N 1. – P. 385–405.
- Bing L.* Sentiment analysis and opinion mining. – L.: Morgan & Claypool publish, 2012. – Mode of access: <http://www.dcc.ufrj.br/~valeriac/DTM-SentimentAnalysisAndOpinionMining-BingLiu.pdf> (Дата посещения: 12.02.2015.)
- Boyatzis R.E.* Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. – Thousand Oaks, CA: Sage. 1998. – 184 p.
- Braun V., Clarke V.* Using thematic analysis in psychology //Qualitative research in psychology. – 2006. – Vol. 3, N 2. – P. 77–101. – Mode of access: http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised (Дата посещения: 12.02.2015.)
- Burke J.R., Onwuegbuzie A.J.* Mixed methods research: A research paradigm whose time has come // Educational researcher. – 2004. – Vol. 33(7). – P. 14–26.
- Creswell J.W.* Research design: qualitative, quantitative, and mixed approaches. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. – 273 p.
- Guest G., MacQueen K., Namey E.* Applied thematic analysis. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2012. – 320 p.
- Krippendorff K.* Content analysis: An introduction to its methodology. – Beverly Hills. Thousand Oaks, CA: Sage, 1980. – 188 p.
- Krippendorff K.* Content analysis: An introduction to its methodology. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2004. – 413 p.
- Morgan D.* Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. Sage publications, 2013. – 288 p.
- Tashakkori A., Teddlie C.* Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. – Thousand Oaks, CA: Sage. 1998. – Vol. 46. – 200 p. [Applied social research methods series.]

А. МАРКС, Б. РИХОКС, Ч. РЭЙГИН

**ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА:
ПЕРВЫЕ 35 ЛЕТ¹**

Введение

Четверть столетия назад, в 1987 г., Чарльз Рэйгин опубликовал монографию «Сравнительный метод», в которой ввел в социальные науки новый исследовательский подход, названный «качественным сравнительным анализом» (КСА). Данный подход строится на сравнительной традиции в социальных науках, основанной еще работами Джона Стюарта Милля [1967 (1843)] и позже переработанной видными социологами и политологами [Przeworski, Teune, 1970]. КСА – одновременно и один из сравнительных исследовательских подходов, ориентированных на изучение кейсов, и коллекция техник, базирующихся на теории множеств и булевой алгебре, целью которых является скомбинировать некоторые из сильных сторон как качественных, так и количественных исследовательских методов. Как заметил Дж. Герринг [Gerring, 2001, более продвинутую дискуссию по КСА см. также в: Gerring, 2012], КСА – одна из немногих подлинных инноваций последних десятилетий в исследовательской методологии. Запросы в Google Scholar показывают, что «сравнительный метод», с учетом того, что на него ссы-

¹ Печатается по: «МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: 2014». – М.: ИНИОН РАН, 2015 (в печати). Публикуется с разрешения редакции ежегодника.

лялись в других работах более 3650 раз, является одной из наиболее цитируемых методологических книг в социальных науках.

С момента своего появления в 1987 г. КСА применялся в более чем 750 исследованиях, результаты которых были опубликованы¹. Данный метод может использоваться как минимум для пяти исследовательских целей [De Meur, Rihoux, 2002, p. 78–80; Berg-Schlosser et al., 2009]. Наиболее базовая из них – просто суммировать данные, описать имеющиеся кейсы, составив таблицу истинности, которая, в свою очередь, может быть использована для более глубокого исследования данных, синтеза и / или построения типологии. Вторая возможная цель – проверка аналитической непротиворечивости данного множества кейсов применительно к релевантным причинно-следственным условиям через поиск так называемых «противоречий» (логически проблематичных конфигураций). Это позволяет исследователю идентифицировать аномалии в разрабатываемых им объяснительных моделях. Таким образом, КСА может обеспечивать исследования, основанные на подходе, ориентированном на кейсы, средствами для оценки аналитической значимости различных сравнительных case-studies [Wickham-Crowley, 1992]. Третье возможное применение метода – оценка существующих гипотез и предположений. Во многих посвященных методу работах [Goertz, Mahoney, 2004; Sager, 2004; Schneider, Wagemann, 2012] отмечается, что КСА – сравнительно удобное средство для тестирования теорий.

Четвертая возможная цель – оценка не устоявшихся, а новых идей, предположений, догадок и гипотез, сформулированных исследователем впервые. КСА, таким образом, может быть полезен для процесса исследования данных. Наконец, в-пятых, КСА позволяет разрабатывать новые теории непосредственно в процессе исследования: за рассмотрением формул, полученных путем логической минимизации, следует более глубокое изучение типичных и отклоняющихся кейсов, включенных в исследование, из чего выте-

¹ Оценка числа публикаций основана на данных группы исследователей, аффилированных с сетью COMPASSS. COMPASSS – широкая сеть исследователей, вовлеченных в разработку систематического кросс-кейсового анализа и, в особенности, КСА. Последнее обновление было подготовлено Присциллой Аламос-Конча, Дамиеном Болом, Бенуа Рихоксом и Альриком Тимом, как часть общей работы в COMPASSS. Полный обзор доступен по адресу <http://www.compasss.org>

кает возможность для исследователя расширить или уточнить существующие теории.

В первой части данной обзорной статьи подчеркиваются истоки идей, лежащих в основе КСА, после чего во второй разъясняются главные черты метода – так, как они были описаны в «Сравнительном методе». Третья часть посвящена наиболее ранним приложениям метода, четвертая фокусируется на аргументах первых критиков КСА и произошедшей под их влиянием трансформации метода. В пятой части статьи рассматриваются перспективы дальнейшей экспансии метода в политическую науку и некоторые из основных приложений КСА к политологическим дисциплинам. Настоящая статья нацелена на то, чтобы дать представление о происхождении и развитии КСА, его основных функциях (без технических деталей), пройденном методом на данный момент пути и разнообразии его приложений в реальных исследованиях.

Генеалогия сравнительного метода

Развитие КСА было тесно связано с несколькими методологическими проблемами и вызовами, с которыми Чарльз Рэйгин столкнулся в 1970-х и в 1980-х годах. Он был социологом и использовал количественные методы, но испытывал все большую фрустрацию, осознавая ограничения данного подхода. В самом начале собственного обучения в аспирантуре он прочитал книгу Баррингтона Мура «Социальные истоки диктатуры и демократии» (Moore, 1966), которая очень сильно повлияла в дальнейшем на развитие КСА в том смысле, что она предоставляла блестящий и глубокий сравнительный анализ ограниченного числа кейсов, фокусируясь на комбинациях различных априорных условий, связанных с конкретными масштабно-историческими преобразованиями. В то время как эмпирически данное исследование характеризовалось захватывающим размахом и амбициозностью, аналитически оно строилось на серии попарных сравнений, без какого-либо всеобъемлющего, систематического изучения кросс-кейсовых паттернов. Для Рэйгина, который привык проводить анализ в терминах совокупного эффекта переменных, ключевой проблемой было то, что аргументация работы Мура вступала в противоречие с языком

переменных и их совокупных эффектов. Это была весьма влиятельная работа в сфере социальных наук, которую невозможно было включить в существующий дискурс количественных методов.

Рэйгин ставил перед собой следующую задачу: формализовать технику, которая бы позволила исследователям систематически интегрировать как глубокий внутренний анализ небольшого числа кейсов, так и сравнительный анализ значительно большего их числа. Важной задачей также было оставаться верным аргументации качественных методов с их концентрацией на вопросе о том, «как происходят вещи». Ответ на вопрос «как?» должен быть начальной позицией любого метода, который пытается формализовать технику сравнительного анализа кейсов. В своей диссертации [Ragin, 1975] Рэйгин использует как качественные, так и количественные методы для исследования истоков и социальной базы валлийского и шотландского национализма в контексте политического регионализма в Великобритании. Исторический анализ обеспечивает контекстуализацию анализа количественного, а последний, в свою очередь, предоставляет исследователю дальнейшие вопросы для анализа исторического. В определенном смысле это было применение методологически смешанного подхода еще до того, как последний формально был изобретен и обоснован. Вместе с тем полностью интегрировать различные типы анализа оказалось достаточно сложно, поскольку они были призваны отвечать на разные вопросы. Несмотря на то что в конце концов в работе была представлена более полная и комплексная картина, две аналитические модели в ней сохраняли значительную дистанцию между собой.

Второй работой, которая повлияла на желание Рэйгина скомбинировать количественные и качественные подходы, был исследовательский проект по румынскому крестьянскому восстанию 1907 г., выполнявшийся им вместе с одним из его соавторов, Дэниэлем Чиротом [Chirot, Ragin, 197]. Важной деталью этого проекта было изучение различных сочетаний условий, связанных со вспышками крестьянских восстаний, с использованием количественных методов. Основываясь на макросоциологической традиции в исследованиях природы революций, авторы исследования идентифицировали две модели, которые тестировались на исторических данных по румынским крестьянским восстаниям. Первая из этих моделей строилась на работах Эрика Хобсбаума [Hobsbawm, 1959],

Чарльза Тилли [Tilly, 1967] и Баррингтона Мура [Moore, 1966] и акцентировала внимание на конфликте между выживанием крестьянского традиционализма и наступлением капиталистических рыночных сил. В той статье Рэйгин, основываясь на работе Джона Стюарта Милля [Mill, 1843], разработал идею «химической каузальности» [см. также: Ragin, 1987, р. 25], обосновывая то, что причинно-следственные условия, для того чтобы действительно вызывать качественные изменения, очень часто действуют лишь в комбинации друг с другом. Рэйгин в тот период операционализировал этот аргумент с использованием эффектов взаимодействия в статистическом анализе. Данные, использованные в статье, показывали, что модель действительно обладала хорошей объясняющей силой для румынского восстания, а также что очень важной переменной в этой модели, объясняющей интенсивность восстаний, был эффект взаимодействия крестьянского традиционализма и проникновения рыночных отношений в сельскохозяйственную отрасль.

С идентификацией эффектов взаимодействия как ключевой объяснительной стратегии началось 5-летнее погружение Рэйгина в систематический и глубокий анализ моделей взаимодействия (для ознакомления с расширенной дискуссией по эффектам взаимодействия в эмпирических исследованиях [см.: Delacroix, Ragin, 1978]).

Это увеличивало внимание к эффектам взаимодействия в контексте статистического моделирования, но к тому же вскоре доставило довольно много разочарования по самым разным причинам. Результаты тестов моделей взаимодействия очень сильно изменяются просто вследствие изменения единиц измерения переменных, а также степени корреляции между ними. Острой проблемой также является существенная коллинеарность между эффектами взаимодействия и их компонентами. Когда принимаются во внимание эффекты взаимодействия высшего порядка (включающие в себя более двух условий), коллинеарность усугубляется очень сильно, и исследователи очень часто вынуждены делать выбор того, о каких эффектах взаимодействия следует сообщать в публикациях. Рэйгин заключил, что работа с эффектами взаимодействия, в особенности трехуровневыми и еще более сложными, является крайне ненадежной. Одна из его исследовательских задач, однако, как раз – объяснение того факта, что могут существовать сочетания четырех, пяти или шести условий, создающие качест-

венные изменения. Этот взгляд на социальную реальность был куда более близок к богатому историческому анализу макросоциологических явлений. Рэйгин годами работал над моделями взаимодействия с целью приспособить их работу к анализу эффектов взаимодействия высшего порядка и сделать их более устойчивыми. В конце концов он вынужден был признать, что это не очень плодотворный путь и что для успеха должны быть разработаны альтернативные техники.

Третий вызов, с которым столкнулся Рэйгин, был связан со спецификой работы количественных методов с популяциями и с предположением, что исследователи должны использовать «данные» популяции. Рэйгин и другие ученые [см.: Pzewroski, Teunis, 1970] ставили под сомнение это предположение и обосновывали возможность исследователя самому конструировать популяции для собственных специфических исследовательских целей (см. также дискуссию в [Ragin, Becker, 1992]). Конфронтация по вопросу о том, как исследователи, специализирующиеся на качественных методах, должны выбирать их кейсы, отразила очень различные подходы к формированию популяции и даже ее определению. В работе, основанной на качественных методах, кейсы специально отбираются для того, чтобы удовлетворить конкретные теоретические цели, не являются и не предполагаются полученными экзогенно.

Эти и связанные с ними вопросы стимулировали поиск нового подхода, целью которого было формализовать некоторые из практик, которые уже стали весьма популярными (и часто имплицитными) в качественных исследованиях. Для того чтобы формализовать, как различные условия комбинируются, чтобы произвести качественное изменение, Рэйгин обратился к книгам по булевой алгебре, теории множеств и контактным схемам, которые он читал еще подростком. Примерно в то же самое время он перешел из Университета Индианы в Северо-Западный университет, который в этот период был более открыт для исследований, ориентированных на качественные методы и методологические инновации. В этом окружении для него стало возможным экспериментировать с новыми аналитическими подходами, и он представил первые лекции по своим методологическим идеям именно на семинарах в Северо-Западном университете.

Конечный продукт этой разработки альтернативного аналитического основания для качественных методов обрел свою куль-

минацию в создании КСА. Первое практическое приложение, разработанное в соавторстве со Сьюзан Майер и Криссом Драссом, было опубликовано в «Американском социологическом обозрении» в 1984 г. [Ragin et al., 1984]. Эта статья фокусировалась на изучении феномена дискриминации в сфере занятости, а также обращала внимание на адекватность существующих статистических техник, используемых для оценки уровня дискриминации, особенно в правовых аспектах. В статье сравнивались значимые плюсы КСА и логистической регрессии как методов, позволяющих оценить уровень дискриминации, со специальным акцентом на том требовании, что сравниваемые группы должны были быть составлены схожим образом. Рэйгин считал, что этот принцип требовал формы сравнения, которая бы обращалась к кейсам как к определенной комбинации характеристик. В 1987 г. вышла книга «Сравнительный метод», в которой продолжилась и была углублена разработка комбинаторных принципов, впервые представленных в статье 1984 г. «Сравнительный метод» не был конечным продуктом процесса внедрения данных методологических инноваций – скорее, он являлся первым шагом долгой работы, которая должна была быть продолжена в контакте с широкой аудиторией.

1987 г. – «Сравнительный метод»

Одна из ключевых целей «Сравнительного метода» – разработать исследовательский подход (включая аналитические инструменты), который позволил бы исследователям комбинировать подходы, ориентированные на изучение взаимосвязей между наблюдениями (*case-oriented approaches*), и подходы, ориентированные на изучение взаимосвязей между переменными (*variable-oriented approaches*). Иными словами, цель заключалась в «интеграции лучших качеств» [Ragin, 1987, p. 84] этих подходов. Исследовательский подход и техника, представленные в той книге, состояли из пяти главных компонентов.

Во-первых, подчеркивалась базирующаяся на кейсах природа сравнительного исследования – каждое наблюдение является комплексным целым, его единство как наблюдения подчеркивается и поддерживается в ходе анализа. Различные части каждого кейса

должны интерпретироваться только в отношении к другим частям и в терминах того целого, которое они образуют совместно. Основной идеей здесь было то, что части кейса конституируют не противоречивое целое и что эффекты переменных должны оцениваться в контексте кейса и не должны отделяться от него. Для того чтобы операционализировать эту идею, кейсы были представлены как комбинации переменных. Суть аналитического подхода здесь была в том, чтобы связать конфигурации каузально-релевантных условий с результатами.

Во-вторых, подход был сравнительным в том смысле, что он позволял исследователям изучать сходства и различия между различными кейсами путем сравнения конфигураций и объединения схожих кейсов вместе. Аналитическим инструментом, который позволил пойти по этому пути, стала таблица истинности, которая представляла данные в виде матрицы всех логически возможных комбинаций причинно-следственных условий. Помещая различные кейсы в одной строке таблицы истинности, исследователь может, таким образом, оценить, какие из наблюдений отображают идентичные комбинации каузальных условий, а какие отличаются в одном или нескольких из них.

В-третьих, в целях облегчения диалога между теорией и ее доказательствами был предложен основанный на множестве итераций способ разработки объяснительной модели. Ключевой механизм разработки объяснительной модели в КСА – существование противоречий [Ragin, 1987, р. 113–118; Rihoux, De Meur, 2009, р. 48–50]. Противоречия в КСА возникают тогда, когда одинаковые комбинации условий оказываются связанными как с наличием, так и с отсутствием результата. Они открываются в процессе перевода матрицы данных в таблицу истинности. Если последняя их содержит, то они должны быть каким-либо образом разрешены, чаще всего – путем идентификации пропущенных каузальных условий [Ragin, 1987, 113]; см. [Rihoux, De Meur, 2009, р. 48–49] для дополнительных стратегий. Разработка объяснительной модели в рамках КСА идет рука об руку с разрешением вопросов, связанных с противоречиями. Этот циклический процесс включения и исключения теоретически и эмпирически релевантных условий в модель и из нее до того момента, пока модель не будет свободна от противоречий (либо будет включать лишь очень небольшое их число), – ключе-

вой механизм разработки объяснительной модели для аналитических целей. Как позднее писал сам Рэйгин [Ragin, 2005, p. 34], «разрешение противоречий углубляет наше знание о наблюдениях и их понимание, а также может расширить и конкретизировать имеющиеся у нас теоретические представления»¹.

В-четвертых, как результат, КСА позволяет оценивать множественную конъюнктурную каузальность (*multiple conjunctural causation*), которая подразумевает, что: (1) чаще всего есть комбинация условий, наличие которых создает результат; (2) некоторые различные комбинации условий могут производить одинаковый результат; (3) конкретное условие может иметь различное влияние на результат в зависимости от контекста (т.е. в зависимости от каузальной «конъюнктурности») [см.: Berg-Schlosser et al., 2009, p. 8–10]. Эта черта КСА основана на идее, что различные каузальные пути могут приводить к одинаковым результатам. В рамках КСА, таким образом, разработано конкретно-контекстуальное понятие каузальности. Также в рамках КСА подразумевается, что причинно-следственное условие может иметь совершенно различные эффекты в зависимости от контекста, в котором оно действует. В результате, используя КСА, исследователь должен не «разрабатывать одну простую каузальную модель, которая будет лучше всего соответствовать данным (как обычно делается с использованием статистических методов), а определить чисто и характер различных каузальных моделей, которые существуют в рамках сравниваемых им наблюдений» [Ragin, 1987, p. 167]. Чтобы достичь этой цели, «Сравнительный метод» вводит в КСА анализ необходимых (*necessary*, без которых невозможно существование результата) и достаточных (*sufficient*, которые, в случае своего наличия, означают существование результата) условий [Ragin, 1987, p. 99–101].

В-пятых, КСА дает исследователю возможность определить степень, в которой он хочет уменьшить эмпирическое разнообразие кейсов, которые подпадают под анализ, с целью получить бо-

¹ В последующих инновациях, которые стали результатом введения в анализ нечетких множеств, идея разрешения противоречий как построение модели была заменена мерой согласованности, смысл которой поясняется дальше по тексту статьи (в разделе «Новейшие разработки в рамках КСА»). Противоречия частично связаны с согласованностью, и согласованность будет меньше, когда будет существовать много противоречий.

лее «скучое» (*parsimonious*) решение. Аналитической процедурой, посредством которой осуществляется уменьшение разнообразия, является булева алгебра. Она позволяет определять каузальные закономерности, являющиеся наиболее сжатыми, т.е. включающими в себя наименьшее число возможных условий из всего множества условий, которые включаются в анализ. Ключевой процедурой здесь является булева минимизация, т.е. сокращение полного описания подпадающих под анализ кейсов до наиболее короткого из возможных выражений (минимальной формулы), которое отображает все выявленные в данных причинно-следственные закономерности.

Можно сказать, что в «Сравнительном методе» была введена новая формальная логика сравнения кейсов, исследующая многообразие возможных каузальных моделей и при этом сокращавшая изобилие всей имеющейся информации о наблюдениях до более простых объяснений. Первая версия КСА была приспособлена для работы с дихотомическими (основанными на четких множествах, *crisp-sets*) переменными и использовала программные пакеты (QCA для DOS, разработанный Рэйгином и Драссом) для анализа данных.

Первые приложения в социальных науках

После публикации «Сравнительного метода» многие ученые включили новый метод в свои исследования, в особенности в отдельных областях политической социологии – таких, как изучение индустриальной демократии, государства всеобщего благосостояния, революций, социальных движений и профсоюзов. Таблица показывает число работ с использованием КСА за каждый год первого десятилетия после публикации «Сравнительного метода».

Из таблицы видно, что раннее применение метода развивалось поэтапно. Только сравнительно небольшая часть работ в первые 10 лет была опубликована в рецензируемых журналах (всего 39). Многие из этих работ, однако, публиковались в лидирующих академических журналах – таких, как «Американский социологический журнал» [Amenta et al., 1992; Brown, Boswell, 1995], «Американское социологическое обозрение» [Hicks et al., 1995; Cress, Snow, 1996], «Социологические методы и исследования» [Amenta, Poulsen, 1994; Coverdill et al., 1994; Hicks, 1994], «Социальные си-

лы» [Amenta, Poulsen, 1996; Hollingsworth et al., 1996], «Экономическая и индустриальная демократия» [Abell, 1990], «Международный журнал по сравнительной социологии» [Griffin et al., 1991; Wickham-Crowley, 1991], «Ежеквартальный обзор Третьего мира» [Berntzen, 1993; Foran, 1997], «Закон и политика» [Weinberg, Gould, 1993; Gregware, 1994], «Сравнительная политика» [Berg-Schlosser, 1994], «Ежеквартальные международные исследования» [Kiser et al., 1995], «Исследования сравнительного международного развития» [Blake, 1996], «Журнал европейской социальной политики» [Peillon, 1996], «Работа и профессии» [Brueggemann and Boswell, 1998], «Журнал политических исследований» [Kiser, Baker, 1994], «Ежеквартальная социология» [Biggert, 1997] и «Исторические методы» [Griffin et al., 1997].

Из этого обзора видно, что, несмотря на тот факт, что наиболее ранних применений метода было относительно мало, многие из них имели весьма значительное влияние в академическом мире, поскольку результаты этих исследований были опубликованы в ведущих социологических журналах. Некоторые авторы (такие, как Эдвин Амента и Дирк Берг-Шлоссер) были в этом отношении особенно влиятельными. В конце концов увеличивавшееся число публикаций, основанных на КСА, привело к диффузии этого исследовательского подхода и дискуссии по его сильным и слабым сторонам, которая выразилась в публикации нескольких статей, фокусировавшихся исключительно на достоинствах и недостатках самого КСА.

Сравнительный метод в методологических дебатах

Вслед за публикацией «Сравнительного метода» и первыми опытами использования КСА развернулась академическая дискуссия о возможностях и ограничениях этого метода [Lieberson, 1991, 1994; Bollen et al., 1993; Savolainen, 1994; Goldthorpe, 1997; Scharpf, 1997; для детального обзора см.: Rihoux, 2003; De Meur et al., 2009]. Ранние дискуссии концентрировались в области пяти различных вопросов.

Таблица
Статьи с использованием QCA по годам (1984–1997)^a

Год	Дважды рецензируемые журнальные статьи	Другие журнальные статьи	Книги	Главы книг	Другое ^b	Всего
1984	1	0	0	0	0	1
1985	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	2	0	0	2
1987	1	0	0	0	0	1
1988	0	0	0	0	0	0
1989	1	0	0	0	0	1
1990	2	0	0	0	0	2
1991	4	0	2	6	1	13
1992	3	0	1	0	2	6
1993	3	0	2	2	1	8
1994	5	0	1	4	0	10
1995	5	1	0	1	2	9
1996	9	0	0	0	3	12
1997	5	1	2	1	3	12
Всего	39	2	10	14	12	77

^a По базе данных COMPASSS.

^b Другое, включая препринты и отчеты.

Первым из них стала чувствительность метода к отбору кейсов. Оппоненты доказывали, что КСА очень чувствителен к индивидуальным наблюдениям, и включение или исключение одного кейса способно изменить результаты всего анализа [Goldthorpe, 1997]. Сторонники метода, напротив, возражали, что в КСА каждый из кейсов действительно обладает большим значением, поскольку добавлением одного нового наблюдения мы можем фактически открыть новый объяснительный (каузальный) путь – что, собственно, считается одной из уникальных и сильных сторон КСА. Дополнительный каузальный путь может не иметь очень большой объяснительной силы (или «охвата», coverage, в более новых версиях метода), но он тем не менее может быть теоретически значимым [Marx et al., forthcoming].

Вторым вопросом, затронутым в методологических дебатах, было использование дихотомических переменных, что считалось

некоторыми достаточно грубой мерой измерения для большинства понятий в социальных науках [Goldthorpe, 1997]. Хотя в целом большинство исследователей признавали ограничения дихотомических переменных, многие также подчеркивали, что главным преимуществом работы с четкими множествами было, скорее, изящество простоты такого подхода. Кроме того, в дискуссиях по операционализации понятий, в особенности в сравнительной политике и макрополитической социологии, довольно давно существует мнение, что не следует преследовать цель операционализировать переменные в парадигме градуализма любой ценой [Sartori, 1970, 1984]; в зависимости от цели исследования ученый может работать и с дихотомическими переменными – и добиваться существенной объясняющей силы (Collier, Adcock, 1999). Кроме того, многие тяготеющие к использованию статистических методов исследователи используют дихотомические переменные в своем анализе – для целей работы с ними были разработаны несколько специальных методов.

Предметом третьего методологического спора были ограничения на число условий, которые может учесть КСА, – что в какой-то мере может иметь потенциальное влияние на смещение, связанное с наличием пропущенной переменной (*omitted-variable bias*), т.е. что применяемая объяснительная модель не будет учитывать важное условие [King et al., 1994, 168 ff.]. Согласно некоторым критикам метода, выбор релевантных условий в КСА более затруднен, нежели в других типах анализа, поскольку исследователь ограничен лишь небольшим их числом. Это является результатом процедур булевой алгебры. Если у нас есть пять условий, есть 32 возможные комбинации в таблице истинности. Увеличение числа условий до восьми создает 512 возможных конфигураций, а рост числа объяснительных условий до 12 создает 8192 возможные комбинации. Это ведет к ситуации, в которой невозможно никакого аналитического упрощения, и каждый кейс будет обладать уникальным объяснением – что будет сводить исследовательскую работу просто к описанию [Aarebrot, Bakka, 1997; Scharpf, 1997]. Положения этой критики корректны, но они не относятся только к КСА, поскольку другие подходы, целью которых является анализ моделей, имеют такие же ограничения на число переменных. Так-

же с теоретической точки зрения весьма непросто работать с моделями, включающими в себя много эффектов взаимодействия.

Четвертым вопросом, затронутым в методологических дискуссиях, была статическая природа КСА как подхода и невозможность включения времени или последовательности переменных в анализ [Boswell, Brown, 1999, р. 181]. Критики фокусировались на двух вопросах. Во-первых, КСА критиковался за отсутствие учета факторов времени в анализе. Предполагалось, что все условия измерены в один момент времени – как и обычные наблюдения в традиционном кросс-секционном исследовании. Эта критика возникла в рамках основного академического фона того времени, который показывал растущий интерес к анализу временных рядов и возможностям, которые они предоставляли для исследований по макросоциологии и сравнительной политике [критический обзор см. в: Kittel, 2006]. Многие исследователи считали эту критику несправедливой, поскольку она не разделяла понятия кейсов и наблюдений, а измерение условий в КСА точно так же могло быть основано на временных рядах (т.е. на множестве наблюдений одного и того же объекта в разные периоды времени). Условия должны были операционализовываться таким образом, какой делал бы их динамическими, – т.е. временное измерение могло быть введено в условия сами по себе [Rihoux, 2001]. Вторым объектом критики были трудности при включении последовательности (определенного порядка) условий в анализ. В объяснении долгосрочных изменений, как в случае многих исследований по политической социологии, сроки, в которые переменные принимали то или иное значение, могут определять результат (см. также: Pierson, 2003), и важно иметь процедуру, которая сделает возможным учет последовательности, в которой наступают каузальные условия. Этот вопрос затрагивается и частично решается разрабатывающимися методами в рамках КСА, которые позволяют учитывать последовательность наступления условий [см.: Caren, Panofsky, 2005; Ragin, Strand, 2005; Schneider, Wagemann, 2012, 263 ff.].

Наконец, пятый вопрос методологических дискуссий касается представления о том, что кейсы независимы друг от друга. Они сравниваются при предположении, что взаимного влияния ими не оказывается. Это предположение, несомненно, присутствует во всех исследовательских подходах, ориентированных на изучение

взаимосвязей между переменными, и, таким образом, не уникально для КСА. Релевантность этой критики в очень большой мере зависит от исследовательского вопроса и предмета, который исследуется. В диффузионных исследованиях взаимодействие между собой кейсов можно считать релевантным, однако в других случаях релевантность этого предположения серьезно снижается. Если все же взаимодействие между собой кейсов предполагается теоретически, есть несколько возможных способов решения этого вопроса для исследователя. Во-первых, работая с КСА, ученые могут включать в модель условия, которые подразумевают под собой взаимосвязанность. Кроме того, дальнейшее углубленное изучение кейсов (трассировка, «process tracing», см. ниже) может и само по себе пролить свет на взаимодействие между ними. В-третьих, другие доступные методологические средства, специально разработанные для изучения взаимосвязанности объектов (как, например, анализ социальных сетей), могут дополнять КСА.

От четких множеств к нечетким

С учетом этой критики в КСА были введены некоторые инновации.

В отношении измерения переменных возникло два новых подхода. Во-первых, вскоре после публикации «Сравнительного метода» Чарльз Рэйгин начал работу над введением в процедуру анализа нечетких множеств как дополнения к четким. Эта линия исследований привела позже к публикации «Социальной науки нечетких множеств» («Fuzzy-Set Social Science»). Фактически социальная наука нечетких множеств была ответом на многие дискуссии, сфокусированные на использовании множеств четких. Подход, основанный на использовании нечетких множеств, был естественным расширением подхода, основанного на использовании четких. «Социальная наука нечетких множеств» [Ragin, 2000] была в основном посвящена введению понятия нечетких множеств для исследований в социальных науках и разработке их потенциала для анализа необходимых и достаточных условий, который в этот период завоевывал все большее признание в научных исследованиях в сфере социальных наук [Goertz, Starr, 2003; Goertz,

2006 b]. Все это вело к разработке нового программного обеспечения, получившего название fsQCA¹. Во-вторых, в Марбурге исследовательская группа под руководством Дирка Берг-Шлоссера работала над вопросом включения более изысканных методов измерения (многозначных множеств) в КСА, что в дальнейшем привело к разработке Лассе Кронквистом нового программного обеспечения – TOSMANA [Cronqvist, Berg-Schlosser, 2009].

Вторая область дальнейшего развития использования КСА концентрировалась на выделении условий и спецификации моделей. Амента и Паульсен [Amenta, Poulsen, 1994] выделили несколько стратегий для выбора условий в КСА и обсудили сильные и слабые стороны каждой из них [см.: Yamasaki, Rihoux, 2009, р. 125–130]. Кроме того, они предложили комбинаторные стратегии, особенно подходящие для КСА. Другим подходом стала разработка макроусловий, которые комбинируют в себе различные индикаторы на уровне высоких концептуальных конструктов.

Третья область дальнейших разработок связана с вопросом последовательности условий. В этом ряду стоит работа Шнайдера и Вагеманна [Schneider, Wagemann, 2006], в центре внимания которой – разработка двухшагового протокола КСА, базирующегося на различии между «близкими» (proximate) и «отдаленными» (remote) условиями. Этот подход применялся в исследованиях, которые стремились объяснить процессы консолидации демократии, и позже в исследованиях по другим вопросам [к примеру, Maggetti, 2009; Sager, Andergassen, 2011]. Карен и Панофски [Caren, Panofsky, 2005] также работали над включением последовательности условий в анализ и разработали технику, названную временным (temporal) КСА (TQCA; [см. также: Ragin, Strand, 2005] для ознакомления с дальнейшим развитием этого подхода).

Эта линия разработок, проводившаяся несколькими исследователями на рубеже тысячелетий, не только дала КСА некоторые инновации, но также принесла ему широкое признание и растущее число исследований с его использованием. На рис. 1 показано как кумулятивное развитие всех статей, в которых применяется КСА, так и таких статей, касающихся только политической науки.

¹ Доступно на <http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml>

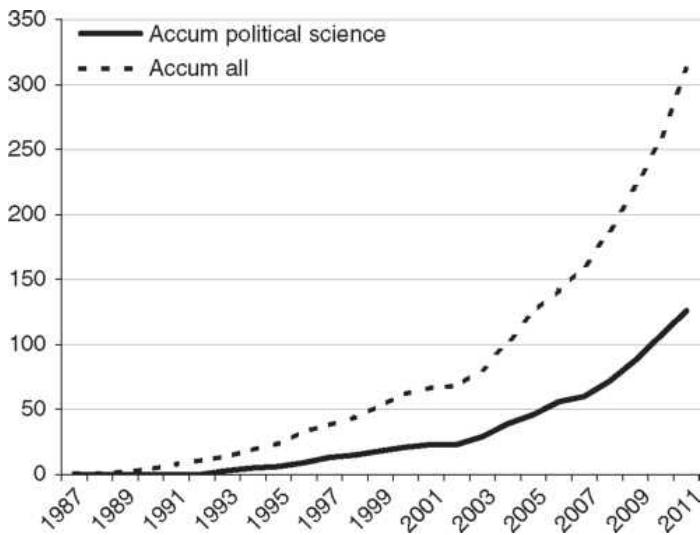


Рис. 1

Эволюция числа статей с использованием КСА в целом и только в политологии. На основе данных базы COMPASSS

КСА в политических исследованиях

График показывает сильный рост числа политологических публикаций с использованием КСА с 2003 г. Этот рост возможно объяснить двумя причинами. Во-первых, с 2000 г. наблюдается растущий политологический интерес к исследованиям, основанным на сравнениях кейсов, выразившийся в публикации большого количества влиятельных статей. Во-вторых, в Европе группа ученых, использующих КСА, создала исследовательскую сеть COMPASSS, которая позволила взаимодействовать лучшим курсам и практикам, организовывать панели на конференциях, разрабатывать курсы для летней школы Европейского консорциума политических исследований (European consortium for political research, ECPR). Вследствие активного развития и экспансии этого исследовательского сообщества все большее число исследователей начинают ис-

пользовать КСА в своих диссертациях на степень PhD и в дальнейшем в журнальных публикациях.

В приложении к статье приведен список всех англоязычных статей, использующих КСА (в рецензируемых научных журналах) за период 2003–2011 гг. Кроме автора, краткого названия статьи и названия журнала, в таблице представлены сведения по типу КСА, который используется в статье (четкие множества, нечеткие множества, и / или многозначные), а также числу кейсов и условий, используемых в анализе. Таблица проливает свет на несколько интересных тенденций, связанных с диверсификацией статей, использующих КСА.

Во-первых, КСА сейчас применяется в политологических исследованиях самой широкой тематики, включая изучение демократии, партий, государства всеобщего благосостояния, государственного управления и политического анализа (*policy analysis*) [Rihoux et al., 2011], проблем управления (*governance*), регулирования и политической социологии. Во-вторых, число журналов, в которых публикуются статьи, основанные на использовании КСА, также растет. В то время как в первые десять лет существования метода он в большей степени концентрировался в социологических журналах, сейчас мы можем наблюдать движение к большему разнообразию. В базе данных сети COMPASSS содержится больше 200 рецензируемых журналов, в которых на сегодняшний день публикуются статьи с использованием УСА. В-третьих, и наиболее удивительно, несмотря на давнюю критику практики использования дихотомических переменных и появление КСАнм (нечетких множеств, fuzzy-set QCA, fsQCA) и КСАмз (многозначных, multi-value QCA, mvQCA), КСАчм (четких множеств, crisp set QCA, csQCA) остается наиболее часто используемой разновидностью метода. Из 94 статей, приведенных в таблице в приложении, 52 используют КСАчм, некоторые используют разные подходы и только пять используют КСАмз. КСАчм, таким образом, остается релевантным и самодостаточным аналитическим инструментом [см.: Grofman, Schneider, 2009]. В-четвертых, если обратить внимание на количество наблюдений, то данные в приложении показывают, что КСА остается инструментом для исследования выборок малого и среднего размера. С несколькими исключениями в обоих направлениях в большинстве статей (76 из числа тех, назва-

ния которых приведены в приложении) используется от 10 до 90 наблюдений. Число условий изменяется от двух до десяти, при этом в большинстве работ используется четыре или пять, что позволяет исследователям проверять гипотезы, включающие в себя сложные комбинации этих условий.

Список статей в приложении не позволяет делать каких-либо выводов о качественных различиях между разными вариантами использования КСА. Дискуссия об этом выходит за рамки данной статьи.

Следует, однако, отметить, что более глубокий анализ покажет, что различные ученые используют КСА по-разному и с разным исследовательским дизайном. В зависимости от того критерия, который мы применим для оценки статьи (использование теоретико-множественных комбинаторных аргументов, учет критериев спецификации модели, применение тестов на ее устойчивость, возвращение к кейсам после самого КСА и др.), некоторые работы будут оценены высоким баллом, некоторые – меньше. Эмменеггер с коллегами [Emmenegger et al., 2013 forthcoming] недавно опубликовал обзор 19 статей, в которых КСА используется для сравнительного анализа государства всеобщего благосостояния. Они оценивали эти 19 статей по целому комплексу критериев «хорошего КСА» и обнаружили, что только в половине из рассмотренных исследований были сформулированы комплексные гипотезы в теоретико-множественных терминах. Несмотря на кейсоориентированную структуру КСА и его приложений, только несколько исследователей вернулись к конкретным наблюдениям после формального анализа. Наконец, в очень малом количестве исследований была проведена проверка на устойчивость моделей и результатов. Впрочем, последнее не так удивительно, учитывая, что технологии большинства тестов на устойчивость моделей в КСА были разработаны только в самое последнее время. Но в любом случае это не отменяет главного вывода ученых – улучшения в перечисленных вопросах необходимы для того, чтобы повысить качество исследований, использующих КСА.

Новейшие разработки в рамках КСА

Кроме значительно возросшего числа исследований с использованием метода, также в последние годы наблюдалось повы-

шенное внимание к методологическому развитию КСА на нескольких фронтах – все из которых и сейчас активно развиваются.

Во-первых, Чарльз Рэйгин добавил к КСА несколько новых особенностей в своей книге 2008 г. «Переосмысливая социальные исследования: нечеткие множества и пространство за их пределами» [«Redesigning social.., 2008]. Две ключевые инновации заключались в разработке новых способов измерения и интерпретации результатов применения КСА – а именно мер согласованности (consistency) и охвата (coverage) [Ragin, 2006; по альтернативным подходам см.: Goertz, 2006 a, p. 95–128; Eliason, Stryker, 2009; Schneider Wagemann, 2012, p. 220–250]. Эти новые меры были разработаны в первую очередь для оценки достаточных (sufficient) комбинаций условий, идентифицированных с помощью анализа таблицы истинности. В этом контексте мера согласованности оценивает степень, в которой комбинация условий является подмножеством интересующего нас результата. Мера охвата, напротив, оценивает эмпирическую значимость согласованной комбинации условий путем вычисления доли наблюдений с интересующим нас результатом (в случае четких множеств) или доли суммы членств во множестве результата (в случае нечетких множеств), которую охватывает данная комбинация. Эти меры позволяют исследователям оценивать степень, в которой модель объясняет результат, а также удельный вес каждой каузальной комбинации. Аналогичные меры существуют и для оценки необходимых (necessary) условий. В этом контексте согласованность необходимого условия отражает степень, в которой условие есть надмножество результата; охват же (или эмпирическая релевантность) необходимого условия есть степень, в которой результат охватывает все необходимое условие, в предположении, что результат есть согласованное подмножество. Если множество необходимого условия само по себе гораздо больше, чем множество интересующего нас результата, оно, скорее всего, будет повсеместным и тем самым тривиальным необходимым условием (к примеру, воздух действительно является необходимым условием социальной революции).

Во-вторых, Маркс [Marx, 2010; Marx, Dusa, 2011] в своих исследованиях сфокусировался на предположении, являющемся базовым для КСАчм, о том, что противоречия (contradictions) будут существовать тогда, когда объяснительная модель не работает. Бы-

ла выдвинута гипотеза о том, что противоречия будут существовать всегда, когда КСАчм будет применяться к анализу случайных данных. Это предположение тестировалось на базе компьютерной симуляции, в которой случайные выборки данных подвергались анализу с помощью КСАчм. Маркс обнаружил, что противоречия не являются естественно существующими. В некоторых примерах КСАчм не показывал противоречий в случайных данных. Существование противоречий – скорее функция дизайна объяснительной модели в контексте числа используемых в анализе наблюдений и условий. Эта находка позволила продвинуться в понимании того, как следует специфицировать модели в КСАчм и сколько условий следует включать в анализ [Berg-Schlosser, De Meur, 2009].

В-третьих, некоторые авторы начали разрабатывать меры и процедуры для оценки той степени, в которой результаты КСА соответствуют эмпирическим данным. Элиасон и Стрикер [Eliason, Stryker, 2009] разрабатывали тесты на соответствие модели реальным данным (*goodness-of-fit tests*) для анализа нечетких множеств, чтобы оценить с формальной точки зрения степень соответствия между эмпирической информацией и различными каузальными гипотезами, с учетом возможных ошибок измерения (*measurement error*) в показателях членства наблюдений внутри множеств. Также ими в целях дополнения этих тестов были разработаны их описательные интерпретации. Скаанинг [Scaaning, 2011] исследовал чувствительность результатов КСА к различным вариантам калибровки первичных данных в показатели членства во множествах (как в четких, так и в нечетких), частоте кейсов, связанных с конфигурациями, и выбору барьерных значений согласованности (*consistency thresholds*). Для того чтобы оценить чувствительность результатов КСА с учетом всех трех вышеупомянутых элементов, он разработал тесты на устойчивость модели (*robustness tests*), использующие автоматические процедуры. В своей книге «Теоретико-множественные методы для социальных наук» Шнейдер и Вагеманн [Schneider, Wagemann, 2012, р. 284] дополнительно рассматривают вопрос о том, как добиться устойчивости модели и оценить эффекты изменения метода калибровки, уровней согласованности и добавления удаленных ранее наблюдений.

В-четвертых, были предприняты некоторые попытки в большей степени принять во внимание время и последователь-

ность, с одной стороны, и процесс – с другой, при использовании КСА. В случае времени и последовательности условий проблема заключалась в том, что КСА как техника (компьютерная его часть) не была изначально задумана для прямого учета последовательностей. Одним из возможных ответов на это стало разработанное Кареном и Панофски [Caren, Panofsky, 2005] прямое включение последовательностей в КСА, с изменением аббревиатуры метода с КСА на ВКСА (TQCA) [Ragin, Strand, 2008]. Некоторые другие, более косвенные стратегии включали в себя сочетание КСА со структурно-событийным анализом (Event Structure Analysis) [Stevenson, Greenberg, 2000; Duckles et al., 2005] с более мягкими формами анализа последовательностей [Bleijenbergh, Roggeband, 2007], с инкорпорацией в КСА временных рядов [Hino, 2009], с оптимальным согласованием (Optimal Matching) [Watanabe, 2004; Krook, 2006] или с динамической теорией игр [Brown and Boswell, 1995]. В случае процесса – т.е. фокуса на причинно-следственных механизмах и цепях – разрабатывались различные варианты комбинирования КСА с «трассировкой» (Process Tracing) – в особенности, для того, чтобы лучше идентифицировать критические моменты (critical junctures) [Emmenegger, 2010] или чтобы использовать результаты КСА для идентификации «типичных» (typical) и «отклоняющихся» (deviant) наблюдений, которые впоследствии могут быть подвергнуты более детальному анализу в рамках «трассировки» [см., например: Schneider, Rohlfing, 2013; Beach, Pedersen, 2012]. Были разработаны и некоторые другие «мягкие» стратегии, в особенности, во взаимодействии между КСА и глубокими (thick) case-studies [Rihoux, Lobe, 2009].

В-пятых, даже если большинство всех исследований с использованием КСА являются «монометодными» в формате журнальных статей [Rihoux et al., 2013], есть значительное число работ, фокусирующихся на том, как лучше всего комбинировать, чередовать и «смешивать» КСА с другими методами, как качественными, так и количественными. На количественном «фронте» существует значительное разнообразие приложений КСА, в той или иной форме взаимодействующих с количественным или статистическим анализом [см. обзор в: Rihoux et al., 2009, р. 170–172].

В-шестых, в области книг, учебных текстов по КСА и программного обеспечения для него было запущено несколько новых

инициатив, которые развиваются и сейчас. Рихокс и Рэйгин [Rihoux, Ragin, 2009] опубликовали в 2009 г. вводный учебник по КСА и связанными с ним подходами. Позже, в 2012 г., Шнайдер и Вагеманн [Schneider, Wagemann, 2012] опубликовали более углубленный учебник по теоретико-множественным подходам и КСА, в котором систематически обсудили все компоненты, связанные с КСА как с подходом и как с техникой. В написание текстов по базовым элементам КСА и обучению ему были также вовлечены и некоторые другие ученые [Fiss, 2007, 2011; Grofman, Schneider, 2009; Marx et al., forthcoming]. В сфере программного обеспечения ныне есть два главных пакета для работы с КСА, доступных абсолютно свободно: fsQCA и TOSMANA. Кроме того, пакеты для КСА есть в R [Dusa, 2007, 2010; Thiem, Dusa, 2012] и STATA [Longest, Vaisey, 2008]. Комбинации с другими методологическими инструментами, такими, как анализ социальных сетей, также породили новые средства программного обеспечения (APES), с которыми может комбинироваться использование КСА [Serdult, Hirshi, 2004]. Можно непрерывно следить за новейшими разработками в сфере КСА благодаря COMPASSS (см. также примечание 1), глобальной исследовательской сети заинтересованных в разработке и развитии кросс-кейсовых сравнительных методов ученых. У COMPASSS есть богатый материалами интернет-сайт, содержащий, в том числе, полные библиографические ссылки, обзоры мероприятий (краткосрочные курсы, летние школы, в том числе летняя и зимняя школа ECPR) и конференций. COMPASSS также содержит на своем интернет-сайте специальные рецензируемые серии статей, посвященных КСА, и, кроме того, регулярно выпускает информационный бюллетень.

Обсуждение

В течение многих лет методологические дебаты в социальных науках во многом определялись различием между качественными и количественными методами исследования. Эта линия дискуссии остается актуальной и сегодня – ныне исследователю доступно очень большое количество как количественных, так и качественных исследовательских техник. В течение долгого време-

ни это разделение было автоматически связано с различием между исследовательскими подходами, ориентированными на изучение взаимосвязи между, соответственно, наблюдениями и переменными. Будучи в целом удобной, идентификация ориентированного на наблюдения подхода со специфическими методами сбора данных не очень удачна, поскольку она скрывает базовые различия между двумя подходами. Еще более фундаментален, нежели различия в методах сбора данных, контраст между целями [Ragin, 1987, 2000; Gerring, 2005, 2012; Rihoux, 2008; Rihoux, Ragin, 2009]. Ориентированные на наблюдения исследовательские стратегии отличаются тем, что они концентрируются на анализе сравнительно небольшого числа кейсов, выбранных для исследования по причине фактической или теоретической значимости [Eckstein, 1975]. В отличие от этого, исследовательские стратегии, ориентированные на переменные, концентрируются на поиске взаимосвязей между аспектами очень большого числа кейсов-наблюдений, чаще всего с целью выведения общих паттернов, которые будут верны для популяции в целом [Ragin, 1997; Mahoney, Goertz, 2006].

Признание важности этих различий стало причиной растущего внимания к кейсоцентрированным (*case-centred*) исследованиям. С конца 1990-х годов растет число ученых, использующих метод множественных *case-studies* как исследовательскую стратегию. Этот выбор основывается на необходимости глубже понять различные кейсы и оценить их комплексность, в то же время не оставляя надежды произвести некоторый уровень генерализации. Это также сочетается с возобновившимся интересом к ориентированным на наблюдения подходам [Mahoney, Rueschemeyer, 2003; Gerring, 2004, 2007; George, Bennett, 2005; Byrne, Ragin, 2009; Blatter, Haverland, 2012; Schneider, Rohlfing, 2013] и, кроме того, с попытками наладить новый продуктивный диалог между «количественными» и «качественными» эмпирическими традициями и разработать методологически смешанные варианты исследовательского дизайна [Brady, Collier, 2004; Nahmias-Wolinsky, Sprinz, 2004; Moses et al., 2005]. «Сравнительный метод» и связанные с ним публикации по КСА играли и продолжают играть весьма значительную роль в этих дискуссиях, предоставляя исследователям множество инструментов для систематического сравнения существенного числа наблюдений. Концепция анализа кейсов с помощью

конфигураций переменных позволила КСА как исследовательскому подходу добиться существенной популярности и занять почетное место в методологическом арсенале исследователей в социальных науках, поскольку он идеально вписывается в рамки методно-смешанного (mixed methods) исследовательского дизайна [см. обзор комбинаций с другими подходами в: Rihoux et al., 2013]. Особенно следует отметить то, что фокус КСА на кейсах позволяет ему дополнять существующие методологические разработки в сфере их анализа (такие, как «трассировка» (process tracing) и идентификация каузальных процессных наблюдений), которые довольно часто вынуждены работать в контексте существования нескольких взаимодействующих объяснительных условий [Rihoux, Lobe, 2009; Schneider, Rohlfing, 2013; Rohlfing, Schneider, 2013].

КСА значительно помогает в идентификации кейсов, которые могут быть в дальнейшем подвергнуты более глубокому анализу с целью более четкого выявления каузальных процессов. Это, конечно, означает не то, что необходимо возвращаться ко всем кейсам в анализе, а то, что мы можем выбрать небольшое число кейсов, соответствующих релевантным конфигурациям. Если рассматривать другую исследовательскую стратегию, статистически ориентированную и основанную на сравнении переменных, то в ее рамках некоторые ученые пытаются разработать методы, используя которые, КСА может дополнять статистический анализ [Vis, 2012] или даже заменять его в некоторых аналитических типах задач [Grofman, Schneider, 2009]. Грофман и Шнайдер [Grofman, Schneider, 2009], фокусируясь на дихотомической форме КСА (КСАчм), переосмысливают базовую теоретико-множественную методологию КСА, включая таблицы истинности, формулы решений, меры охвата и согласованности, и обсуждают то, каким образом КСА: отражает отношения между переменными; подчеркивает описательные или комплексные каузальные особенности специфических кейсов и их групп; отражает степень соответствия модели эмпирическим данным. Чтобы помочь читателям определить, в каких случаях комбинаторные подходы КСА удачно использовать на практике, они сравнивают КСА с популярными статистическими методами, такими как бинарная логистическая регрессия, применяя их на базе одинаковых данных. Вис [Vis, 2012] пишет о сравнительных преимуществах и недостатках

КСАм и регрессионного анализа для исследований с умеренно крупным числом наблюдений на примере анализа государственной политики на рынке труда.

Пер. Д.Б. Ефимов

Заключение

В течение первой четверти века после своего появления КСА сумел утвердить себя в роли исследовательского подхода и серии технических инструментов для систематического сравнения кейсов, понимаемых как конфигурации различных условий, с целью упрощения их изначальной каузальной сложности. Все больше исследователей из различных субдисциплин политической науки используют КСА для своих работ, подчеркивая его значимость как средства раскрытия множественных конъюнктурных причинно-следственных связей.

Что можно сказать о следующей четверти столетия? Можно быть уверенными, что КСА останется предметом интенсивных методологических дебатов [например:, Lieberson, 2004; Ragin, Rihoux, 2004 а; Seawright, 2004, 2005; Ragin, 2005]. Мы, однако, также верим в то, что данный метод очень быстро станет одним из методологических инструментов в арсенале большинства исследователей и что он будет применяться в очень большом числе исследовательских проектов [Poteete et al., 2010]. В этом смысле подход будет консолидироваться. КСА разрабатывался и продолжает разрабатываться в течение многих лет, применялся во многих исследовательских проектах, результатом которых стала публикация выдающихся статей. Некоторые из них были опубликованы в ведущих академических изданиях; и в целом число журналов, размещающих у себя статьи с использованием КСА, росло очень быстрыми темпами. По последним данным, статьи с КСА были опубликованы в более чем 220 международных рецензируемых журналах. Еще более важно то, что сообщество исследователей, активно вовлеченных в разработку и применение КСА и теоретико-множественных методов, также растет очень быстро, что выражается во все более широком распространении метода, его приложе-

ний и критических отзывов по нему, не только внутри политологии, но также и в сфере других социальных наук.

Консолидация и экспансия привели к множеству совершенно различных инноваций, связанных с КСА как с подходом, – от разработки стратегий работы с ошибками измерения и применения малоиспользуемых функций (таких, как логические остатки, logical remainders) до комбинирования КСА в рамках методно-смешанного исследовательского дизайна, основанного на сравнении между собой как переменных, так и наблюдений [Rihoux, Marx, 2013]. Эти разработки, однако, также связаны и с определенными проблемами. Растущее число различных практик использования КСА, новых функций в нем (например, тестов на спецификацию модели) и технических инструментов (включая программное обеспечение) может вести к некоторым расхождениям в практике. Это расхождение также может увеличиваться вследствие расширения использования КСА в различных дисциплинах. Уже сейчас мы можем наблюдать, как, к примеру, в исследованиях организаций и менеджмента используются различные аннотации и протоколы, которых объединяет использование КСА как метода [Fiss et al., 2013]. Конвергенция практик использования КСА потребует консолидированных общих усилий по обмену опытом, разработке общих стандартов и работе на стыке дисциплин.

Благодарности

Авторы благодарят Присциллу Аламос-Конча за ее помощь в подборе библиографических источников, Доминика де Брабантера за помощь в проведении исследований и двух рецензентов журнала «Европейское политологическое обозрение» за блестящие комментарии.

Приложение

A	B	C
1	2	3
год 2003 mun: КСАНМ		
Gran, B. >> Charitable choice policy and abused children // <i>International Journal of Sociology and Social Policy</i>	74	4
Mahoney, J. >> Long-run development and the legacy of colonialism in Spanish America // <i>American Journal of Sociology</i>	15	5
Pennings, P. >> Beyond dichotomous explanations: explaining constitutional control of the executive with fuzzy-sets // <i>European Journal of Political Research</i>	45	4
год 2003 mun: КСАЧМ		
Chan, S. >> Explaining war termination // <i>Journal of Peace Research</i>	23	4
год 2004 mun: КСАНМ		
Koenig-Archibugi, M. >> Explaining government preferences for institutional change in EU foreign and security policy // <i>International Organizations</i>	13	4
год 2004 mun: КСАЧМ		
Anckar, D. >> Direct democracy in microstates and small island states // <i>World Development</i>	42	4
Huang, T. >> State preferences and international institutions // <i>Journal of East Asian Studies</i>	446	6
Kilburn, H.W. >> Explaining U.S. urban regimes // <i>Urban Affairs Review</i>	14	5
Navarro Yanez, C.J. >> Participatory democracy and political opportunism // <i>International Journal of Urban and Regional Research</i>	65	5
Sager, F. >> Metropolitan institutions and policy coordination // <i>Governance</i>	9	4
год 2005 mun: КСАНМ		
Amenta, E. >> Age for leisure? Political mediation and the impact of the pension movement on US old-age policy // <i>American Sociological Review</i>	21	6
Hagan, J. >> From resistance to activism: the emergence and persistence of activism among American Vietnam war resisters in Canada // <i>Social Movements Studies</i>	73	5
Pennings, P. >> The diversity and causality of welfare state reforms explored with fuzzy-sets // <i>Quality & Quantity</i>	21	4
Perez-Limn, A. >> Democratization and constitutional crises in presidential regimes // <i>Comparative Political Studies</i>	27	3
Raunio, T. >> Holding governments accountable in European affairs // <i>Journal of Legislative Studies</i>	15	5
Veugelers, J. >> Conditions of far-right strength in contemporary Western Europe // <i>European Journal of Political Research</i>	10	5

Продолжение таблицы

1	2	3
год 2005 mun: КСАЧМ		
Ford, E.W. >> Health departments' implementation of public health's core functions // <i>Public Health</i>	41	5
год 2006 mun: КСАЧМ		
Balthasar, A. >> The effects of the institutional design on the utilization of evaluation // <i>The International Journal of Theory, Research and Practice</i>	10	4
Blake, C.H. >> Reconsidering the effectiveness of international economic sanctions: an examination of selection bias // <i>International Politics</i>	111	5
Dumont, P. >> Why so few and why so late? Green parties and the question of governmental participation // <i>European Journal of Political Research</i>	51	8
Fischer, J. >> The push and pull of ministerial resignations in Germany // <i>West European Politics</i>	111	9
Ishida, A. >> Determinants of linguistic human rights movements // <i>Social Forces</i>	159	5
Rihoux, B. >> Governmental participation and the organizational adaptation of Green parties // <i>European Journal for Political Research</i>	28	7
Sager, F. >> Policy coordination in the European metropolis: a meta-analysis // <i>West European Politics</i>	17	4
Schimmelfennig, F. >> Conditions for EU constitutionalization // <i>Journal of European Public Policy</i>	66	4
Varone, F. >> Regulating biomedicine in Europe and North America. // <i>European Journal of Political Research</i>	11	5
год 2006 mun: КСАНМ + КСАЧМ		
Schneider >> Reducing complexity in Qualitative Comparative Analysis // <i>European Journal of Political Research</i>	32	6
год 2007 mun: КСАНМ		
Hage, F.M. >> Constructivism, fuzzy sets and (Very) small-N // <i>Journal of Business Research</i>	3	6
Kvist, J. >> Fuzzy set ideal type analysis // <i>Journal of Business Research</i>	7	3
Maggetti, M. >> De Facto independence after delegation // <i>Regulation & Governance</i>	16	7
год 2007 mun: КСАЧМ		
Befani, B. >> Realistic evaluation and QCA // <i>Evaluation</i>	15	5
Grendstad, G. >> Causal complexity and party preference // <i>European Journal of Political Research</i>	36	4
Rudel, T.K. >> Meta-analyses of case studies // <i>Global Environmental Change</i>	8	4
Stokke, O.S. >> Qualitative Comparative Analysis, shaming, and international regime effectiveness // <i>Journal of Business Research</i>	10	5

Продолжение таблицы

	1	2	3
год 2007 mun: КСАЧМ + КСАНМ			
Skaaning, S-E. >> Explaining post-communist respect for civil liberty // <i>Journal of Business Research</i>	28	6	
год 2008 mun: КСАМЗ			
Berg-Schlosser, D. >> Determinants of democratic successes and failures in Africa // <i>European Journal of Political Research</i>	48	7	
год 2008 mun: КСАМЗ + КСАНМ			
Ackren, M. >> Condition (s) for island autonomy // <i>International Journal on Minority and Group Rights</i>	27	4	
год 2008 mun: КСАНМ			
Kaeding, M. >> Necessary conditions for the effective transposition of EU legislation // <i>Policy and Politics</i>	35	6	
Pajunen, K. >> Institutions and inflows of foreign direct investment // <i>Journal of International Business Studies</i>	47	7	
Szelewa, D. >> Who cares? Changing patterns of childcare in Central and Eastern Europe // <i>Journal of European Social Policy</i>	8	4	
год 2008 mun: КСАЧМ			
Blackman, T. >> Can smoking cessation services be better targeted to tackle health inequalities? // <i>Health Education Journal</i>	2882	5	
Kim, K-S. >> A QCA of strategies for an ageing society // <i>International Journal of Social Welfare</i>	16	6	
Marx, A. >> Limits to non-state market regulation // <i>Regulation and Governance</i>	17	4	
Rubenzer, T. >> Ethnic minority interest group attributes and U.S. foreign policy influence // <i>Foreign Policy Analysis</i>	10	6	
Shapiro, S. >> Does the amount of participation matter? // <i>Policy Sciences</i>	8	2	
Strandberg, K. >> Online electoral competition in different settings // <i>Party Politics</i>	16	5	
год 2008 mun: КСАЧМ + КСАНМ			
Portes, A. >> Institutions and development in Latin America // <i>Studies in Comparative International Development</i>	23	6	
год 2009 mun: КСАНМ			
Aleman, J. >> The politics of tripartite cooperation in new democracies // <i>International Political Science Review</i>	78	4	
Freitag, M. >> Educational federalism in Germany: foundations of social inequality in education // <i>Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions</i>	16	4	
Hudson, J. >> Towards productive welfare? A Comparative Analysis of 23 OECD countries // <i>Journal of European Social Policy</i>	25	4	

Продолжение таблицы

1	2	3
Metelits, C.M. >> The Consequences of Rivalry Explaining Insurgent Violence // <i>Political Research Quarterly</i>	9	3
Vis, B. >> The importance of Socio-economic and political losses and gains in welfare state reform // <i>Journal of European Social Policy</i>	23	3
Werner, T. >> Congressmen of the silent South: the persistence of southern Racial Liberals, 1949–1964 // <i>Journal of Politics</i>	47	4
год 2009 mun: КСАЧМ		
Balthasar, A. >> Institutional design and utilization of evaluation // <i>Evaluation Review</i>	10	4
Breuer, A. >> The use of government-initiated referendums in Latin America. // <i>Revista de ciencia política</i>	12	7
Delreux, T. >> The EU negotiates multilateral environmental agreements // <i>Journal of European Public Policy</i>	21	8
Fink-Hafner, D. >> The determinants of the success of transitions to democracy // <i>Europe-Asia Studies</i>	10	4
Gherghina, S. >> The helping hand: the role of the EU in the democratization of post-communist Europe // <i>Romanian Journal of Political Science</i>	20	9
Jang, D-H. >> Significance of variations between income transfers and social care services development // <i>Journal of Comparative Social Welfare</i>	11	8
Maggetti, M. >> The role of independent regulatory agencies in policy-making // <i>Journal of European Public Policy</i>	6	3
Moller, J. >> The three worlds of post-communism: revisiting deep and proximate explanations // <i>Democratization</i>	26	7
Schlager, E. >> Resolving water conflicts: A Comparative Analysis of interstate river compacts // <i>The Policy Studies Journal</i>	23	5
Valtonen, K. >> Lived experiences of vulnerability in the childhood of persons recovering from substance abuse // <i>Journal of Social Work</i>	24	8
Yamasaki, S. >> A Boolean analysis of movement impact on nuclear energy policy // <i>Mobilization</i>	11	5
год 2010 mun: КСАМЗ		
Kluver, H. >> Europeanization of lobbying activities: when national interest groups spill over to the European level // <i>Journal of European Integration</i>	32	2
год 2010 mun: КСАНМ		
Avdagic, S. >> When are concerted reforms feasible? Explaining the emergence of social pacts in Western Europe // <i>Comparative Political Studies</i>	14	8
Blatter, J. >> Preconditions for foreign activities of European regions // <i>Publius: The Journal of Federalism</i>	25	3
Christmann, A. >> Direct democracy and religious minorities // <i>Swiss Political Science Review</i>	13	4
Mantilla, L.F. >> Mobilizing religion for democracy // <i>Politics and Religion</i>	9	3

Продолжение таблицы

	1	2	3
Portes, A. >> Institutions and national development in Latin America // <i>Socio-Economic Review</i>		23	6
Samford, S. >> Averting "Disruption and Reversal": reassessing the logic of rapid trade reform in Latin America // <i>Politics and Society</i>		61	7
год 2010 mun: КСАЧМ			
Blackman, T. >> Qualitative Comparative Analysis and health inequalities: // <i>Journal of Social Policy</i>		14	5
Di Lucia, L. >> The willing, the unwilling and the unable. Explaining implementation of the EU biofuels directive // <i>Journal of European Public Policy</i>		10	5
Eder, C. >> A key to success? Are there conditions for successful ballot votes in the German Lander? // <i>Politische Vierteljahrsschrift</i>		11	4
Hartmann, C. >> Understanding variations in party bans in Africa // <i>Democratization</i>		42	4
Haynes, P. >> Older people's family contacts and long-term care expenditure in OECD countries: a comparative approach using Qualitative Comparative Analysis // <i>Social Policy and Administration</i>		12	7
Krook, M.L. >> Women's representation in parliament // <i>Political Studies</i>		24	5
Lam, W.F. >> Analysing the dynamic complexity of development interventions: lessons from an irrigation experiment in Nepal // <i>Policy Sciences</i>		19	5
Linder, W. >> On the merits of decentralization in young democracies // <i>Publius: The Journal of Federalism</i>		12	8
Schensul, J.J. >> The use of Qualitative Comparative Analysis for critical event research in alcohol and HIV in Mumbai, India // <i>Aids and Behavior</i>		84	10
год 2011 mun: КСАМЗ			
Huntjens, P. >> Adaptive water management and policy learning in a changing climate // <i>Environmental Policy and Governance</i>		8	5
Rouhana, R. >> Performance monitoring systems in healthcare organizations // <i>International Journal of Management and Business</i>		30	5
Sager, F. >> Dealing with complex causality in realist synthesis // <i>American Journal of Evaluation</i>		21	9
год 2011 mun: КСАИМ			
Emmenegger, P. >> Job security regulations in Western democracies // <i>European Journal of Political Science</i>		19	6
Kim, S. >> On the historical determinants of third sector strength // <i>Social Science Journal</i>		15	4
Maat, E. >> Sleeping hegemons: third-party intervention following territorial integrity transgressions // <i>Journal of Peace Research</i>		13	9
Mo Iler, J. >> Stateness first? // <i>Democratization</i>		125	4
Reynaert, V. >> Explaining EU aid allocation in the Mediterranean // <i>Mediterranean Politics</i>		14	5

Продолжение таблицы

1	2	3
Thiem, A. >> Conditions of intergovernmental armaments cooperation in Western Europe, 1996–год 2006 // <i>European Political Science Review</i>	135	6
Vis, B. >> Under which conditions does spending on active labor market policies increase? // <i>European Political Science Review</i>	53	5
Bochsler, D. >> It is not how many votes you get, but also where you get them. Territorial determinants and institutional hurdles for the success of ethnic minority parties in post-communist countries // <i>Acta Politica</i>	123	7
Gherghina, S. >> Explaining ethnic mobilisation in post-communist countries // <i>Europe-Asia Studies</i>	19	6
Gray, C. >> Are governmental culture departments important? An empirical investigation // <i>International Journal of Cultural Policy</i>	13	4
Kroger, M. >> Promotion of contentious agency as a rewarding movement strategy // <i>Journal of Peasant Studies</i>	13	4
Skaaning, S-E. >> Democratic survival Or Autocratic revival in interwar Europe? A comparative examination of structural explanations // <i>Zeitschrift fur vergleichende Politikwissenschaft</i>	29	5
Suzuki, A. >> Escalation of interstate crises of conflictual dyads // <i>Cooperation and Conflict</i>	10	4

Список литературы

- Aarebrot F.H., Bakka P.H. Die vergleichende Methode in der Politikwissenschaft? // Vergleichende Politikwissenschaft / Ed. by Berg-Schlosser D., Muller-Rommel F. – 3 rd ed. – Opladen: Leske & Budrich, 1997. – P. 49–66.
- Abell P. Supporting industrial cooperatives in developing countries: some Tanzanian experiences // Economic and industrial democracy. – 1990. – Vol. 11, N 4. – P. 483–504.
- Amenta, E., Poulsen J. Social politics in context: the institutional politics theory and social spending at the end of the new deal // Social forces. – 1996. – Vol. 75, N 1. – P. 33–60.
- Amenta, E., Carruthers B., Zylan Y. A hero for the aged? The townsend movement, the political mediation model, and U.S. old-age policy // American journal of sociology. – 1992. – Vol. 98, N 2. – P. 308–339.
- Amenta E., Dunleavy K., Bernstein M. Stolen thunder? Huey long's share our wealth, political mediation, and the second new deal // American sociological review. – 1994. – Vol. 59. – P. 678–702.
- Beach D., Pedersen R.B. Process tracing methods: Foundations and guidelines. – Ann Arbor, MI: Univ. of Michigan press, 2013. – 208 p.
- Berg-Schlosser, D., Meur G. De Conditions of democracy in interwar Europe: a boolean test of major hypotheses' // Comparative politics. – 1994. – Vol. 26. – P. 253–279.

- Berg-Schlosser, D., Meur G.* De Comparative research design: case and variable selection // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (CSQCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oak, CA: Sage, 2009. – P. 19–32.
- Berg-Schlosser, D., Meur G.* De, *Rihoux B., Ragin C.* Qualitative comparative analysis (QCA) as an approach // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA: London: Sage, 2009. – P. 1–18.
- Berntzen E.* Democratic consolidation in Central America: a qualitative comparative approach // Third world quarterly. – 1993. – Vol. 14, Is. 3. – P 589–604.
- Biggart, R.* Why labor wins, why labor loses: a test of two theories // Sociological quarterly. – 1997. – Vol. 38, Is. 1. – P. 205–224.
- Blake C.* The politics of inflation-fighting in new democracies // Studies in comparative international development. – 1996. – Vol. 31, Is. 2. – P. 37–57.
- Blatter J., Haverland M.* Designing case studies: explanatory approaches in small-N research. – Hounds Mills Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
- Bleijenbergh I., Roggeband C.* Equality machineries matter: the impact of women's political pressure on European social-care policies // Social politics: International studies in gender, state & society. – 2007. – Vol. 14, N 4. – P. 437–459.
- Bollen K.A., Entwistle B., Alderson A.S.* Macrocomparative research methods // Annual review of sociology. – 1993. – N 19. – P. 321–351.
- Boswell T., Brown C.* The scope of general theory. Methods for linking deductive and inductive comparative history // Sociological methods and research. – 1999. – N 28. – P. 154–185.
- Brady H., Collier D.* Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards. – Berkeley, CA: Rowman & Littlefield, 2004.
- Brown C., Boswell T.* Strikebreaking or solidarity in the Great Steel Strike of 1919: a split labor market, game-theoretic, and QCA analysis // American journal of sociology. – 1995. – Vol. 100. – P. 1479–1519.
- Brueggemann J., Boswell T.* Realizing solidarity – sources of interracial unionism during the great depression // Work and occupations. – 1998. – Vol. 25, N 4. – P. 436–482.
- The SAGE Handbook of case-based methods* / Ed. by Byrne D, Ragin C. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009.
- Caren N., Panofsky A.* TQCA: a technique for adding temporality to qualitative comparative Analysis // Sociological Methods & Research. – 2005. – Vol. 34. – P. 147–172.
- Chirot D., Ragin C.* The market, tradition and peasant rebellion: the case of Romania in 1907 // American sociological review. – 1975. – Vol. 40, N 3. – P. 428–444.
- Collier D., Adcock R.* Democracy and dichotomies: a pragmatic approach to choices about concepts // Annual review of political science. – 1999. – Is. 2. – P. 537–565.
- Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (CSQCA) and related techniques / Ed. by Rihoux B., Ragin C. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009.
- Coverdill J., Finlay W., Martin J.* Labor management in the Southern textile industry: comparing qualitative, quantitative, and qualitative-comparative analyses // Sociological methods and research. – 1994. – Vol. 23, Is. 1. – P. 54–85.

- Cress D., Snow D.* Mobilization at the margins: resources, benefactors, and the viability of homeless social movement organizations // American sociological review. – 1996. – Vol. 61, N 6. – P. 1089–1109.
- Cronqvist L., Berg-Schlosser D.* Multi-value QCA (mvQCA) // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. – P. 69–86.
- Delacroix J., Ragin C.* Modernizing institutions, mobilization, and third world development: a cross-national study // American journal of sociology. – 1978. – Vol. 84. – P. 123–150.
- Meur G.De, Rihoux B.* L'analyse quali-quantitative comparee (AQQC-QCA): approche, techniques et applications en sciences humaines. – Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, 2002.
- Meur G.De, Rihoux B., Yamasaki S.* Addressing the critiques of csQCA // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. – P. 139–160.
- Duckles B.M., Hager M.A., Galaskiewicz J.* How nonprofits close. Using narratives to study organizational processes // Qualitative organizational Research: Best Papers from the Davis Conference on Qualitative Research / Ed. by J.M. Bartunek, K.D. Elsbach, J.A. Wagner. – Greenwich, CT: Information age publishing, inc., 2005. – P. 169–203.
- Dusa A.* User manual for the QCA (GUI) package // Journal of business research. – 2007. – Vol. 60, is. 5. – P. 576–586.
- Dusa A.* QCA: Qualitative comparative analysis. R package version 0.6–5. Retrieved 10 March 2011 // CRAN-project. – 2010. – Mode of access: <http://cran.r-project.org/web/packages/QCA/index.html> (Дата посещения: 07.03.2015.)
- Eckstein H.* Case study and theory in political science // Handbook of political science / Eds. F.I. Greenstein, N.W. Polsby. – Reading Mass, MA: Addison-Wesley, 1975. – P. 79–137.
- Eliason S., Stryker R.* Goodness-of-fit tests and descriptive measures in fuzzy-set analysis // Sociological methods and research. – 2009. – Vol. 38. – P. 102–146.
- Emmenegger P.* Non-events in macro-comparative social research: Why we should care and how we can analyze them // COMPASS working paper N 60/2010. – 2010. – Is. 66, N 1. – P. 185–190.
- Emmenegger P., Kvist J., Skaaning S.E.* Getting the most of configurational comparative analysis: an assessment of QCA applications in comparative welfare state research // Political research quarterly. – [2013]. – [Из архива автора].
- Fiss P.* A set-theoretic approach to organizational configurations // Academy of management review. – 2007. – Vol. 32. – P. 1180–1198.
- Fiss P.* Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research // Academy of management journal. – 2011. – Vol. 54. – P. 393–420.
- Fiss P., Cambre B., Marx A.* Research in the sociology of organizations: Configurational theory and methods in organizational research. – Bingley: Emerald publishing, 2013.

- Foran J.* The future of revolutions at the Fin-de-Siecle // Third world quarterly. – 1997. – Vol. 18, is. 5. – P. 791–820.
- George A., Bennett A.* Case Research and Theory Development. – Cambridge, MA: MIT press, 2005. – 350 p.
- Gerring J.* Social science methodology: A Criterial framework. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2001. – 300 p.
- Gerring J.* What is a case study and what is it good for? // American political science review. – 2004. – Vol. 98, is. 2. – P. 341–354.
- Gerring J.* Causation: a unified framework for the social sciences // Journal of theoretical politics. – 2005. – Vol. 17, N 2. – P. 163–198.
- Gerring J.* Case study research: principles and practice. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007.
- Gerring J.* Social science methodology: A unified framework. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – 522 p.
- Goertz G.* Social science concepts: A user's guide. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2006 a.
- Goertz G.* Assessing the trivialness, relevance, and relative importance of necessary or sufficient conditions in social science // Studies in comparative international development. – 2006 b. – Vol. 41, N 2. – P. 88–109.
- Goertz G., H. Starr H.* Necessary conditions: Theory, methodology, and applications. – New York: Rowman and Littlefield, 2003.
- Goertz G., Mahoney J.* Two-level theories and fuzzy-set analysis // Sociological methods and research. – 2004. – Vol. 33, N 4. – P. 497–538.
- Goldthorpe J.H.* Current issues in comparative macrosociology: a debate on methodological issues // Comparative social research. – 1997. – Vol. 16. – P. 1–26.
- Gregware P.* Courts, criminal process, and AIDS: the institutionalization of culture in legal decision making // Law and Policy, 1994. – Vol. 16, is. 3. – P. 341–362.
- Griffin L., Botsko C., Wahl A., Isaac L.* Theoretical generality, case particularity: Qualitative comparative analysis of trade-union growth and decline // International journal of comparative sociology. – 1991. – Vol. 32, N 1–2. – P. 110–136.
- Griffin L., Caplinger C., Lively K., Malcom N., McDaniel D., Nelsen C.* Comparative-historical analysis and scientific inference: disfranchisement in the U.S. South as a test case // Historical methods: A journal of quantitative and interdisciplinary history. 1997. – Vol. 30, N 1. – P. 13–27.
- Grofman B., Schneider C.Q.* An introduction to crisp set QCA, with a comparison to binary logistic regression // Political research quarterly. – 2009. – Vol. 62. – P. 662–672.
- Hicks A.* Qualitative comparative analysis and analytical induction: the case of the emergence of the social security state // Sociological methods and research. – 1994. – Vol. 23, is. 1. – P. 86–113.
- Hicks A., Misra J., Nah NG T.* The programmatic emergence of the social security state // American sociological review. – 1995. – Vol. 60, N 3. – P. 329–350.
- Hino A.* Time-series QCA: studying temporal change through boolean analysis // Sociological theory and methods. – 2009. – Vol. 24, N 2. – P. 219–246.
- Hobsbawm E.* Primitive rebels. – N. Y.: Norton, 1959.

- Hollingsworth R., Hanneman R., Hage J., Ragin C.* The effect of human capital and state intervention on the performance of medical systems // Social forces. – 1996. – Vol. 75, is. 2. – P. 459–484.
- King G., Keohane R., Verba S.* Designing social enquiry: scientific inference in qualitative research. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1994. – 264 p.
- Kiser E., Baker K.* Could privatization increase the efficiency of tax collection in less developed countries? // Policy studies journal. – 1994. – Vol. 22, is. 3. – P. 489–500.
- Kiser E., Drass K.A., Brustein W.* Ruler autonomy and war in early modern Western Europe // International studies quarterly. – 1995. – Vol. 39, N 1. – P. 109–138.
- Kittel B.* A crazy methodology? On the limits of macroquantitative social science research // International sociology. – 2006. – Vol. 21, N 5. – P. 647–677.
- Krook M.L.* Temporality and causal configurations: combining Sequence Analysis and Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis // Annual meeting of the American political science association (APSA). – Philadelphia, PA, 2006. – 31 Aug-3 September.
- Lieberson S.* Small N's and big conclusions: an examination of the reasoning in comparative studies based on a small number of cases // Social forces. – 1991. – Vol. 70, N 2. – P. 307–320.
- Lieberson S.* More on the uneasy case for using Mill-type methods in small N comparative studies // Social forces. – 1994. – Vol. 72. – P. 1225–1237.
- Lieberson S.* Comments on the use and utility of QCA // Qualitative methods: Newsletter of the American political science association organized section on qualitative methods. – 2004. – Vol. 2. – P. 13–14.
- Longest Kyle C., Vaisey S.* Fuzzy: a program for performing qualitative comparative analyses (QCA) in stata // Stata journal. – 2008. – N 8. – P. 79–104.
- Maggetti M.* The role of independent regulatory agencies in policy-making: a comparative analysis // Journal of european public policy. – 2009. – Vol. 16, is. 3. – P. 450–470.
- Mahoney J., Rueschemeyer D.* Comparative historical analysis in the social sciences. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003.
- Mahoney J., Goertz G.* A tale of two cultures: contrasting quantitative and qualitative research // Political analysis. – 2006. – Vol. 14, N 3. – P. 227–249.
- Marx A.* Crisp set qualitative comparative analysis (csQCA) and model specification // International journal of multiple research approaches. – 2010. – Vol. 4, N 2. – P. 138–158.
- Marx A., Dusa A.* Crisp-set qualitative comparative analysis (csQCA), contradictions and consistency: benchmarks for model specification', Methodological innovations online. – 2011. – Vol. 6, N 2. – P. 103–148.
- Marx A., Cambre B., Rihoux B.* Crisp-set Qualitative Comparative Analysis in organizational studies // Research in sociology of organizations: configurational theory and methods in organizational research / Fiss P., B. Cambre B., Marx A. – Bingley: Emerald publishing, [2013].
- Mill J.S.* A system of logic: ratiocinative and inductive. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1967. – 622 p.
- Moore B.* Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the Making of the modern world. – Boston, MA: Beacon press, 1966. – 559 p.

- Moses J., Rihoux B., Kittel B.* Mapping political methodology: reflections on a European perspective // European political science. – 2005. – Vol. 4, N 1. – P. 55–68.
- Models, numbers and cases. Methods for studying international relations* / Ed. by Namihas-Wolinsky Y., Sprinz D. – Michigan, MI: Univ. of Michigan, 2004. – 412 p.
- Peillon M.* A qualitative comparative analysis of welfare legitimacy // Journal of European social policy. – 1996. – Vol. 6, N 3. – P. 175–190.
- Pierson P.* Big, slow-moving, and... invisible // Comparative historical analysis in the social sciences / Ed. J. Mahoney, D. Rueschemeyer. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003.
- Poteete A., Janssen M., Ostrom E.* Working Together: Collective Action, the Commons and Multiple Methods in Practice. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 2010. – P. 177–207.
- Przeworski A., Teune H.* The logic of comparative social inquiry. – New York: Wiley, 1970.
- Ragin C.* The comparative method. Moving beyond qualitative and quantitative strategies. – Berkeley, Los Angeles, CA; L.: Univ. of California press, 1987. – 185 p.
- Ragin C.* Turning the tables: how case-oriented methods challenge variable-oriented methods // Comparative social research. – 1997. – Vol. 16. – P. 27–42.
- Ragin C.* Fuzzy-set social science. – Chicago, IL: Chicago univ. press, 2000.
- Ragin C.* Core versus tangential assumptions in comparative research // Studies in comparative international development. – 2005. – Vol. 40, N 1. – P. 33–38.
- Ragin C.* Set relations in social research: evaluating their consistency and coverage // Political analysis. – 2006. – Vol. 14, N 3. – P. 291–310.
- Ragin C.* Redesigning social inquiry. Fuzzy sets and beyond. – Chicago, IL: Chicago univ. press, 2008. – 225 p.
- Ragin C., Becker H.* What is a Case? Exploring the foundations of social inquiry. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1992. – 242 p.
- Ragin C., Rihoux B.* Qualitative comparative analysis (CSQCA): state of the art and prospects. Qualitative methods // Newsletter of the American political science association organized section on qualitative methods. – 2004 a. – Vol. 2, N 2. – P. 3–13.
- Ragin C., Rihoux B.* Replies to commentators: reassurances and rebuttals. Qualitative methods // Newsletter of the American political science association organized section on qualitative methods. – 2004 b. – Vol. 2, N 2. – P. 21–24.
- Ragin C., Strand S.* Using qualitative comparative analysis to study causal order// Sociological methods and research. – 2008. – Vol. 36, N 4. – P. 431–441.
- Ragin C., Mayer S., Drass K.* Assessing discrimination: a boolean approach // American sociological review. – 1984. – Vol. 49. – P. 221–234.
- Rihoux B.* Les partis politiques: organisations en changement. Le test des écologistes. – Paris: Coll. logiques politiques, L'Harmattan, 2001. – 261 p.
- Rihoux B.* Bridging the gap between the qualitative and quantitative worlds? A retrospective and prospective view on qualitative comparative analysis // Field Methods. – 2003. – Vol. 15, N 4. – P. 351–365.
- Rihoux B.* Case-oriented configurational research: Qualitative comparative analysis (CSQCA), fuzzy sets and related techniques // The Oxford handbook of political

- methodology / Ed. by J. Box-Steffensmeier, H. Brady, D. Collier – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – P. 722–736.
- Rihoux B., Lobe B.* The case for qualitative comparative analysis (QCA): adding leverage for thick cross-case comparison // The Sage handbook of case-based methods / Ed. by D. Byme, C. Ragin. – London: Sage, 2009. – P. 222–243.
- Rihoux B., Meur G.* De Crisp-set Qualitative comparative analysis (csQCA) // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (CSQCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. – P. 33–68.
- Rihoux B., Marx A.* Mapping QCA, 25 years after ‘The Comparative method’: Core Challenges and Innovations // Political research quarterly. – 2013. – Vol. 66, N 1. – P. 167–230.
- Rihoux B., Rezsohazy I., Bol D.* Qualitative comparative analysis (QCA) in public policy analysis: an extensive review // German policy studies. – 2011. – Vol. 7, N 3. – P. 9–82.
- Rihoux, B., Ragin C., Yamasaki S., Bol D.* Conclusions – the Way (s) ahead // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (CSQCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. – P. 167–177.
- Rihoux, B., Alamos-Concha P., Bol D., Marx A., Rezsohazy I.* From niche to mainstream method? A comprehensive mapping of QCA applications in journal articles from 1984 to 2011 // Political research quarterly. – 2013. – Vol. 66, is. 1. – P. 175–184.
- Rohlfing I., Schneider C.* Improving research on necessary conditions: formalized case selection for process tracing after QCA // Political research quarterly. – 2013. – Vol. 66, is. 1. – P. 220–230.
- Sager F.* Metropolitan institutions and policy coordination: the integration of land use and transport policies in Swiss urban areas // Governance: an international journal of policy, administration, and institutions. – 2004. – Vol. 18, is. 2. – P. 227–256.
- Sager F., Anderegg C.* Dealing with complex causality in realist synthesis: the promise of qualitative comparative analysis (QCA) // American journal of evaluation. – 2011. – Vol. 13. – P. 1–9.
- Sartori G.* Concept misformation in comparative research // American political science review. – 1970. – Vol. 64. – P. 1033–1053.
- Social science concepts: A systematic analysis / Ed. by Sartori G. – Beverly Hills, CA: Sage, 1984. – 455 p.
- Savolainen, J.* The rationality of drawing big conclusions based on small samples: in defense of Mill's methods // Social forces. – 1994. – Vol. 72. – P. 1217–1224.
- Scharpf F.* Games real actors play. – Boulder, CO: Westview press, 1997. – 318 p.
- Schneider C.Q., Wagemann C.* Reducing complexity in qualitative comparative analysis (QCA): remote and proximate factors and the consolidation of democracy // European journal of political research. – 2006. – Vol. 45. – P. 751–786.
- Schneider C.Q., Wagemann C.* Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – 350 p.

- Seawright J.* Qualitative comparative analysis vis-a-vis regression // Qualitative methods: Newsletter of the American political science association organized section on qualitative methods. – 2004. – N 2. – P. 14–17.
- Seawright J.* Qualitative comparative analysis vis-a-vis regression // Studies in comparative international development. – 2005. – Vol. 40, is. 5. – P. 3–26.
- Serdult U., Hirshi C.* From process to structure: developing a reliable and valid tool for policy network comparison // Swiss political science review. – Vol. 10, N 2. – P. 137–155.
- Skaaning S.* Assessing the robustness of crisp-set and fuzzy-set QCA results // Sociological methods and research. – 2011. – Vol. 40, is. 2. – P. 391–408.
- Stevenson W.B., Greenberg D.* Agency and social networks: strategies of action in a social structure of position, opposition, and opportunity // Administrative science quarterly. – 2000. – Vol. 45, is. 4. – P. 651–678.
- Thiem A., Dusa A.* Qualitative comparative analysis with R: A user's guide. – N. Y.: Springer, 2012. – 109 p.
- Tilly C.* The Vendee. – New York: Wiley, 1967. – 373 p.
- Vis B.* The comparative advantages of fsQCA and regression analysis for moderately large-N analyses // Sociological methods and research. – 2012. – Is. 41, N 1. – P. 168–198.
- Watanabe T.* An analysis of career pattern: possibility of optimal matching analysis // Sociological theory and methods. – 2004. – Is. 19, N 2. – P. 213–234.
- Weinberg A., Gould K.* Public participation in environmental regulatory conflicts: threading through the possibilities // Law & policy. – 1993. – Vol. 15, N 2. – P. 139–167.
- Wickham-Crowley T.* A qualitative comparative approach to Latin American revolutions // International journal of comparative sociology. – 1991. – Vol. 32, N 1–2. – P. 82–109.
- Wickham-Crowley T.* Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1992.
- Yamasaki S., Rihoux B.* A commented review of applications // Configurational comparative methods. Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques / Ed. by B. Rihoux, C. Ragin. – Thousand Oaks, CA; London: Sage, 2009. – P. 123–146.

ИДЕИ И ПРАКТИКА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧКИ

В.С. АВДОНИН

ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТЕОРИИ¹

Парадигмальный подход: Синтетическая версия

Проблема парадигм в политической науке возникала неоднократно. По сути, она сопровождает ее развитие постоянно, то обостряясь, то затухая, выражаясь в виде многочисленных дискуссий вокруг ее идей, методов, подходов и формируя сферу метатеоретической рефлексии этой дисциплины. В собственно парадигмальном ключе, т.е. с использованием понятия «парадигма», эта рефлексия стала развиваться с 70-х годов прошлого века после включения в научный оборот этого понятия, выдвинутого в работах Томаса Куна [Кун, 1975]. В его концепции парадигма представляет собой интегральное понятие, рассматривающее упорядоченное когнитивное содержание науки (научной дисциплины) в аспекте его конституирующего взаимодействия с формированием, функционированием и воспроизведением научных сообществ. Развитие науки представляется с этой точки зрения как революционная смена несовместимых парадигм, в ходе которой смена одного порядка когнитивного содержания науки другим сопровождается но-

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).

вой институционализацией научных сообществ. В дальнейшем теория научных революций, предложенная Куном, подвергалась критике по ряду аспектов [Локатос, 1995; Фейреабенд, 1986, Tulmin, 1970 и др.], но понятие научной парадигмы в основном закрепилось и стало вполне применимым в исследованиях по истории, социологии, методологии и философии науки.

В рефлексии политической науки понятие парадигмы прослеживается во многих работах. В хорошо известной российскому читателю книге «Политическая наука: новые направления» ее авторы и редакторы Роберт Гудин и Ханс-Дитер Клингеманн говорят о формировании парадигмальности в политической науке уже на первых страницах [Политическая наука..., 1999, с. 29–68]. Они также упоминают о признаках парадигмального анализа политической науки у своих предшественников – в многотомном труде Ф. Гринстайна и Н. Полсби «Политическая наука: основные направления», вышедшем на 20 лет раньше [Handbook of..., 1975], и в ряде других работ, а также в обзорах и исследованиях, посвященных смежным дисциплинам (экономике, психологии и др.). Не менее заметен парадигмальный подход и в современных исследованиях, в том числе в многотомной серии «Мир политической науки», представляющей состояние и перспективы политической науки в начале XXI в. [World of political science, 2006–2012].

При этом следует отметить, что в большинстве этих работ куновская трактовка парадигмы и парадигмальности определенным образом модифицируется. Кун в основном писал о доминирующих парадигмах в науке, которые скрепляют научное пространство дисциплин и обеспечивают их воспроизведение, конкурируя и вытесняя на периферию другие парадигмальные основания. Но в социальных науках вообще и в политической науке в частности положение иное. Маттеи Доган, например, пишет, что говорить о доминирующих или господствующих парадигмах в социальных науках и политологии неприемлемо, так как в них изначально присутствуют и развиваются несколько парадигм. Понятие «парадигма», по его мнению, к политической науке можно применять «лишь в кавычках», ибо фактически оно означает присутствие там множества «парадигм» [Доган, 1999, с. 120–122].

Близко к этому рассуждают и Гудин, и Клингеманн, обосновывая тезис о «полипарадигмальности» современной политической

науки. Правда, они при этом считают целесообразным и использование минималистского понятия «парадигма» для характеристики политологии как научной дисциплины по критериям профессионализма, компетентности, а также наличия некоего базового («парадигмального») компендиума знаний, разделяемых всем дисциплинарным сообществом [Политическая наука..., с. 40–45]. С точки зрения этого минималистского понимания «парадигма» скрепляет дисциплинарное сообщество, позволяет ему сохраняться и развиваться, но также и ограничивает его от того, что находится за его пределами. «Вход» в сообщество ограничен по критериям професионализма и компетентности, предполагающим освоение, пусть и критическое, базового («парадигмального») комплекса знаний, на выков, норм и принципов их трансляции и воспроизведения.

Таким образом, в этой версии современная политическая наука «парадигмальна». Но она также и «полипарадигмальна», так как включает множество предметных и методологических субдисциплинарных комплексов, имеющих те или иные признаки парадигм и ведущих к высокой дифференциации и рыхлости всего дисциплинарного пространства. Эта сторона для многих также очевидна. Синтез парадигм складывается в политической науке далеко не просто. Различные парадигмы конкурируют и сталкиваются друг с другом, вступая в том числе и в конфликтные отношения, что побуждает вновь и вновь обращаться к поиску синтеза этих внутренних «парадигм» с помощью оптики различных подходов.

Парадигмы научности: От позитивизма к постпозитивизму

Для дальнейшего рассмотрения вопроса целесообразно сделать некоторое отступление в сферу философии и методологии науки, так как при множестве особенностей внутридисциплинарных парадигм политической науки важным сквозным моментом их дифференциации, на наш взгляд, остается, а в чем-то и актуализируется, различие в представлениях о науке и научности в сфере познания политического. На языке исследований науки эта проблематика может быть выражена как проблема «сильной» и «слабой» версий научности («научного стандарта») или в какой-то мере

как проблема эксплицитной или имплицитной конкуренции неопозитивистских и постпозитивистских подходов.

Эта конкуренция затронула наиболее развитый тематический контекст философии науки, традиционно ориентированный на изучение и разработку образцов и критериев научной рациональности с точки зрения их предпосылок, содержания, структуры, путей и способов достижения достоверного знания. В рамках этой тематики интересы исследователей первоначально были сосредоточены на эмпирическом познании в науке, на его природе, условиях, роли в обосновании научного знания. Затем акцент переместился на изучение роли теоретического познания, его структуры, видов, статуса, способов отношения с эмпирией и др. В какой-то момент повышенное внимание стало уделяться проблематике deductивного обоснования научного знания в аспекте его верификации и фальсификации [Канке, 2008].

На базе этой проблематики ко второй половине XX в. сформировался комплекс знаний и представлений о современной науке, который получил впоследствии определение «позитивистской» или «неопозитивистской» (вариант: «сциентистской») парадигмы. В ее рамках было представлено множество альтернативных подходов, выдвигавших на первый план различные аспекты и проблемы научного знания и варианты их решения, а также весьма критично относившихся друг к другу. Но их общим моментом было представление о некоем «стандарте» научности, включающем ряд базовых положений: сводимость научных знаний к эмпирическому базису и эмпирической верификации; универсальная рациональность научного метода и принцип элиминации субъективности [Erkenntnis Orientated, 1991].

С этой точки зрения всякое научное знание основано на эмпирическом определении реальности и ее логическом осмысливании. Лишь эмпирически наблюдаемое и измеримое поддается осмысливанию с позиций истинного или ложного, поскольку лишь в этом случае мысленное может быть сопоставлено с фактическим и, таким образом, опровергнуто или подтверждено. В дальнейшем это, правда, стал отрицать Поппер, опираясь на Юма и доказывая, что эмпирия не может быть критерием верификации, так как не обладает статусом логического подтверждения. Она может лишь опровергать, обладая свойством логического опровержения [Popper,

1983; Поппер, 1983]. Связь эмпирического и мысленного обеспечивается посредством гипотез (гипотетических утверждений) относительно регулярно повторяющегося в наблюдениях, которые могут при определенных условиях трансформироваться в «законы» (номологические утверждения) относительно эмпирической действительности. Логически организованная совокупность таких утверждений образует теории, позволяющие «объяснить» эмпирическую действительность и предсказывать ее состояния [Гемпель, 1998; Hempel, 1965; Carnap, 1968].

Разумеется, доминирование этой парадигмы в теории и философии науки никогда не было полным и всеохватывающим. Параллельно существовали и другие варианты парадигмальных представлений о науке, восходящие к неокантианству, феноменологии, марксизму и др. Но они не играли определяющей роли. Позитивистская парадигма, возможно, в силу ее близости к сообществу ведущих ученых, создававших науку XX в., была наиболее влиятельной.

Но постепенно господство этой парадигмы стало сталкиваться с проблемами, на которые указали тот же Кун, Поппер, Локатос, Фейерабенд и др. В какой-то мере это было обратной стороной ее влияния. С одной стороны, распространение позитивистского стандарта научности на все новые предметные области исследований ставило новые вопросы и порождало новые проблемы, стимулирующие ее критическую рефлексию. С другой стороны, углублялся философский анализ ее онтологических и гносеологических оснований, расширялось исследование ее социальных, исторических, культурных контекстов и предпосылок. В итоге это привело к расширению и переформатированию проблематики анализа науки, к расширению методов ее изучения и формированию так называемой постпозитивистской парадигмы.

Вряд ли ее существование можно определить как радикальный разрыв, в духе Куна, с прежней парадигмой. Скорее, его можно представить как более гибкое, расширенное и в то же время более углубленное и многоаспектное понимание стандарта научности, принятого в предшествующей парадигме. Сама эта проблематика из исследований науки никуда не ушла, а, по сути, расширилась и даже укрепилась, пройдя через горнило критики и тестирование в новых предметных областях, прежде всего социально-гуманитарного знания. Постановка многих традиционных проблем эмпирического

и теоретического знания, проверки и обоснования научного знания, его накопления и развития обновилась в новых контекстах и форматах, включающих исторические, социальные, дискурсивные, культурные измерения [Огурцов, 1995; Gilbert, Mulkay, 1984].

Проекции постпозитивизма на политическую науку

В какой-то мере процессы становления полипарадигмальности в политической науке можно сравнить с тем, что происходило в рамках «постпозитивистского поворота» в философии науки. Как и там, здесь имело место переосмысление рамок и границ «жесткого» научного стандарта, повлекшее сближение различных представлений о научности и поиски их возможного синтеза. В частности, это открыло путь к включению в «парадигмальный каркас» политической науки знаний и подходов нормативно-онтологического типа, которые ранее наталкивались на проблему «демаркации», связанную с «жестким» представлением о научном знании, а следствием не-приятия нормативных политических теорий в лоно политической науки было их взаимное отчуждение и автономия.

Хотя фактически и тот и другой типы знаний о политике существовали и до становления современной полипарадигмальности в политической науке. Более того, тот тип знаний о политике, который мы называем нормативно-онтологическим, возник и существовал задолго до современной политической науки в образе философско-политических или историко-политических учений прошлого. Но в ходе формирования собственно политической науки и первых этапов становления ее дисциплинарной парадигмы этот тип знания оказался как бы вне научного пространства [Бэрри, 1999].

Основное внимание было направлено на создание эмпирической базы науки и развитие эмпирических теорий, что в методологическом плане стимулировало усвоение сциентистской парадигмы. Это понимание научности появилось и закрепилось в политической науке в период «поведенческой революции» середины прошлого века и развивалось на фоне бурного роста эмпирических исследований политики [Finifter, 1983]. Затем оно получило дополнительный импульс в условиях развития логических исследований современной науки и применения в изучении политики сис-

темных теорий [Easton, 1965; Luhman, 1984 и др.]. Методология эмпирических исследований политики была дополнена системным подходом и развитием логико-аналитической и формальной методологии исследований.

На этом фоне политическая философия, связанная с нормативно-онтологическим типом знаний, оставалась вне этих процессов. Тем более что сциентистская парадигма актуализировала проблему «демаркации» в плане исключения из науки и научной рациональности философской метафизики. В этих условиях нормативно-онтологическое знание не находило места в политической науке и развивалось относительно автономно от нее, в рамках политической философии и истории политических учений [Парех, 1999].

Здесь можно отметить еще одно обстоятельство, связанное с доминированием в политической науке американских исследовательских подходов, для которых была характерна ориентация на сциентистскую парадигму научности и ее применение к исследованиям политики. В континентальной Европе картина была более сложной. Здесь нормативно-онтологическое осмысление политики имело более прочные традиции и оказывало более активное влияние на формирование политической науки, размывая жесткие границы [Berndtson, 2012]. Но проблема сложных отношений политической философии и науки проявлялась и там, учитывая экспансию стандартов американских политических исследований во многих европейских странах.

Ситуация стала меняться, когда не только в Европе, но и в Америке возникла тенденция к критике и пересмотру сциентистских и неопозитивистских стандартов научности, к расширению и переформатированию проблематики анализа научного знания в духе упомянутой выше постпозитивистской парадигмы. В политической науке это создало условия для ее более тесного взаимодействия со знаниями нормативно-онтологического типа, что привело к усилению интереса к политической философии, ее проблематике и выводам. И важным моментом здесь, как отмечают многие исследователи [Парех, 1999; Бэрри, 1999], была публикация работы Джона Роулза «Теория справедливости» [Rowls, 1971]. Она показала, что и в самой сфере политической философии происходили изменения. Этот тип знаний избавлялся от спекулятивного философствования, адаптировался к эмпирической политической науке, сближался с

политической практикой в традициях практической философии, расширял арсенал методов эмпирического анализа. Результатом сближения стало включение нормативно-онтологических теорий в общую синтетическую или, как охарактеризовал ее более критично Алмонд [Алмонд, 1999], «экклектическую» парадигму современной политической науки.

Проблемы и возможности нормативных теорий

Тем не менее проблемы, связанные с включением этого типа знания в политическую науку, продолжают сохраняться и обсуждаться в работах методологического характера [Trent, 2012; Stein, 2012 и др.].

Считается, что главной характеристикой нормативного типа знания является его нацеленность на формирование норм или ориентаций для практической деятельности, и эта сверхзадача определяет всю его структуру. Оно должно быть построено так, чтобы открываемые им истины приобретали нормативное измерение, играли роль морально-этических регуляторов действий. Степень предписываемой этим знанием обязательности действия может быть различной и зависеть от многих его аспектов, но само это «предписание» в нем, так или иначе, присутствует.

Теоретическое строение нормативного знания, как правило, предполагает онтологическое представление о реальности, включающее иерархию форм бытия, в котором высшие формы «не reduцируются» к низшим через причинно-следственные объяснения. Некая «высшая» реальность или рациональность существует «нередуктивно» и при этом способна задавать, подобно платоновской «эмансации», ориентиры для действий людей [Vögelin, 1977]. В политической науке эти теории предполагают существование в этой «высшей» реальности некоего порядка, оказывающего влияние на организацию совместной жизни людей, в том числе и в сфере политики. Он может восприниматься людьми, поддаваться рациональному осмыслению и служить импульсом и ориентиром для действий в политике по осуществлению этого «высшего» порядка в политической организации общества [Höffe, 2008].

Наряду с онтологией, осмысливающей строение форм бытия, в структуре нормативных теорий в эксплицитном или имплицитном виде содержатся также и антропологические представления о природе человека. Осмысливаются ее сущность (конфликтная, злая, миролюбивая и т.д.), потенциал ее изменчивости путем различных воздействий, а также проблематика соответствия политической структуры характеру и сущности этой природы. В них также содержится и этика политических действий, позволяющая оценивать их с позиций «общего блага», «должного», «правильного» [Wissenschaft., 1990].

Современное нормативно-онтологическое знание, как правило, избегает абстрактных спекуляций. Оно представляет собой систему правил этико-моральной ориентации практических действий, оно не чуждо эмпирическому исследованию и содержит механизмы адаптации к эмпирической науке, а также к требованиям логической непротиворечивости и обоснования. Вместе с тем научные истины нормативных теорий в политической науке имеют в качестве составных элементов также практический опыт, культуру, конвенции и др. [Вейте, 2000].

К слабостям нормативных теорий обычно относят сложность рационального обоснования нормативного знания или обоснования «должного», так как оно базируется не на рациональных, а на моральных, аксиологических аргументах, которые плохо поддаются квантификации в современной эмпирической науке. Способом их верификации является не эмпирическая проверка и указание на реально существующее, а ссылка на «высший смысл», «природу человека» или представление об «общем благе». Это вносит в знание «должного» иррациональные компоненты и ослабляет его логические обоснования, а отсутствие строгой логики не позволяет утвердить автономию метода. Поэтому нормативные теории, как правило, ориентируются на интерпретативное и контекстное понимание изучаемых предметных областей, чем пытаются компенсировать слабость логического обоснования нормативности, заменяя его интерпретациями и контекстными объяснениями долженствования в конкретных обстоятельствах [Вейте, 2002].

С другой стороны, контекстная интерпретация общих норм, призванная компенсировать недостаток их логического обоснования, составляет и определенное преимущество нормативно-онтологических теорий. Они оказываются ближе к актуальной и злобо-

дневной политической реальности, к конкретным обстоятельствам политических событий.

Еще одна их характерная особенность – критическое изучение действительности с позиций должного. Знание о реальности направляется на ее критику в комбинации эмпирических фактов и нормативных суждений. Юрген Хабермас предложил разделять в этом аспекте нормативные и критические теории, полагая, что первые критикуют действительность лишь для усовершенствования уже существующего и лишь вторые – подлинно критические – содержат критику, ведущую к изменению действительности в русле человеческой эманципации [Habermas, 1999]. Он также отмечал еще один аспект критических теорий, отличающий их от нормативных. Они критикуют действительность, исходя не из общих норм, пребывающих над человеком и историей, а исходя из условий, возникающих в самой истории в силу определенных обстоятельств [Хабермас, 2011].

Но эта позиция разделения нормативных и критических (критико-диалектических) теорий поддерживается далеко не всеми [Honneth, Joas, 1986]. В связи с этим указывается, что данное разделение базируется на политических критериях, так как сторонники нормативных и критических теорий придерживаются, как правило, разных политических позиций. Но по типу знания, представленного в их теоретических построениях, они могут быть причислены к блоку нормативно-онтологических теорий. Тем более что обе группы объединены и общим критическим отношением к неопозитивистской парадигме «жесткой» научности.

Одна из известных типологий нормативно-онтологических теорий была предложена Дольфом Штернбергером в работе «Три корня политического» [Sternberger, 1978]. В какой-то мере его позиция была ответом на теорию политики Карла Шmittа в его знаменитой работе 1932 г. «Понятие политического», где Шmitt построил онтологию политики на основе «последнего различия» политического, состоявшего в оппозиции «друг – враг» или «свой – чужой» [Schmitt, 1963]. По Шmittу, вся политика строится вокруг этого онтологического базисного различия, из которого, так или иначе, вытекают все явления политического. Штернбергер предложил другую онтологию: политика в своем последнем существе – это мир или построение мира. Из этого определения вытекал и критерий его типологии нормативно-онтологических теорий политики. Он заключается в способе

их отношения к конфликтам. С этой точки зрения все исторические и современные теории политики можно разделить на три типа: те, которые ориентируются на урегулирование конфликтов, те, которые ориентируются на подавление конфликтов, и те, которые ориентируются на полное устранение конфликтов. В истории политической мысли они восходят к трем фигурам: Аристотелю, Макиавелли и Августину, каждый из которых символизирует одну из этих традиций. Аристотелевскую традицию Штернбергер называет «антропологической», вытекающей из интересов, разума и естественной природы людей и направленной на конституционно-правовое регулирование конфликтов. Традицию Макиавелли он называет «демонологической», поскольку речь в ней идет о специальных искусственных конструктах и технологиях властвования, устремленных к подавлению конфликтов и возникающих для власти угроз. Августин символизирует «эсхатологическую» традицию построения на земле «Божьего града», в принципе устранившего все конфликты и уродства земного мира. Из каждой традиции вытекает и своя политическая антропология, и своя политическая этика с представлениями о «правильном» и «не-правильном», «добром» и «злом» в политике. В современности наследником Аристотеля выступает традиция Просвещения и либерализма, наследником «эсхатологической» традиции – теория Маркса, а в политике – Ленин, провозгласившие построение «земного рая» – коммунизма. А к наследникам «демонологической» или макиавеллистской традиции относится, в частности, и теория Карла Шmitta, аффилированная в какой-то мере с политической практикой разрушения демократии в Третьем рейхе. Штернбергер был также известен как один из авторов концепции «конституционного патриотизма», получившей распространение в ФРГ и носившей нормативный характер.

В современных условиях для эффективного отношения нормативных теорий с эмпирической наукой требуется разработка таких методов интерпретации данных, с помощью которых можно было бы применять упорядочивающие процедуры измерения к нормативной проблематике. Анализ нормативно-онтологического типа знания в политической науке и проблемы его сближения с эмпирико-аналитическим заключается сегодня не в их сохраняющемся иррационализме и в проблеме рациональности их обоснований, а в проблеме измеримости их эмпирической базы, в недостаточной строгости методов [Muehleisen, 1995; Вельцель, 2004; Patzelt, 2013].

«Драйверы» синтеза

Вопросы синтеза парадигм, таким образом, продолжают оставаться актуальными и привлекать внимание исследователей. И важным их аспектом является методологическая проблематика, в рамках которой могут быть проанализированы те тематические «поля» или «сюжеты», где взаимодействие парадигм и, следовательно, становление полипарадигмальности политической науки имеют наибольшие достижения и перспективы. Речь идет о методологических сюжетах, выступающих своего рода «драйверами» синтеза парадигм.

И здесь хотелось бы привлечь внимание к проблематике, связанной с методологическими аспектами теорий «национального выбора» – одной из наиболее активно развивающейся области политологического знания. И объяснить это можно следующим.

В хорошо известной российскому читателю схеме видного исследователя политических теорий Клауса фон Байме [Байме фон, 1999, с. 500] теоретические построения политической науки представлены в двухмерном аналитическом пространстве. «Изменения» в нем образованы уровнями абстрактности различных теорий и их методологическими подходами, ориентированными соответственно либо на акторов, либо на структуры (системы). Это пространство автор характеризует как пример «единой дисциплины», теоретическое развитие которой тяготеет к двум полюсам – индивидуализирующему изучению акторов и абстрагирующему изучению систем. Поэтому для поддержания интеграции этого «разбегающегося» пространства столь важны теории «среднего уровня», помогающие «стягивать» его между полюсами. С этим, в частности, связывается и успешное развитие теорий «национального выбора» в политической науке [Байме фон, 1999, с. 501–502].

Их роль в качестве «драйверов» синтеза разновекторного теоретико-методологического пространства политической науки вытекает из целого ряда их методологических и эвристических свойств. Прежде всего, это активное использование дедуктивных методов и формальных моделей, что радикально расширяет спектр их применения практически по всему полю политических исследований различных уровней, привнося в них «объяснения» с позиций акторной теории. При этом их методы анализа сближают по-

литическую науку с «жестким» стандартом научности, что укрепляет ее статус «строгой» научной дисциплины в кластере социальных наук. В то же время теории рационального выбора отталкиваются от уровня «актора, принимающего решения», что демонстрирует их связь и преемственность с «поведенческой» парадигмой политологии предшествующего этапа. Но само понятие об «акторах» в них радикально меняется, представляя абстрактные конструкции, весьма далекие от реальных действующих в политике личностей.

С нормативно-онтологическими теориями, включенными в парадигму политической науки, теории рационального выбора также находят определенные точки соприкосновения. Хотя во многих отношениях их позиции и остаются трудносовместимыми. Общность же обнаруживается, прежде всего, в проблематике социального (политического) действия и его регуляции, которая занимает в них центральное место. При этом в нормативных теориях принцип нормативной регуляции трактуется в ценностном и моральном плане, а в теориях рационального выбора нормы и правила действий понимаются в ценностно-нейтральном смысле, как формальные прагматические регуляторы предпочтительности принимаемых решений [Elster, 1989; Сморгунов, 2002]. Здесь очевидна «редукция» акторов к абстрактным конструкциям «носителей предпочтений», а не личностям и коллективам как носителям норм и ценностей. На этой почве и разворачивается большинство дискуссий сторонников и противников соответствующих теорий [Hardin, 1988; Ullman-Margalit, 1977].

При этом теории рационального выбора, как правило, включающие в себя теории социального выбора и теории стратегических взаимодействий, имеют на фоне этих дискуссий определенное преимущество. Созданные с помощью их методов формальные объяснительные модели политических действий распространяются на все новые исследовательские области и наборы проблем, поддерживая и укрепляя в известной мере единство всей дисциплины. Нормативные теории столь строгой и квантifiedированной формальной методологией не обладают и больше связаны с традиционным способом анализа проблем, ориентированным на реальность и специфику исследуемых областей, что затрудняет их субдисциплинарную мобильность. Круг их проблематики остается более традиционным.

В то же время в складывающемся положении отмечаются и проблемы. В монографии Джона Трента и Михаэля Штайна статус теорий рационального выбора с их развивающимися и распространяющимися формальными моделями в качестве «драйвера» парадигмального синтеза в политической науке принимается с большим скепсисом [Trent, Stein, 2012]. Синтез идет далеко не безоблачно, о чем свидетельствовало, например, «движение за перестройку», возникшее в американской политической науке в 2000-е годы. По существу, оно было направлено против чрезмерного, по мнению ряда ученых, доминирования в дисциплинарном сообществе американской политической науки формализованных подходов, связанных с теориями рационального выбора [Stein, 2012, р. 79–83].

Отмечается и такое своеобразное обстоятельство, как «забегание методологического развития» в политической науке. Оно объясняется быстрым развитием в последние годы методов формальных и количественных исследований и их внедрением в новые предметные области. Результаты при этом оказываются не вполне адекватными, так как круг приоритетной исследовательской проблематики в рамках этих подходов выглядит достаточно далеким от реальных политических проблем. Наука в этом смысле как бы расходится с жизнью. Выход здесь видится в дальнейшем развитии теории, в том числе тех ее компонентов, которые касаются теории рационального выбора. Предполагается, что ее рационалистические компоненты должны быть поставлены в «более широкий реалистический формат», чтобы получать более адекватную и связанную с реальными проблемами интерпретацию. Дальнейшее развитие политической теории в этом «реалистическом» формате предполагает и ее распространение на новые домены (сфера) исследований (например, историю и религию) в более адекватном их содержанию режиме, корректирующем формальные конструкты «стратегически взаимодействующих акторов» [Trent, 2012, р. 155–178].

В этих условиях нормативные подходы получают свой шанс также выступить в роли «драйверов» синтеза. При этом они должны быть существенно обновлены и дополнены арсеналом эмпирических методов, что повысит их адекватность в исследовании ценностно-ориентированного политического действия в разнообразных исторических, культурных и социальных контекстах. За ними тогда может стоять и обоснование общих ценно-

стей, ведущих к преодолению разрывов между «должным» и существующим бытием глобализирующегося мира.

Список литературы

- Алмонд Г.* Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999. – С. 69–112.
- Бэрри Б.* Политическая теория: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999. – С. 507–526.
- Вельцель Х.* Научно-теоретические и методические основы политической науки // Методические подходы политологического исследования и методологические основы политической теории. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 107–132.
- Гемптель К.Г.* Логика объяснения. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998. – 240 с.
- Доган М.* Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые направления – М.: Вече, 1999. – С. 113–148.
- Канке В.А.* Основные философские направления и концепции науки. – М.: Логос, 2008. – 400 с.
- Карнап Р.* Философские основания физики. Введение в философию науки. – М.: Прогресс, 1971. – 390 с.
- Кун Т.* Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. – 288 с.
- Лакатос И.* Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. – М., 1995. – № 4. – С. 134–154.
- Лакатос И.* История науки и ее рациональная реконструкция // Структура и развитие науки. – М., 1978. – С. 203–269.
- Огурцов А.П.* Аксиологические модели в философии науки // Философские исследования. – М., 1995. – № 1. – С. 7–36.
- Парех Б.* Политическая теория: политico-философские традиции // Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999 – С. 478–494.
- Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – 816 с.
- Поппер К.* Объективное знание. Эволюционный подход / Пер. с англ. Д.Г. Лахути. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.
- Поппер К.Р.* Логика и рост научного знания. Избр. работы / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с.
- Сморгунов Л.В.* Соотношение философии и науки в современном политическом познании // Россия и политические вызовы XXI века. Второй всероссийский конгресс политологов. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 638–641.
- Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с.
- Хабермас Ю.* Между натурализмом и религией. Философские статьи. – М.: Весь мир, 2011. – 336 с.

- A new hand book of political science / Ed. by Goodin R.E., Klingemann H.-D. – Oxford: Oxford univ. press, 1996. – 845 p.
- Beyme K.* von Die politische Theorie der Gegenwart: Eine Einführung. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000. – 359 S.
- Beyme K.* von Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien: 1789–1945. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – 1001 S.
- Berndtson E.* European political science (s): Historical roots of disciplinary politics // The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – P. 41–66.
- Carnap R.* Logische Syntax der Sprache. – Wien, New York: Springer-Verlag, 1968. – 274 p.
- Easton D.* A systems analysis of political life. – New York: Wiley, 1965. – 507 p.
- Elster J.* The cement of society. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989.
- Erkenntnis orientated: a centennial volume for Rudolf Carnap and Hans Reichenbach / Ed by Wolfgang Spohn. – Dordrecht Boston, Kluwer Academic Publishers, 1999. – 471 p.
- Gilbert G.N., Mulkay M.* Opening Pandora's box: a sociological analysis of scientists' discourse. – Cambridge, 1984. – 202 p.
- Habermas J.* Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1999. – 336 S.
- Handbook of political science / Greenstein F.I., Polsby N.V. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1975. – Vol. 1–8. – 576 p.
- Hardin R.* Morality within the limits of reason. – Chicago: – Univ. of Chicago press, 1988. – 234 p.
- Hempel C.G.* Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science. – New York, London: Free Press, 1965. – 505 p.
- Honneth A., Joas H.* Einleitung // Kommunikatives Handeln / Hrsg. von Honneth A., Joas H. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986. – S. 3–13.
- Höffe O.* Praktische Philosophie: Das Modell des Aristoteles. – Oldenbourg: Akademie Verlag, 2008. – 192 S.
- Luhmann N.* Die Wissenschaft der Gesellschaft. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009. – 732 S.
- Luhman N.* Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. – 674 S.
- Mühleisen H.-O.* Normative Theorien der Politik // Lexikon der Politik. Hrsg. von D. Nohlen. – Bd. 1. Politische Theorien. – München: Verlag C.H. Beck, 1995. – S. 369–383.
- Patzelt W.J.* Einführung in die Politikwissenschaft. – 7. Aufl. – Passau: Wissenschaftsverlag Richard Rothe, 2013. – 344 S.
- Political science: the state of discipline / Ed. by Finifter A.W. – Washington, DC.: The American political science ass., 1983. – 614 p.
- Popper K.R.* The logic of scientific discovery. – London: Hutchinson, 1983. – 480 p.
- Rawls J.* A theory of justice. – Cambridge: Harvard univ. press, 1971. – 607 p.
- Schmitt C.* Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. – Berlin: Duncker & Humblot, 1963. – 124 S.

- Stein M.* Is there a genuinely international political science discipline? An overview and assessment of recent views on Disciplinary historical trends // The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – P. 67–90.
- Sternberger D.* Drei Wurzeln der Politik. – Frankfurt am Main: Insel, 1978. – 444 S.
- The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 188 p. – (The world of political science – The development of the discipline).
- Toulmin S.* Does the distinction between normal and revolutionary Science hold Water? // Criticism and growth of knowledge. – Cambridge, 1970. – P. 39–47.
- Trent J.* An Essay on the present and future of political studies 2012 // The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – P. 155–178.
- Trent J.E.* Issues and trends in political science at the beginning of the 21 ST Century: Perspectives from the world of political science book series // The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – P. 91–155.
- Ullman-Margalit E.* The emergence of norms. – Oxford: Clarendon press, 1977. – 206 p.
- Voegelin E.* Die neue Wissenschaft von der Politik. – Salzburg: Stifterbibliothek im Univ.-Verl. Pustet, 1977. – 270 S.
- Wissenschaft, Theorie und Philosophie der Politik / Hg. Haungs P. – Baden-Baden: Nomos, 1990. – 334 S.
- World of political science. The development of the discipline book series / Ed. by Michael Stein and John Trent; Research committee 33 of the International political science association (IPSA), – Opladen; Leverkusen (Germany): Verlag Barbara Budrich, 2006–2012.

Ю.Д. АРТАМОНОВА, А.Л. ДЕМЧУК

**ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ М. ФУКО И НОВЫЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Мишель Фуко был не только известным ученым, но и влиятельным политическим интеллектуалом. При этом он не только трансформировал понятие власти в рамках своей концепции «власть-знание», предложив новые подходы к ее исследованию, но и создал со своими единомышленниками новые политические практики. Поставим вопрос следующим образом: какие интеллектуальные ходы позволяют Фуко создавать не только новую доктрину, но и новую практику политического действия, достигая единства политической теории и политической практики? Какие принципиальные моменты в его рассуждениях дают возможность этого синтеза? При этом оставим в стороне психологическое объяснение, хотя личностью Фуко был, конечно, неординарной.

Критические аргументы Фуко в адрес классического структурализма являются изначально единство аргументов филологического и политического толка. «Классический структурализм» предполагал следующие допущения.

- Любое явление культуры должно быть понято как текст, не важно, речь идет о мифе, языковом высказывании, брачных правилах, способах управления и т.д.
- В любом тексте существуют два уровня – уровень проявления (повествования), или внешний уровень, а также глубинный смысловой уровень.

• Необходимо выявить единицы этого второго, глубинного уровня; их синтез (структура) и показывает действительное содержание произведения.

• Структура объективна – она не есть объяснительная схема, она и есть собственно алгоритм мышления, общий всем людям, принадлежащим к данной культурной общности. «Форма определяется через свою противопоставленность инородному ей материалу; структура же не обладает отличным от нее содержанием, она и есть содержание в его логически организованном виде, причем сама эта организация рассматривается как факт реальной действительности» [Леви-Строс, 2001 а, с. 423].

• Этот шаг требует следующего – если мы продолжаем говорить о единстве человеческого рода, то во всех этих структурах мышления должны быть по определению общие моменты, которые и откроют эту человеческую «практологику», общие способы структурирования мира человеком.

Если суммировать возражения Фуко, то можно представить их следующим образом:

1) поиск устойчивых и единых алгоритмов мышления оказывается невозможным хотя бы из-за динамики истории – «структуры не выходят на улицы»;

2) некое единообразие в мышлении людей определенной эпохи, социальной группы и т.д. не стоит связывать с осмыслением реальности, достаточно признать его как возможную схему движения в ней, импульсы которого могут лежать и вне этой схемы;

3) претендую на роль «алгоритмизатора» культуры, структурализм сам оказывается тиражированием определенных способов мышления, а отнюдь не их открытием; именно маргинализация существующего алгоритма может быть продуктивной.

Одним из первых теоретических возражений стал тезис «структурь не выходят на улицы», подхваченный студентами во время студенческих волнений 1968–1969 гг. в Европе и ставший одним из его девизов. Действительно, если исходить из существования практологии человеческого мышления (на чем настаивал Леви-Строс), то следует рассматривать все исторически различные модификации человеческого духа лишь как различные реализации одного и того же алгоритма. В таком случае приходится признать, что впечатление об исторической изменчивости – иллюзия, мы

имеем дело с одним и тем же. Сам Леви-Строс предложил немало примеров данного тезиса, в частности, показав, что логика мифа неизменяема [Леви-Строс, 2001 б, с. 213–241]. Он утверждал: «Логика мифологического мышления так же неумолима, как логика позитивная и, в сущности, мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу» [там же, с. 242].

Однако если последовательно развить эту мысль, то получается, что изменения в культуре в принципе невозможны, революции – лишь иллюзии, и к тому же бессмысленные, ибо на самом деле ничего не меняют. Функция же интеллектуала вполне соглашается с девизом Спинозы: «Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать».

Фуко же будет настаивать на существовании исторических разломов. Действительно, в плане исторической реконструкции мы, кажется, всеядны и можем понять любую доктрину любого времени. Что сложного для нас, допустим, в идее человека как микрокосма, в котором взаимосплетены четыре стихии – огонь, вода, земля, воздух? Мы вполне можем воспроизвести это учение и объяснить, как из него следует, например, идея кровопускания для снижения температуры. Но если нам посоветуют пустить кровь в случае повышенной температуры, вряд ли большинство из нас воспримет этот совет всерьез и согласится последовать ему. Точно так же и в любой другой сфере – будучи в состоянии рассуждать о монархии как выражении божественной иерархии, мы вряд ли спокойно отнесемся к тезисам о желательности вернуть в настоящее время личную зависимость (особенно в варианте крепостного права) или к идее публичных казней. Есть уровень «истории идей» – и здесь мы всеядны. А за ним есть то, что показывает существование исторических разломов. Этот уровень функционирования общественных теорий обычно игнорируется.

Не случайно Фуко будет критиковать господствующий в XIX–XX вв. аппарат исследований гуманитарных явлений, который он называет «историей идей», и не согласится с его основными допущениями: значение, единство, оригинальность, творчество. Исследователи полагают, что человеческая культура едина, у нее есть устойчивое ядро (значение и единство), за счет которого и возможно понимание другой эпохи. При этом она реализуется в

разные эпохи у разных авторов особым способом (так как имеют место творчество и оригинальность). Сложилась интеллектуальная привычка описывать духовный ландшафт эпохи так, как любопытный путешественник описал бы обычный ландшафт: он отметил бы, что виден холм, далее долина, по которой течет река, и т.д. Аналогично историк идей говорит о наиболее влиятельной теории, ее различных интерпретациях и вариациях, а также о ее непримиримых оппонентах. И пользы от такого описания столько же, сколько от заметок путешественника, – оценим его наблюдательность, ум и изящество стиля. Другой, приехав в ту же местность, обнаружит другие детали. И только геолог, описав те тектонические процессы, которые и позволили ландшафту быть таким, и никаким другим, даст объяснение именно такой его конфигурации. Фуко и будет рассуждать о дискурсивной формации – т.е., по сути, потребует делать своего рода геологическое исследование исторических форм конфигурации знания. Здесь есть и еще более важный момент: в результате тектонических процессов ландшафт стал другим, и было бы странно говорить о преемственности старого и нового ландшафтов. Тем не менее в истории идей мы это делаем постоянно, мы привыкли искать источник идей еще на заре человеческой истории и прослеживать, как какая-либо идея проясняется в ходе исторического развития. Однако если иметь в виду исторические разломы, то нужно признать, что мы имеем дело с исторически определенными «очевидностями», по аналогии создаваемыми каждый раз иначе различными ландшафтами.

Ключевыми понятиями нового «геологического» подхода будут понятия высказывания и дискурса. Дискурс – «жест бессмертия без субстанции» [Фуко, 1996, с. 207]; именно безличное «мы» полагает в себе совокупность условий, в соответствии с которыми осуществляется практика (или взаимоотношения с миром, другими и собой). Это по сути «очевидность», в рамках которой мы двигаемся. «Дискурс является общностью очередностей знаков постольку, поскольку они являются высказываниями, т.е. поскольку им можно назначить модальности частных существований» [там же, с. 109]. Высказывание – не фраза, не пропозиция и не речевой акт, а «функция существования, принадлежащая собственным знакам, исходя из которой... можно решить, порождают ли они смысл, согласно какому правилу располагаются в данной последовательно-

сти... знаками чего являются и что осуществляется в процессе их формирования» [Фуко, 1996, с. 88]. Высказывания – это те самые геологические движения, создающие ту квазиреальность, в которой мы живем. Фуко и предлагает сосредоточиться на самой внутренней архитектонике, «организации» мира, результатом которой являются предложения и теории, описания и проверки. Эти предложения и теории, описания и проверки аналогичны ландшафту, открывающемуся перед нашим взором, – долинам, холмам, рекам. Еще раз повторим: задача реконструкции нашей «квазиреальности» – описание не ландшафта и взаимоположения его составляющих, а процесса его формирования, тех движений плит, пластов, потоков, которые совершились в процессе его формирования. Ведь благодаря этому и объясняется именно такой, а не другой облик ландшафта. Нужно не описать внешние взаимоотношения составляющих его единиц, а уловить способ его формирования, «высвободить в плотности дискурса условия его воспроизведения»¹. Это можно сделать, анализируя позитивность (единство в пространстве и времени материала, образующего предмет исследований) и понимая ее как архив, т.е. перечень высказываний, построенных по одним и тем же правилам. Тогда выявится каждый раз особое историческое априори только таких, а не иных высказываний. Поэтому Фуко сосредоточился на эмпирических исследованиях этих исторически ограниченных очевидностей. При этом для него будет важно, что их никак нельзя соотнести между собой, – они представляют как бы разные реальности. Никакого метаправила, которое позволило бы соотнести между собой разные реальности, нет. Между тем, находясь в плену «истории идей», мы полагаем, что речь идет лишь о различных выражениях одного и того же смысла, присущего всем людям. По Фуко, речь идет о создании каждой разреальности для нас, которая исчезнет, дав место другой.

¹ В русском слишком буквальном переводе сохранено французское слово «история»: «высвободить в плотности дискурса условия его истории» [см.: Фуко, 1998, с. 22] – такой перевод может ввести в заблуждение русского читателя, так как для слова «история» в русском языке значение «логика воспроизведения» (например, в словосочетании «история болезни») является дополнительным, а не ведущим, трактовка же в соответствии с основным значением наводит на мысль об исторической реконструкции, которую Фуко на предшествующих страницах введения резко критикует.

Тема «эффекта реальности» давно стала предметом серьезного обсуждения. И дело не только в пресловутой «виртуальной реальности» (хотя и это достаточно серьезная проблема); еще до тотальной виртуализации проблемность понятия «реальность» остро дала о себе знать. Проблемность этого понятия выражается в разных концепциях и терминах. Самые известные – это «симулякр» Ж. Бодрияра, «эффект реальности» Р. Барта, идея тотальности дискурса М. Фуко, «пустыня реальности» С. Жижека, «коммуникативная рациональность» Ю. Хабермаса и др. И если ряд авторов пытаются найти некое метаправило, которое бы позволило все-таки соотнести различные конструкции между собой, то Фуко и его последователи, а также ряд других философов политики (например, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Бодрияр) скептически относятся к самой такой возможности. Их нередко упрекают в игнорировании нормативных стандартов свободы и справедливости [см.: Taylor, 1984, р. 152–183; Fraser, 1989; Хабермас, 2003], с помощью которых можно было бы оценивать институты и политические действия.

Ю. Хабермас полагает, что никто не имеет привилегированного доступа к реальности, однако находит метаправило, по которому все «очевидности» можно соотнести между собой. Делает он это следующим образом. Наш исторически, культурно и т.д. размерный субъект, не имеющий доступа к реальности самой по себе, тем не менее способен выживать в этой «türyme языка». Как справедливо подмечают Ю. Хабермас и его адепты, даже имея дело только с языком, мы знаем, что можно пройти через дверь и нельзя пройти через стену. Язык не является абсолютно произвольной конструкцией – позволяя субъекту выживать, он «сопразмерен» миру.

К тому же необходимо заметить, что способен выживать не один-единственный человек, а многие люди. Потеряв ту самую реальность как единственную и равную самой себе независимо от интерпретаций, мы вновь обретаем ее через точки практического консенсуса. Ведь даже находясь «внутри интерпретации» мира, которая уже, правда, признана не абсолютно произвольной, а сопразмеренной миру (повторим, основной аргумент здесь – субъект в состоянии выживать, находясь в «türyme языка»), мы должны будем констатировать, что пусть другая, но столь же не абсолютно ошибочная интерпретация есть и у других выживших субъектов. При этом субъекты в состоянии взаимодействовать друг с другом.

Поэтому находимые «точки консенсуса» иногда могут быть неложными, связанными с устройством мира. Хабермас напрямую пишет об этом: «Если же мы сможем использовать в качестве предпосылки разработанную в одной из моих работ модель действий, ориентированных на взаимопонимание, то объективированная позиция, дающая познающему субъекту возможность ориентироваться как на самого себя, так и на сущности в этом мире, вскоре утратит свое привилегированное положение. Более того, в основание парадигмы понимания заложена перформативная позиция интерактивных участников, координирующих планы своих действий путем достижения взаимопонимания по поводу происходящего» [Хабермас, 2003, с. 307].

В результате такого хода на место трансцендентального субъекта ставится социальный квазисубъект, вводимый двумя положениями: первое – общее в конструировании мира субъектами не является произвольным, оно обязательно связано с сущью, с самим устройством мира; второе – практический консенсус субъектов, хотя и обладающих различно проинтерпретированными мирами, возможен; и он может выявлять действительное устройство мира. Отсюда нередко следует также вывод: все субъекты неизбежно имеют что-то общее в логике конструирования мира.

По сути это именно квазисубъект, поскольку он является «конструктом» успешной интеракции частных субъектов, и поэтому его «содержание» вполне может меняться. Оппоненты Хабермаса указывают на три слабых звена в этой вполне здравой на первый взгляд консенсусной конструкции. Во-первых, консенсус может быть абсолютно ложным. Опыт Германии времен фашизма вполне ярко показывает возможность этого ложного консенсуса. Во-вторых, исторический путь становления демократии весьма далек от проекта консенсуса: «Демократия существует не потому, что народ хотел ее и добивался широкого консенсуса по “базовым ценностям”, а потому, что разные группы держали друг друга за горло, пока не осознали обоюдную неспособность добиться господства и необходимость договориться» [Фливберг, 2000, с. 1]. В-третьих, как только мы в этой абстрактной модели заменяем абстрактных же коммуникантов на конкретных людей, которые прошли социализацию, и значит, техники власти являются техниками их поведения, мы оказываемся утопистами, пытаясь в коммуника-

ции преодолеть то, что, собственно, и «создает» человека конкретной эпохи. «Меня очень интересует то, что делает Хабермас; я знаю, что он нисколько не согласен с тем, что я говорю, – я же немного более согласен с тем, что говорит он, – и тем не менее есть кое-что, что всегда составляет для меня проблему: а именно, когда он наделяет отношения коммуникации столь важным значением и, прежде всего, функцией, которую я бы назвал “утопической”. Идея, что будет возможно такое состояние коммуникации, в котором игры истины смогут циркулировать беспрепятственно, без ограничений и принудительных воздействий, представляется мне относящейся к порядку утопии. Это значит не видеть, что отношения власти сами по себе не являются неким злом, от которого следует освободиться; я полагаю, что невозможно никакое общество без отношений власти, если понимать их как стратегии, посредством которых индивидуумы пытаются управлять другими» [Foucault, 1994, p. 726–727]. Однако идея, что включение в диалог все большего числа коммуникантов с добрыми намерениями в конечном итоге даст кристаллизоваться истине, тем не менее достаточно популярна. Фуко добавляет: «Проблематично не растворение [отношения власти] в утопически полностью прозрачной коммуникации, а намерение дать… власть закона, технику управления, а также этику… которые позволят играть во властные игры при минимуме господства» [ibid].

Не только Фуко настаивает на несоотносимости реальностей и невозможности метаправила. Выбирая различные стратегии обоснованности релятивизации наших взглядов на мир (например, «центрацию», которую необходимо преодолевать, как Ж. Деррида, или «разделение чувственного», как Ж. Рансье), сторонники данной идеи объявляют любую попытку поиска общности претензией на власть. В одной из своих последних работ Ж.Ф. Лиотар представил философское обоснование данного подхода. Он противопоставил распрю и судебную тяжбу¹. Судебная тяжба предполагает существование права, некоего мерила, с которым все должно быть соотнесе-

¹ Не случайно Лиотар говорит о тяжбе – Хабермас нередко рассуждает о судебных делах как примере ненасильственного консенсуса: «Судебные дела нужны для практического разрешения конфликтов в терминах взаимного понимания и желаемого согласия».

но, т.е. некоего метадискурса, притязывающего на привилегированный доступ к истине. На самом деле такого дискурса нет, поэтому выстраивание дискурса не стремится к образцу тяжбы, ища универсальных ориентиров. Опираясь на эти же идеи, К. Лефорт в работе «Политические образования в современном обществе» показывает, что современная политика в относительно свободных и демократичных обществах исключает возможности существования объединенной «воли народа» [Lefort, 1986]. Однако Фуко, в отличие от Лиотара, не предполагает «диссенса» в рамках одного дискурса, наоборот, все высказывания в рамках дискурса понимаемы всеми участниками. Разлом имеет место между разными дискурсами.

Фуко концентрирует внимание на проблеме движения индивидуального человеческого мышления в поле квазиреальности («власть-знание», «искусство жизни»), предлагая не превращать неизбежные отношения знания-власти в господство путем сохранения их прозрачности и изменчивости. Ведь эти правила «воспроизводства дискурса» – не правила, навязанные извне мышлению, но и не «новые идеи» и свободная креативность человека. Эти направляющие мышление каждого человека в обществе каналы и есть структуры и власти и знания – ведь речь идет о выстраивании «очевидности» каждого человека, за рамки которой он не может выйти. Власть – не насилие, а именно безличный «направитель» мышления людей. Все, что существует и функционирует в обществе – в том числе и общественные институты, и научные теории, – содержит в себе эту «очевидность». Причем речь идет не только о картине мира, но и о способах создания этой картины, которые являются алгоритмами нашего мышления, от которых оно неотделимо. Как суммировал Ж. Делёз, все в конечном счете политика.

Так понятая «очевидность» предполагает и иное понятие власти. Н. Фрэзер так суммирует заслуги Фуко: «К примеру, Фуко в своем описании устанавливает, что современная власть носит “производящий”, а не запрещающий характер. Этого достаточно, чтобы уйти от политики освобождения, согласно которой власть, в сущности, сводится к подавлению. Схожим образом Фуко доказывает, что современная власть имеет “капиллярный” характер: в социальных практиках повседневности она достигает нижней окончности социального тела. Этого достаточно, чтобы отбросить политические практики, предполагающие, что власть сосредоточе-

на главным образом в руках государства или экономики. Наконец, генеалогия современной власти, по Фуко, показывает, что эта власть соприкасается с человеческой жизнью через социальные практики в большей степени, чем через убеждения. Это в свою очередь помогает освободиться от политических представлений, направленных на разоблачение идеологически искаженных мировоззрений» [Fraser, 1981, p. 273].

Ю. Хабермас будет утверждать, что Фуко «понимает власть как взаимодействие ведущих войну партий, как децентрированную сеть реальных конфронтаций и, наконец, как продуктивное проникновение и субъективирующее подчинение реального противостояния. Но для нас важно, как Фуко в своей теории *сопрягает* эти осязаемые значения власти с трансцендентальным смыслом синтетических усилий, которые еще Кант приписал субъекту; именно усилия по достижению синтеза структурализм понимает как анонимные события, как чисто децентрированное, закономерное оперирование упорядоченными элементами надстроенной над субъектом системы» [Хабермас, 2003, с. 265]. Он будет говорить о систематической двусмысленности понятия власти у Фуко: «Оно приобретает, с одной стороны, невинность дескриптивного понятия, применяется для описания и служит *эмпирическому анализу* технологии власти, который с методической точки зрения далеко не случайно различают с рациональной, исторически ориентированной социологией знания. С другой стороны, в тайне истории своего возникновения категория власти сохраняет смысл теоретического базового понятия, которым эмпирический анализ технологий власти задает конститутивное значение этого концепта в контексте критики разума, а генеалогическая историография гарантирует, что разоблачит тайны власти» [там же, с. 283]. В том же духе высказывается и Н. Фрейзер, работы которой Ю. Хабермас упоминает: «В сущности, Фуко колеблется между двумя одинаково неадекватными позициями. С одной стороны, он принимает такую концепцию власти, которая позволяет ему осуждать любые элементы современности, с которыми он не согласен. С другой стороны, его риторика выдает уверенность в том, что у современности нет каких-либо аспектов, которые бы скомпенсировали осуждаемые. Ясно, что Фуко отчаянно нуждается в нормативных критериях, чтобы отличить приемлемые формы власти от неприемлемых» [Fraser, 1981, p. 287].

Фуко достаточно четко формулирует «соображения метода» – его интересует конкретное содержание властных отношений, и при этом «власть... никоим образом не может считаться ни принципом в себе, ни объяснительной ценностью, функционирующей сама по себе. Сам термин “власть” не указывает ни на что иное, как область отношений, которые следует проанализировать во всей полноте, и то, что я предложил назвать управлением, т.е. тем, что управляет поведением людей, есть не что иное, как установление сетки анализа этих властных отношений» [Фуко, 2010, с. 239].

Эмпирический анализ исторически разных властей М. Фуко начинает с создания «архива» – т.е. сбора высказываний, одновременных и поэтому обладающих единым историческим априори. Такими будут, например, возникновение госпиталя, публичной школы, военных парадов и новоевропейского естествознания. Вместо визитов врача (одного и того же, разумеется) к пациенту, которого он лечит давно и хорошо знает; визитов именно в связи с недомоганием и настолько частых, насколько это требует болезнь, врача, лечащего этого конкретного больного, мы имеем осмотр безличного пациента врачом, дежурящим в данный момент; врачом, который смотрит не на индивидуальность пациента, а на симптомы болезни, практически одинаковые у всех; врача, лечащего болезнь и собирающего статистические данные о лечении болезни. Школа тоже предполагает замену индивидуального общения учителя и ученика на безличный процесс передачи навыков и постоянный контроль за передачей навыков. Первый состоялся в 1666 г. при Людовике XIV и не проводился раньше. Дело в том, что более раннее войско (например, феодальное) состояло из воинов, многих из которых знают поименно и навыки которых уникальны; их действия на поле битвы планируются исходя из их особых характеристик и навыков. Даже если они проедут все вместе, «силы войска» мы не увидим. В XVII же веке казарма дает нам безличную обученную массу, именно массовость, вооруженность и обученность и составляют силу, и видны во время парада. Также и новоевропейское естествознание на место конкретной вещи ставит сетку законов, которым подчиняется и по которым описывается любая вещь, и ее «индивидуальность» совершенно непринципиальна для исследователя. Просматривается общий мыслительный ход – на место индивидуальной вещи ставится безличная сетка качеств, которые по-

зволяют эту вещь (ее поведение) описать; именно открытие (или формирование) этих качеств становится центральной проблемой.

Обезличенные навыки и их комбинативность; существование универсальной оценки любой вещи (в силу существования единой сетки их представления) – эти же моменты просматриваются и в организации мануфактур, и в идее представительства слоев в органах власти. Она же реализуется в нашем поведении: мы представляем себе модель, устройство общества – и осознаем свое социальное положение. Даже слова «социальное положение» указывают на существование этой пространственной модели.

И здесь важен еще один ключевой тезис Фуко – наш субъект политики тоже не един, он всегда конструируется особым образом в рамках каждой реальности. И индивид дисциплинарного общества, относящийся к определенному классу, голосующий за определенную партию, имеющий какую-либо долгосрочную стратегию и т.д., радикально отличается от «дивида» общества контроля. Тему «дивида» ввели в современную политическую философию Ж. Делёз и М. Фуко. Они говорят о том, что только и слышны разговоры о радикальном изменении современного общества и кризисе его институтов. В этом обществе, в отличие от предыдущего дисциплинарного, главное не производство, а маркетинг. Нет единого устойчивого эквивалента обмена, золота например, – есть курсы валют. Партии не представляют устойчивого класса или даже слоя – их электоральная база изменчива. Большинство работ о демократии, как форме правления, посвящены вопросу, как заставить ее работать. Критика распространяется на все институты старого буржуазного общества. Мы постоянно дискутируем о реформе школы, требуя от нее не снабжать всех одинаковым багажом знаний, а развивать учеников. Не школа и институт, как доступ к профессии и устойчивому социальному статусу, а непрерывное образование и переучивание становятся основной темой. Состязания, конкурсы и в высшей степени комичные совместные обсуждения отражают проектный характер мышления человека современной эпохи. Замена всеобщей воинской обязанности профессиональной армией – тоже вопрос повестки дня. Кризис семьи и изменения во взаимоотношениях полов, даже популярность серфинга – человека волнового, орбитального в потоке света и воды... – во всем этом явно чувствуется родство. Все новации в исследовании мира тоже «прониза-

ны» новой очевидностью, которая отличается от «очевидности» XIX в.

Точное описание поведения современного человека в этом обществе предложил Ф. Гваттари: «Город, где каждый может покидать свое жилище, улицу и т.д. при помощи электронной карты, которая устраниет то или иное препятствие, однако карта может быть отвергнута в произвольный день и час. Дело, однако, не в преграде, а в компьютере, который устанавливает местоположение каждого относительно местоположений других и осуществляет универсальную градацию» [Делёз, 1999, с. 101]. Или еще одна, более точная метафора – животное в заповеднике. Оно может делать все, однако в определенных забором пределах; при этом почему там забор, животному непонятно.

Авторы полагают, что вряд ли стоит говорить о большей свободе в современных обществах; скорее, современные общества вводят иные техники – техники контроля – на место старых дисциплинарных матриц. Мы стремимся быть лучше (идея постоянного образования и самообразования, совершенствования навыков и возможностей – одна из самых популярных регулирующих наше поведение сейчас идей), полагаем, что перед нами нет закрытых дверей, и в то же время соглашаемся, что выиграет не более умный и более трудолюбивый, а случайный человек в силу стечения обстоятельств. Если раньше были определенные мерки, которые как бы задавали ориентиры, единые для всех (например, было очевидно, что большая квалификация требует большей оплаты), и по ним человек ориентировался, то теперь любое стремление и усилие может как оказаться тщетным, так и быть успешным – и зависит все от «расклада» в данный момент. Поэтому индивид становится «дивидом» – он делает что-либо, однако в любой момент готов пересмотреть свою стратегию, проблематизировать себя прежнего и действовать иначе. Не случайно именно ирония, готовность отстраниться от всего становится самой модной интеллектуальной привычкой. Индивид что-либо делает и сам себе как бы не верит, готов быть внешним по отношению к себе самому – не целым, «неделимым» (индивидом), а разделенным, «дивидным».

Для него нет невозможного – и нет обязывающей власти прошлого (условий, традиций и т.д.). Например, не стыдно менять убеждения и принадлежность к партиям – партии воспринимаются

как трамвай, который довозит до нужной точки. Специфику современного мышления лучше всего выражает понятие «проект». Есть целеполагание и хороший менеджмент, диктующие возможный выигрыш. Но возможен и проигрыш, ибо менеджмент других окажется лучше – при этом никакой общей оценки менеджмента по-просту нет, а возникающий круг в объяснении (выигрывает более успешный менеджмент – но его успешность измеряется единственным этим выигрышем) никого не смущает. Поэтому человек в современном обществе, мыслящий все в модели проекта, менеджмента, подобен животному в заповеднике – оно чувствует себя почти «свободно», но знает, что есть границы, за которые зайти нельзя. Однако логика прокладывания этих границ ему не понятна. Он стремится соответствовать – не зная чему; в идее такого соответствия – суть современных импульсов поведения человека, равно как и в готовности все отринуть и меняться вплоть до полного отрицания только что сделанного.

Что же мы можем сказать о специфике политического участия в современном обществе?

Очевидно, что поведение «дивида» реализуется в парадигме «Why not?». Он может принять участие в различных проектах просто из любопытства и также довольно быстро от них отказаться. При этом наш «дивид» не идентифицирует себя жестко с определенным социальным слоем или группой, организующей подобное мероприятие. Даже политическая организация для него – скорее трамвай, на котором он проехал и вышел на нужной остановке; как только он вышел, за предшествующий отрезок он ответственности не несет. Смена партий и организаций, вплоть до придерживающихся противоречащих предыдущим взглядов, выглядит для «дивидов» в современном обществе абсолютно нормальной. Главное для него – существование альтернатив, которое превращается в самоцель.

Кроме того, ценность придается новизне проекта, и экзотичность самой идеи или ее оформления становится весомым аргументом в пользу участия. Вспомним пример первомайских «монстраций» с лозунгами вроде: «Бабам цветы, детям мороженое!». Вся политическая коммуникация проникается этим духом необычного и неожиданного. Способом принизить оппонентов становятся «фотожабы», а для демонстраций каждый стремится изобрести неожиданный, креативный лозунг.

Наконец, эта попытка постоянного «соответствия не знаю чему» порождает такое специфическое явление современного мира, как «анонимная диктатура». «Дивиды», выстраивая проекты и сочтя какую-либо стратегию успешной, начинают действовать сходным образом и ждут от окружающих именно таких, а не других действий; тот же, кто не хочет включиться в эту гонку, рассматривается как человек, который не хочет развиваться, совершенствоваться, быть свободным. Людей никто конкретно не заставляет включаться в эту гонку (хотя, конечно, не исключено и целенаправленное вбрасывание «образцов успешности»), но они действуют дружно, осуждая любого, действующего иначе. Диктатора нет, а диктатура есть. Этим, например, легко объяснить истерию насаждивания ценностей западной демократии. Эти ценности – не идеологическое прикрытие, ведь большинство «дивидов» Западной Европы считают демократию успешным проектом и требуют от других его и только его реализации; любой отказывающийся от данного проекта автоматически будет идиотом. Работает «анонимная диктатура».

Таково политическое поведение в обществе контроля, отличающееся от общества дисциплины с его партиями, классовой борьбой, попытками систематически повысить свой социальный статус и т.д. Конструкты, действенные в рамках одной реальности, не адекватны для описания другой.

Кажущаяся свобода и мягкость власти общества контроля на самом деле не означают отсутствия власти при всей его а-властности. Что можно этому противопоставить?

И здесь мы вновь вернемся к критике классического структурализма. Напомним, Леви-Строс предполагает существование единого алгоритма человеческой культуры. В таком случае, допустим, и апологетика, и критика режима собственности будут реализацией одного и того же алгоритма, будут по сути лишь воспроизводить его. Но трудно согласиться с отношениями собственности, существующими в современном обществе. Что же делать в условиях, когда любой теоретический анализ, любая теоретическая критика отношений собственности будет продуцированием связи знаков по тем же правилам, по которым выстраиваются отношения собственности? Фуко, релятивизировавший этот алгоритм, подчеркнувший существование исторических разрывов, заметит, что исторически

ограниченный алгоритм не исключает существования «маргинальных суждений». Часть возникает без специальной воли: например, в рамках учения о четырех стихиях, согласно которому болезнь есть нарушение в данном микрокосме, понятие «инфекция» невозможно. Однако все знают, что во время эпидемии лучше уехать из охваченного ей города или деревни. Это суждение, не противоречащее дискурсу, но из него не следующее. Именно возможный резонанс различных маргинальных суждений может привести к складыванию нового дискурса. Часть же маргинальных суждений можно породить целенаправленно. Всякое членение мира – это уже дискурс «власти-знания». Нужен кардинальный сдвиг, который позволит увидеть, какова же стратегия этого дискурса власти, изобличить ее очаги. Эта маргинальность позволяет создавать новые практики.

Создание новых очагов власти, новых практик стало неотъемлемой частью философий жизни М. Фуко. Однако создаются не только новые практики – в их рамках выкристаллизовываются и новые формы политического действия. Ярким примером является «Группа информации о тюрьмах», цель которой М. Фуко видит следующим образом: «Надо, чтобы информация переливалась через край; индивидуальный опыт надо трансформировать в коллективное знание, т.е. в знание политическое» [Фуко, 2002, с. 66]. Для распространения информации успешно испробуется-создается сетьевая форма взаимодействия.

Кратко подытожим сказанное. Базируясь на идее исторических разломов, исторически ограниченных очевидностей, Фуко пытается представить те практики управления людьми, которые в них осуществляются. При этом Фуко не нужно никакое трансцендентальное понятие о власти или субъекте – его интересует именно сплетение микропрактик, дающее определенную, уникальную очевидность, и, соответственно, конфигурацию власти-знания. Это позволяет ему говорить о практиках власти не только на уровне государственного управления или экономического господства, но и на уровне повседневности. Это в корне меняет и тактику отношений с властью – маргинализация, создание возможных очагов иного дискурса является эффективным средством ее разоблачения. И для Фуко возможно тесное сплетение философской и политической работы.

Список литературы

- Делёз Ж. Общество контроля // «Z». – М., 1999. – № 1. – С. 101–102.
- Леви-Строс К. Структура и форма. Размышление об одной работе Владимира Проппа // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – С. 121–152.
- Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. В.В. Иванова. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 512 с.
- Флишберг Б. Хабермас и Фуко – теоретики гражданского общества // Социологические исследования. – М., 2000. – № 2. – С. 121–135.
- Фуко М. Археология знания. – Киев: Ника-Центр, 1996. – 206 с.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984: В 3 ч / Пер. с фр. С.Ч. Офергаса; под общ. ред. В.П. Визгина, Б.М. Скуратова. – М.: Практис, 2002. – Ч. 1. – 381 с.
- Фуко М. Рождение биополитики. – СПб.: Наука, 2010. – 448 с.
- Фуко М. Рождение клиники. – М.: Смысл, 1998. – 310 с.
- Хабермас Ю. Философский дискурс модерна. – М.: Весь мир, 2003. – 416 с.
- Foucault M. l'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté // Dits et écrits: 1954–1988. – Paris: Gallimard, 1994. – Т. 4: 1980–1988. – P. 726–727.
- Fraser N. Foucault on modern power: empirical insights and normative confusions // Praxis international. – 1981. – Issue 3, N 3. – P. 272–287.
- Fraser N. Unruly practices. Power, discourse and gender in contemporary social theory. – Minneapolis, MN: Minnesota univ. press, 1989. – 366 p.
- Lefort C. The political forms of modern society: Bureaucracy, democracy, totalitarianism. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1986. – 380 p.
- Taylor C. Foucault on freedom and truth // Political theory, 1984. – Vol. 12. – P. 152–183.

РАКУРС: ДОСТИЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ПОЛИТОЛОГИИ

О.Г. ХАРИТОНОВА

ЧТО МЫ ЗНАЕМ И НЕ ЗНАЕМ О ПЕРЕВОРОТЕ КАК СПОСОБЕ СМЕНЫ РЕЖИМА?¹

Политические режимы могут меняться вследствие гражданских войн и повстанческих действий, переворотов, революций, реформ (включая демократизацию и дедемократизацию) и действий внешних акторов. В течение длительного времени перевороты были главным инструментом смещения диктатора, поэтому их приравнивали к регулярной смене власти в авторитарном режиме, который не предоставляет других возможностей для замены лидера. Перевороты – наиболее изученный тип режимных изменений, так как они происходили очень часто и во всех регионах мира.

Политологи, занимающиеся политическими режимами, интересуются влиянием попыток переворота на выживаемость авторитарных лидеров и прогнозируют вероятность распада режима через анализ риска переворотов. Исследователей протестных движений интересуют динамика политических процессов и связь между попытками переворотов и гражданскими войнами, революциями и конфликтами. Перевороты могут быть следствием и катализатором гражданских конфликтов, провоцировать нестабильность и нарушать основы государственной состоятельности,

¹ Статья написана в рамках проекта «Transit versus transformation: comparing paths to democratic change in the former USSR using case study based evidence from civil society, international aid and domestic politics» (PIRSSES-GA-2011-295232).

поэтому в исследованиях стабильности попытки переворота становятся ключевым индикатором политической нестабильности. Транзитологи изучают перевороты, которые, с одной стороны, приводят к демократизации, а с другой – останавливают процесс транзита. Международники изучают роль внешних акторов при попытках переворотов.

В данной статье анализируется уровень научного знания о переворотах, о связи между политическими режимами и переворотами, о факторах, увеличивающих риск переворота, о влиянии попыток переворотов на демократизацию.

Проблемы изучения переворотов

Несмотря на большой интерес и огромное число исследований, ученые так и не смогли решить проблемы концептуализации и операционализации переворотов. В 1970 г. Уэлч утверждал, что переворот – отчетливое событие, которое легко датировать и в случае успеха легко документировать [цит по: Powell, Thyne, 2011, р. 249], но на этом легкость изучения переворотов заканчивается.

Пауэлл и Тайн проанализировали 14 имеющихся баз переворотов и продемонстрировали разные подходы к концептуализации: разные цели (только лидер или вся элита), участники (только армия или часть действующего правительства), разные стратегии, неодинаковый уровень насилия и разный результат [ibid, р. 250]. Они сделали вывод об отсутствии согласованного определения переворотов, позволяющего отличить перевороты от других способов смены власти. Пауэлл и Тайн определяют перевороты как «нелегальную попытку военных и других элит свергнуть действующего лидера» [ibid, Р. 252]. Это определение содержит цель (лидер режима), состав участников (члены элиты, государственный аппарат, обычно армия) и способ (нелегальный), что позволяет отделить перевороты от других способов смен режима – революций, гражданских войн, протестных движений, внешних интервенций, автореволюций и политических убийств. Автор классического пособия по проведению переворотов Люттвак писал, что для осуществления переворота нужно привлечь небольшую, но критическую часть государственного аппарата, достаточную для смеше-

ния правительства, и не требуется ни участия масс, ни широкого участия армии [Luttwak, 1968, р. 11–12].

По результату перевороты имеют много общего с восстаниями, причем перевороты могут перерасти в восстания, поэтому некоторые авторы включают в список переворотов и повстанческие действия «снизу» [Marinov], что размывает содержание переворотов. В своих исследованиях Н. Маринов анализирует только успешные смены власти, соответствующие двум критериям – неконституционности и использованию силы, поэтому акторами могут быть и повстанческие лидеры, не имеющие отношения ни к действующему правительству, ни к армии [Marinov, 2012].

Чтобы отличить перевороты от революций, некоторые авторы добавляют признаки, относящиеся к тактике проведения переворотов, так как главными преимуществами переворота по сравнению с другими способами свержения режима считается скорость¹, внезапность и минимальное применение насилия [O'Kane, 1981; McGowan, Johnson, 2003; Kebshul, 1994]. Некоторые авторы даже говорят о переворотах как о самом мирном и эффективном способе смены режима [Powell, Thyne, 2011; McGowan, Johnson, 2003; Kebshul, 1994]. Однако если ранжировать перевороты по уровню насилия (отсутствие, случайно, значительно, гражданская война), перевороты распределяются следующим образом: 63, 18, 13 и 6% [Zimmerman, 1979], что свидетельствует о мирном характере только части переворотов. Поэтому если число жертв в перевороте превышает 25 и 1000 (с двух сторон), они часто оказываются в базах вооруженных конфликтов (база Уппсальского университета) и гражданских войн (проект Корреляты войны), соответственно.

Еще одна концептуальная проблема – разграничение между успешными и неуспешными переворотами. Так как целью переворота является смена действующего режима, успешным будет переворот, приведшей к достижению этой цели. Успех переворота не определяется ни свержением авторитарного режима, ни установлением демократии, хотя ряд авторов различают недемократические (ведущие к установлению нового авторитаризма) и демократические (ведущие к демократии) перевороты [Varol]. Характеризуя перево-

¹ Через 48 часов обычно заканчивается успехом или провалом организаторов [Kebshul, 1994, р. 566].

роты, Люттвак писал, что они не требуют никакой политической ориентации и не предполагают определенной политики после осуществления [Luttwak, 1968, р. 11–12].

Успешным вслед за У. Томпсоном принято считать переворот, после которого новый режим удержал власть минимум неделю [Kebshul, 1994, р. 567], даже если на восьмой день они их свергают в ходе контрпереворота или интервенции. Большинство исследователей следуют семидневному критерию, однако в базе М. Маршалла этот период продлен до одного месяца [Marshall, 2013]. Неуспешными, следовательно, считаются начавшиеся перевороты, в которых военным не удалось продержаться одну неделю (или один месяц у М. Маршалла).

Успешный переворот может привести только к смене лидера и высшего эшелона власти и сохранить действующий авторитарный режим, а после неуспешного переворота могут последовать отставка лидера и системная трансформация. Причины, вызвавшие попытки переворота, независимо от результата могут быть одинаковыми, поэтому неуспешные перевороты не менее важны для изучения динамики политических процессов. Большинство исследователей рассматривают только успешные перевороты, так как сложно изучать неуспешные перевороты в авторитарных режимах: если организаторам не удалось покинуть страну, их ждут репрессии, поэтому исследователям придется анализировать одностороннее видение переворота действующим режимом. По меньшей мере половина переворотов (50,4%) заканчивалась неудачей в период с 1950 по 2009 г., причем после «холодной войны» число неудачных переворотом значительно превысило число удачных: только в период с 1990 по 1992 г. Кебшул насчитал 38 попыток переворотов, 12 удачных и 26 неудачных [Kebshul, 1994, р. 569].

Еще один неизученный сегмент явления относится к заговорам, которые не приводят к попытке переворота. Раскрытие заговоров или предотвращенные перевороты не относятся к неуспешным переворотам, и их редко изучают. В базе Маршалла в период с 1946 по 2013 г. было 201 успешный переворот, 322 неуспешных переворота, 142 раскрытых заговора и 33 случая обвинений в подготовке переворота [Marshall, 2013]. Заговоры в авторитарных режимах изучать еще сложнее, чем неуспешные перевороты. Во-первых, на основе официальной прессы сложно отличить ре-

альный заговор от вымышленного, направленного на устранение нелояльных членов элиты. Во-вторых, в интересах авторитарного режима будет скрытие даже реального заговора и неуспешной попытки переворота, так как любое свидетельство раскола режима может поставить под сомнение его легитимность (подробнее о неуспешных переворотах см.: [Kebshul, 1994]). Таким образом, исследователи вынуждены изучать предпосылки успешных и неуспешных переворотов и тактику успешных, тем самым уменьшается число релевантных наблюдений. Это меняет исследовательские вопросы.

Как отметила Розмари О'Кейн, главный вопрос – не почему происходят успешные перевороты (глупцы могут организовать их в любое время), а при каких условиях попытки будут успешными. Для этого нужно анализировать не только успешные, но и подлинные (соответствующие критериям), но неуспешные перевороты [O'Kane, 1981]. Проблема заключается в выделении таких «подлинных» попыток.

Структурные факторы переворотов

Среди глобальных и региональных сравнительных исследований переворотов преобладает структурный подход, в рамках которого рассматриваются различные предпосылки, факторы и условия, которые способствуют попыткам переворота. Структуралисты выявляют причинно-следственные связи между социальными, экономическими и иными контекстуальными переменными и риском переворотов. Такие связи понимаются как структурные предпосылки переворотов, обусловленные влиянием определенных структур, а не намерениями и действиями акторов. Статистическая значимость становится главным критерием для оценки влияния независимых переменных, в основном социально-экономических благодаря простой операционализации. Результатом количественных исследований обычно становится набор объективных социально-экономических условий, делающих вероятным перевороты. Однако структурный подход исключает индивидуальные и коллективные мотивы акторов, которые могут использовать структурный потенциал и осуществить переворот.

Как писала О'Кейн, «переворот – не романтическое событие, а радикальный ответ на нестабильную и часто безысходную экономическую ситуацию» [O'Kane, 308]. Нестабильность и безысходность являются следствием нелегитимности и / или неэффективности действующего режима [Londregan, Poole, 1990; Belkin, Schofer, 2003; Powell, Thyne, 2011, 2015], а переворот становится одним из способов смены такого режима. Условиями, способствующими переворотам вследствие дестабилизации и подрыва легитимности правящего режима, по мнению Люттвак, являются затяжной экономический кризис, длительные неуспешная военные действия или поражение в войне и хроническая нестабильность [Luttwak, 1968, р. 17]. Легитимность режима (в широком понимании – как поддержка режима обществом) может быть следствием прихода к власти принятым в обществе способом, выигрыша в войне, в том числе в гражданской, длительного существования, делающего режим «естественным порядком» в глазах населения, и ответа на устремления населения. Таким образом, легитимность является результатом взаимодействия общественных потребностей и ответа на них со стороны государства. Однако правительство может целенаправленно легитимизировать режим только в глазах армии и добиваться ее лояльности [Collier, Hoeffer, 2005], что должно стать гарантией от попыток переворотов со стороны армии.

Большинство исследователей начинают с проверки модернизационных гипотез о связи риска переворотов, доходов и экономического роста. Еще С. Хантингтон утверждал, что «современность порождает стабильность, а модернизация порождает нестабильность» [Huntington, 1968, р. 41], и перевороты чаще происходили, когда ухудшались экономические условия, чем в годы роста доходов [Huntington, 1968, р. 56]. Лондриген и Пул эмпирически показали, что перевороты (проявление нестабильности) негативно связаны и с уровнем дохода (компонент современности), и с темпами экономического роста (компонент модернизации). В бедных странах перевороты происходят в 21 раз чаще, чем в богатых¹. По их мнению, даже у авторитарных режимов есть стимулы для достижения экономического роста, причем главным стимулом будет не

¹ Они исследовали 121 страну в период с 1950 по 1982 г.

забота о благополучии граждан, а стремление избежать свержения [Londregan, Poole, 1990].

Еще одно структурное условие, вызывающее конфликты и рост массовых требований «снизу» и как результат приводящее к переворотам, – экономическое неравенство. В исследовании М. Сволика уровень экономического неравенства сначала увеличивает, а потом уменьшает вероятность военного вмешательства (в форме обратного U-изгиба) [Svolik, 2012, ch. 11].

Кольер и Хоффлер изучили стимулы для насильтвенной смены режима и продемонстрировали, что мотивы алчности и лишений, свойственные акторам бунтов и гражданских войн, имеются и у организаторов переворотов, причем ограничителей у последних будет намного меньше [Collier, Hoeffler, 2004, 2005]. Лишения могут иметь экономический, политический и социальный характер и связаны с исключением определенных групп населения, поэтому лишения приводят к восстаниям и гражданским конфликтам. В случае переворота армия будет артикулировать идеи либо достижения общего блага (свержение неэффективного коррумпированного правителя), либо блага для армии¹. Мотивы алчности армии усиливаются, так как после успешного переворота новый лидер получит доступ не только к ресурсной ренте и внешней помощи, но и ко всему бюджету страны [Collier, Hoeffler, 2005].

Итак, определенные структурные факторы (неравенство, экономические проблемы) вызывают требования к разрушению снизу, и перевороты являются следствием роста массовых протестных настроений. Условия для переворотов можно найти в преимущественно бедных сырьевых странах [O'Kane, 1981]. В модели О'Кейн успешный переворот связан с бедностью, экспортной специализацией, зависимостью от доходов от экспорта [ibid]. М. Росс, изучая причинно-следственные механизмы связи «нефть – авторитаризм», выделял три эффекта: эффект рантье, эффект репрессий и эффект модернизации. Эффект репрессий означает, что ресурсообеспеченность позволяла действующему лидеру увеличивать расходы на поддержание внутренней безопасности страны и блокиро-

¹ По мнению Кольера и Хоффлер, идеи общего блага вызывают проблему безбилетника, а проблемы армии не волнуют граждан, поэтому такие мотивы будут отсутствовать в восстаниях [Collier, Hoeffler, 2005].

вать протестные устремления населения [Ross, 2001]. Это обеспечивало стабильность диктатуры. Однако ресурсное богатство также мотивирует оппозиционные группы, в том числе армию, на силовой захват власти, включая перевороты [Acemoglu, 2010]. Из-за разнонаправленного влияния исследователи не находят устойчивой связи между нефтяным богатством и попытками переворотов, хотя некоторые исследования показывает противоположное влияние местонахождения добычи нефти (оффшор или материковая часть) на связь между нефтью и попытками переворотов [Nordvik, 2014].

Методологически структурные исследования представляются корректными, так как большое число переворотов в XX в. позволяет исследователям избежать проблемы «слишком много переменных, слишком мало казусов». Однако сложности в концептуализации и операционализации переворотов, в определении успешных и неуспешных переворотов и использование разных данных делают результаты исследований несравнимыми между собой. По мнению Кинга и Зенга, такие популярные статистические методы, как логистическая регрессия, могут недооценить вероятность редких событий [King, Zeng, 2001, р. 138]. Несмотря на большое число переворотов, перевороты являются редкими событиями: так, в базе Маршалла на 9129 наблюдений приходится 322 попытки переворотов [Marshall, 2013]. Махони и Герц считают, что для достижения лучших результатов (при изучении редких событий) необходимо использовать принцип возможности, и включить в исследование казусы, релевантные по значению хотя бы одной независимой переменной, и исключить казусы, которые имеют значение переменной, которое делает исследуемый результат невозможным. Такой метод позволит увеличить число наблюдений, отделить негативные наблюдения (в которых редкое событие теоретически могло бы произойти) от иррелевантных и, возможно, прийти к более достоверным результатам [Mahoney, Goertz, 2004, р. 657]. С целью преодоления проблем количественных исследований некоторые авторы используют новый сравнительный метод – качественный (конфигурационный) сравнительный анализ (QCA), позволяющий выделить сочетания необходимых и достаточных условий военных переворотов. Однако пока результаты анализа выделяют уже известные конфигурации социально-экономических факторов [Aragay, 2011].

Процедурные факторы переворотов

Представители процедурного подхода объясняют перевороты через мотивы и возможности ключевых акторов и стратегию проведения переворотов независимо от контекста. В результате они фокусируются на объяснении отдельных казусов либо сравнении нескольких казусов региона, что придает их исследованиям описательный характер.

Действительно, структурные условия часто являются всего лишь пусковыми механизмами для попыток переворота, а режимам удается пережить эти попытки не из-за отсутствия условий, а благодаря лояльности армии диктатору. Организаторы переворота могут нарушить предопределенную контекстом логику развития или потерпеть неудачу из-за тактических или стратегических ошибок [примеры см.: Kebshul, 1994], однако именно контекст предоставляет разным акторам ресурсы и возможности для поведения переворотов. Без определения контекста сложно оценить потенциал акторов и проанализировать невозможность реализации намерений, причем поведение других акторов также становится важным контекстуальным фактором.

В 1964 г. С. Файннер объяснял военные перевороты через анализ субъективных и объективных факторов, мотивов и возможностей для военного вмешательства в политику. Он представил четыре возможных сочетания данных факторов: отсутствие вмешательства (когда нет ни мотивов, ни возможностей или когда нет мотивов, но есть возможности), вмешательство (есть оба фактора), неудачное вмешательство (нет возможностей) [цит. по: Brooker, 2000, р. 60]. Мотивами для осуществления переворота могут стать национальные интересы (определяемые в зависимости от ситуации), корпоративные интересы армии, индивидуальные интересы участников и групповые интересы (класса, этноса и пр.) [ibid, р. 62–65]. Препятствовать перевороту могут вера в гражданское правление, страх перед неудачей переворота, нежелание политизации армии и нежелание повторения неудач военного режима [ibid, р. 66–67]. К возможностям Файннер относил отсутствие легитимности, зависимость гражданского правительства от армии и дискредитацию действующего режима (из-за проводимой политики, кор-

руппии и пр.), популярность армии и политическую культуру, принимающую военное правление [Brooker, 2000, р. 66–67, 72].

В отличие от массовых восстаний и гражданских войн для проведения переворота нет необходимости в поиске финансирования, так как организаторы могут использовать подготовленную армию прежнего режима. Однако нелегальный характер военного вмешательства и необходимость нарушения присяги создают главное препятствие для организаторов переворота, которые ставят своих подчиненных перед нелегким выбором между верховным и непосредственным руководством, между субординацией и дисциплиной и сохранением чести армии. Такой выбор подрывает организационное единство и внутреннюю сплоченность армии, а значит, и организационный потенциал для проведения переворота и для управления новым режимом. Высшие ценности для военных – сохранение единства армии и ее эффективность. Любые другие цели (обеспечение территориальной целостности, порядка или свержения диктатора) можно достичь только сплоченным, дисциплинированным фронтом.

Исследователи различают корпоративные и фракционные перевороты, отличия между которыми заключаются в потенциале, но не в методах организации. 80% всех переворотов были фракционными, причем только половина фракционных переворотов были успешными [ibid, р. 67]. При корпоративных переворотах армия действует как единый корпоративный механизм, при фракционных – одна группа армии организует переворот, а вторая принимает решение о поддержке. Это решение моделируется игрой «свидание»¹, при которой наилучшим результатом будут совместные действия или совместное бездействие. Согласно Хантингтону, после прихода к власти организационная группа фрагментируется на маленькие клики, обычно на две широкие фракции умеренных и ради-

¹ Игра «свидание» демонстрирует, что для военных, в первую очередь, важно сохранить единство армии, независимо от совместно принятого решения, оставаться ли в казармах (вернуться ли в казармы) или вмешаться в политику. Для достижения единства необходимы координация и объединение усилий всех фракций. Соответственно, вмешательство армии в политику (переворот) будет тщательно спланировано и проведено в сотрудничестве со всеми основными фракциями. При отсутствии поддержки со стороны других фракций попытки переворотов, организованные другими силами, будут повторяться [Geddes, 1999].

калов (legalistas и gorilas), и главный раскол заключается по отношению к возвращению власти гражданскому режиму [Huntington, 1968, p. 231].

Процедурный подход позволяет выделить три фазы переворота: подготовительную, организационную (собственно переворот) и распределительную (распределение постов после переворота). Классические работы в области проведения переворотов [Farcau, 1994; Luttwak, 1968] анализировали стратегию и тактику проведения переворотов и поведение акторов на разных этапах. Во время подготовительной фазы небольшая инициативная группа определяет план действий и договаривается об обязанностях в ходе проведения переворота и действиях после переворота (Trabajos – работа и Compromisos – договоренность [Farcau, 1994]). Организационная фаза включает «пробный шар» (действия одной боевой единицы армии, Accion), публичное объявление о перевороте с объяснением цели и призывом к поддержке (Pronunciamiento или Grito, крик [*ibid*]) и захват власти. В случае успеха второй фазы наступает третья, в ходе которой формируется новое правительство и назначаются члены новой правящей хунты.

Способ получения власти разрушает основу легитимности нового режима [Collier, Hoeffler, 2005], легитимизируя новые свержения, поэтому перевороты часто порождают контрперевороты, а режимы оказываются в «ловушке переворотов». Хантингтон также говорил, что после первого переворота (независимо от типа: вето-переворота и переворота-прорыва) часто следуют консолидирующие перевороты [Huntington, 1968, p. 231]. Механизм «ловушки» объяснил П. Коллер: «Перевороты уничтожают главный ограничитель для новых переворота (легитимность режима), поэтому общества сползают в черные дыры повторяющихся режимных изменений, спровоцированных армией» [Collier, Hoeffler 2005]. По мнению Лондрегана и Пула, успешный переворот подрывает нормы политической культуры, и требуется долгое время для ее оздоровления [Londregan, Poole, 1990]. Предыдущий опыт переворотов является важным фактором, объясняющим риск переворотов (попытки переворотов, но не успех переворотов) во многих структурных исследованиях [Belkin, Schofer, 2003]. В исследовании О'Кейн тремя основными факторами, препятствующими переворотам, будут небольшой временной интервал после обретения не-

зависимости, отсутствие опыта переворотов и наличие внешней армии на территории [O'Kane, 1981]. При наличии третьего препятствия Люттвак в свое время советовал получить разрешение на переворот от внешних акторов [Luttwak, 1968, р. 32]. Другие барьеры создают независимые институты и развитое гражданское общество [Sharp, Jenkins, 2013].

Перевороты и политические режимы

Авторитарные режимы подвержены риску переворота сильнее, чем демократические. Так, в исследовании Пауэлла и Тайн только 16,9% переворотов произошли в демократиях (странах, имеющих рейтинг Полити выше «плюс 5»), а 44,2% переворотов были организованы в жестких авторитарных режимах (с рейтингом ниже «минус 5») [Powell, Thyne, 2014].

В последней версии базы авторитарных режимов Б. Геддес в период с 1946 по 2010 г. произошло 223 смены авторитарных политических режимов. Согласно Пшеворскому, для смены режима необходимы либо раскол в элите, либо движение «снизу», причем они будут взаимно дополнять друг друга, так как раскол в элите будет стимулировать мобилизацию массовой оппозиции, а движение «снизу» обязательно вызовет раскол в элите. Поэтому «динамика распада режима представляет собой спираль из внутренних расколлов и народной мобилизации» [Пшеворский, 2013, с. 426].

В период с 1946 по 2010 г. большинство (35%) изменений авторитарных режимов произошло вследствие¹ военных переворотов. Другие варианты включали проигранные лидером выборы (13%)², ненасильственные протестные действия «снизу» (17%), организованный вооруженный конфликт³ (8%), действия внешних акторов (5%), распад государства (2%) и иные изменения, иниции-

¹ Подсчеты автора. Источник: B. Geddes, J. Wright, E. Frantz. Autocratic Regimes. Version 1.2.

² В эту категорию не входят случаи, когда военная хунта передавала власть гражданским и партия / группа лидера не участвовала в выборах (14%).

³ Организованный вооруженный конфликт в базе авторитарных режимов включает гражданские войны, революции и другие насилиственные акты сопротивления авторитарному режиму.

рованные «сверху» (8%). Именно частота переворотов и других действий инсайдеров режима привела многих исследователей к утверждению, что основные угрозы выживаемости диктатуры исходят от сторонников режима [Geddes, Wright, Frantz, 2014; Svolik, 2012], поэтому главной задачей диктатора является их предотвращение. Исследования потери власти показывают, что нерегулярная потеря власти свойственна, в основном, персоналистским режимам (более 63%) и военным режимам (50%) и монархиям (37%) [Escribà-Folch, 2013, р. 165]. Двумя нерегулярными способами отстранения лидера являются действия инсайдеров (включая перевороты) и действия аутсайдеров (включая массовые протесты и восстания). В исследовании Кендалл-Тейлор в период между 1950 и 2012 гг. 473 авторитарных лидеров потеряли власть, причем переворот был самым частым способом потери власти (153 случая), но только в 20% случаев это привело к демократии [Kendall-Taylor, 2014, р. 35]. Исследования показывают, что режимы, неуязвимые для попыток переворотов, могут не опасаться революций, так как пока лидеры могут сохранить лояльность армии, их революционно настроенные оппоненты не имеют шансов на свержение лидера [Belkin, Schofer, 2003, р. 595].

Количественные исследования демонстрируют, что военные режимы обычно приходят на смену демократиям, многопартийным авторитарным режимам или анархии [Magaloni, Kricheli 2010, р. 130–131]. В исследовании М. Сволика армия организовала 86% переворотов, приведших к власти новых лидеров, и 59% военных лидеров пришли к власти через переворот [Svolik. 2012, ch. 11].

Каждый тип авторитарного режима имеет свою логику выживания и отличительную внутреннюю динамику, поэтому каждому более свойственны разные альтернативы смены лидера и режима. В базе Б. Геддес только 19% переворотов, сменивших политический режим, произошло в военных режимах, по сравнению с 27% переворотов в однопартийных режимах и 51% в персоналистских режимах¹. В исследовании Магалони армия представляет большую угрозу как для гражданских диктатур (28% гражданских диктатур сменились военными), так и для демократий (в 67% случаях демократии распались из-за действий военных) [Magaloni, 2010].

¹ В данную категорию включены монархии.

В персоналистских режимах лидер контролирует свою клику, армию, аппарат безопасности и всегда, даже превентивно, может наказывать за нелояльность режиму, поэтому в таких режимах редко (30% по базе Геддес) осуществляются успешные перевороты. Однако персоналистский режим обычно распадается после смерти лидера вследствие слабой институционализации и сосредоточенности на личности лидера, поэтому большинство смен режимов после переворотов и произошло в таких режимах, на смену персоналистскому приходили военные режимы.

Однопартийные и военные режимы лучше институционализированы, поэтому успешные перевороты только меняют лидера, но сохраняют действующий порядок. Если на смену одному авторитарному режиму приходит другой авторитарный режим, то избежать наказания могут 49% военных лидеров, 60% однопартийных, так как, в отличие от персоналистских режимов, у них есть институты, «защищающие интересы уходящих диктаторов» [Escribà-Folch, 2013, p. 176].

В однопартийных режимах власть сконцентрирована не в руках лидера, а у партийной элиты, и хотя лидер является первым среди равных во властной пирамиде, абсолютной власти у него нет. Однопартийные режимы не только ограничивают власть лидера, но и легко решают проблемы преемственности власти внутри партии. Поэтому перевороты (40% однопартийных режимов пережили перевороты) приводят к власти либо другую партию, либо другую этническую группу в лице армии.

По мнению Б. Геддес, «военные режимы несут в себе источник своего разрушения» [Geddes, 1999, p. 131], и «перевороты в военных режимах – обычные смены лидерства, аналогичные вотумам недоверия» [Geddes, 2003, p. 66]. Практически в 50% случаев одни военные лидеры свергаются другими [Gandhi, Przeworski, 2007, p. 1289], причем только 20% переворотов в базе Геддес привели к смене политического режима. Самую большую угрозу для лидера военного режима представляют другие военные лидеры, обладающие возможностями организовать новый переворот. В базе 738 лидеров из 139 стран М. Сволика (1946–2002) перевороты ответственны за 28% смен лидеров (291 приход к власти и 224 потери власти) [Svolik, 2012, ch. 11]. Исследователи латиноамериканских военных режимов говорят о чрезмерной политиза-

ции армии, ведущей к циркуляции военных режимов, гражданских режимов и переворотов. У Дикса 70% латиноамериканских военных, передавших власть гражданским в период с 1951 по 1965 г., через небольшой промежуток времени (в среднем через шесть лет) вернулись к власти [Dix, 1994].

Перевороты и демократия

Большинство исследователей согласны с тем, что перевороты являются недемократическим инструментом, и три из четырех распадов демократии в период с 1960 по 2001 г. произошли после успешного переворота [Marinov, 2012]¹. Некоторые исследователи распадов демократии винят в этом демократические институты: президентство и многопартийность. Согласно С. Хантингтону, модернизирующиеся страны с многопартийными системами более склонны к военным переворотам, чем страны с доминирующей партией. По его мнению, «однопартийная система не является гаранцией от переворота, но многопартийная точно приведет к перевороту» [Huntington, 1968, p. 422]. Люттвак в качестве причины переворотов также указывал на «хроническую нестабильность при многопартийной демократии» [Luttwak, 1968, p. 17]. Исследователи многопартийной президентской демократии указывают на специфические черты президентских систем (фиксированные сроки полномочий президента и парламента и разделение властей, выражающееся в отсутствии у парламента – права выражать недоверие правительству, а у президента права роспуска парламента), которые делают кризисы между двумя ветвями власти неразрешимыми и создают ситуации взаимоблокирования, многие из которых разрешались неконституционным путем переворотов и автопреворотов. Исследование Степана и Скач подтвердили большую подверженность президентских демократий переворотам (40%) по сравнению с парламентскими (12%) [Stepan, Skach, 1993, p. 12]. Согласно исследованию Кенни, демократии с разделенным правлением (прави-

¹ В базе Н. Маринова 233 случая переворотов в период с 1960 по 2004 г. В понятие «переворот» авторы включают все нерегулярные смены лидеров, например, свержение лидеров любыми внутренними вооруженными группами и смену власти внутри военной хунты.

тельство меньшинства) более подвержены распаду: из 13 случаев распада президентской демократии (четыре раза – по воле президентов и девять раз – в результате переворотов) только в двух случаях распада президент обладал поддержкой парламентского большинства [Kenney, 2000]. Л. Киршке показала, что полупрезидентские системы не спасают лидеров от переворотов: перевороты произошли в 83% полупрезидентских систем и только 25% президентских систем суб-Сахарного региона [Kirschke, 2007].

В исследовании Асемоглу авторитарные режимы, создающие сильные армии, скорее перейдут в разряд военных диктатур после транзита к демократии, так как армия может провести успешный переворот против новой демократии. Причем в этом случае переворот является превентивной мерой, чтобы избежать неизбежного при демократии реформирования армии [Acemoglu, 2008].

Только 10% успешных переворотов привели к демократии, но ситуация изменилась после окончания «холодной войны». Из всех переворотов, осуществленных до 1990 г., только 6% привели к демократии, в то время как в период с 1990 по 2012 г. 30% переворотов завершились демократическим транзитом, при этом в 50% случаев авторитарный режим сохранился [Kendall-Taylor, p. 42]. Для сравнения: 85% случаев смещения диктатуры в результате массовых протестов приводят к демократии [Kendall-Taylor, p. 41]¹, поэтому многие политологи говорят о долгосрочных перспективах демократизации «снизу».

В военных режимах демократические транзиты могут начинаться после внутренних разногласий и расколов и имеют больше шансов на успех, особенно при повторной демократизации. В исследовании Б. Геддес из всех авторитарных режимов больше всего шансов на демократизацию имеют военные режимы: демократизация начинается в 62% военных режимов, в 45% режимов с доминирующей партией, в 36% персоналистских режимов [Geddes, 2014 а, р. 158]. Э. Нордлингер выделял три возможных пути перехода военных режимов к гражданскому правлению: добровольный путь, который может сопровождаться давлением со стороны фрак-

¹ В период с 1950 по 2012 г. оппозиционные восстания привели к свержению только 7% лидеров. В 2010–2012 гг. четверть диктатур распались под давлением снизу [Kendall-Taylor, 2014, p. 41].

ций в армии и со стороны граждан, контр переворот и свержение под давлением масс. Контр переворот, по его мнению, в дальнейшем также приводит к добровольной отставке, а свержение «снизу» становится возможным только при отсутствии единства армии [цит. по: Brooker, 2000, р. 194].

Армия по природе своей всегда готова «вернуться в казармы», поэтому при условии получения определенных гарантий безопасности и амнистии можно осуществить пактированный транзит к демократии. При насильственном свержении режима сложно получить гарантии амнистии за совершенные военным режимом преступления против человечности и сохранить честь, достоинство и единство армии. Именно предпочтения военных объясняют наименьшую среднюю продолжительность существования военных режимов по сравнению с недемократическими режимами другого типа и оптимальный путь транзита [Geddes, 1999]. Военные режимы могут согласиться на передачу власти гражданскому правлению и на демократизацию в случае получения гарантий соблюдения их корпоративных интересов (единство и честь армии) и отсутствия преследования за преступления. Учитывая, что такие гарантии легче получить, если военный режим сам начинает переход к демократии, оптимальными моделями для транзита являются трансформация (сверху) и трансмена (с двух сторон). Наименее желательная с точки зрения военных лидеров модель замены (снизу) возможна в случае, когда неэффективный военный с расколотой элитой режим не предпринимает шагов в сторону демократии и противостоит широкой антирежимной мобилизации масс или проигрывает войну. Результаты изменений военных режимов: 33% изменений привели к демократии, 27 – к режимам с доминирующими партиями, 8% – к однопартийным режимам [Magaloni, Kricheli, 2010, р. 130–131]. В базе Геддес 94% режимов, организовавших выборы, в которых члены режима не участвовали, были военными.

Пауэлл и Тайн обнаружили, что в период с 1950 по 2008 г. через несколько лет после успешных и неуспешных переворотов уровень демократии (по индексу Полити) либо возвращался к тому же уровню, который был до переворота, либо даже к лучшему, и делают вывод, что перевороты, возможно, являются катализаторами демократизации или, по крайней мере, не ухудшают степень авторитаризма [Powell, Thyne, 2014]. Авторы показали, что

влияние попыток переворота на демократизацию наиболее сильное и значимое в сильных авторитарных режимах (до минус 2,5 по индексу Полити) и в режимах, лидер которых продержался у власти минимум восемь лет [Powell, Thyne, 2014]. В их исследовании успешные и неуспешные перевороты способствуют демократизации, так как атака на режим со стороны элиты, даже неуспешная, является тревожным сигналом для лидера, в то время как атака на режим со стороны рядовых граждан может быть приравнена к хулиганству [*ibid*].

* * *

С каждым годом сокращается число успешных попыток переворота, все меньше становится военных режимов, и все большее число диктатур распадается вследствие оппозиционных движений «снизу». По мнению Шарпа и Дженкинса, «уменьшение числа переворотов может быть краткосрочным, и страны, в которых много лет не было переворотов, могут снова стать уязвимыми» [Sharp, Jenkins, 2013].

Перевороты изучались в рамках структурного, процедурного, институционального подходов, проведено огромное число количественных и качественных исследований, однако исследователи переворотов так и не определились в своем отношении к переворотам. В 2008 г. известный экономист П. Коллер написал, что действительно плохое правление легче изменить через переворот, чем через выборы, и призвал к поощрению переворотов, так как настоящая мощь, необходимая для свержения диктатора, заключается в его силовых структурах. «Наша главная задача – развернуть эти силы против тех, кого они защищают», – призвал Коллер [Collier, 2008]. «Хороший переворот – это миф», – считает Миллер, исследовавший примеры суб-Сахарного региона [Miller, 2011]. Дискуссия о «хороших» и «плохих» переворотах продолжается, так как исследователи связывают два независимых процесса – распад диктатуры и переход к демократии.

Профессор Гарвардского университета Варол называет переворот демократическим, когда после широкой общественной оппозиции режиму армия осуществляет переворот с целью свержения лидера, а не захвата власти, после чего передает власть граждан-

ским [Varol, 2012, p. 295]. Такие перевороты начинают смещаться в сторону восстаний, в которых военные усиливают сторону народа. Может ли это стать новым трендом? Как показывает исторический опыт, революции не гарантируют переход к демократии и лучшему правлению. Распад режима представляет собой двуединство раскола в элите и массовой оппозиции. Если ранее раскол в элите часто проявлялся через попытки переворотов, то сейчас необходимо понять, какие новые стратегии свержения диктатора «сверху» придут на смену переворотам в ближайшем будущем.

Список литературы

- Pшеворский А.* Политический институт и политический порядок // Демократия в российском зеркале / Под ред. А. Пшеворского, А. Миграняна. – М.: МГИМО, 2013. – С. 398–428.
- Acemoglu D., Ticchi D., Vindigni A.* A Theory of military dictatorships / Institute for the Study of Labor. – 2008. – N 3392. – [Из личного архива автора].
- Arugay A.* From probable to possible: Explaining coups through qualitative comparative analysis. Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, – Seattle, WA, 2011. – 1–4 September. – [Из личного архива автора].
- Belkin A., Schofer E.* Toward a structural understanding of coup risk // Journal of conflict resolution. – 2003. – Vol. 47, N 5. – P. 594–620.
- Brooker P.* Non-Democratic regimes. Theory, government and politics. – New York: St. Martin’s press, 2000.
- Bueno de Mesquita B., Smith A.* Leader survival, revolutions, and the nature of government finance // American journal of political science. – 2010. – Vol. 54, N 4. – P. 936–950.
- Bueno de Mesquita B., Smith A.* Political survival and endogenous institutional change // Comparative political studies. – 2009. – Vol. 42, N 2. – P. 167–197.
- Bunce V., Wolchik S.* Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries. – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 2011. – 386 p.
- Cheibub, J.A., Gandhi J., Vreeland J.R.* Democracy and dictatorship revisited // Public choice. – 2010. – Vol. 143. – P. 67–101.
- Collier P.* Let us now praise coups // Washington post. – 2008. – June 22. – Mode of access: <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/19/AR2008061901429.html> (Дата посещения: 08.01.2015.)
- Collier P., Hoeffer A.* Coup traps: Why does Africa have so many coups d’etat? // Working paper. 2005 / Centre for the study of african economies. Department of economics. – Oxford: Oxford univ. press, 2005. – P. 154–178.
- Collier P.* Greed and grievance in civil war. // Oxford economic papers. – 2004. – N 56. – P. 563–595.

- Dix R.H.* Military coups and military rule in Latin America // Armed forces and society. – 1994. – Vol. 20, N 3. – P. 439–456.
- Escribà-Folch A.* Accountable for what? Regime types, performance, and the fate of outgoing dictators, 1946–2004 // Democratization. – 2013. – Vol. 20, N 1. – P. 160–185.
- Farcau B.W.* The Coup: tactics in the seizure of power. – Westport: Praeger, 1994. – 226 p.
- Gandhi J., Przeworski A.* Authoritarian institutions and the survival of autocrats // Comparative political studies. – 2007. – Vol. 40, N 11. – P. 1279–1301.
- Geddes B., Wright J.B., Frantz E.* Autocratic breakdown and regime transitions // Perspectives on Politics. – 2014. – Vol. 12, N 1. – [Из личного архива автора].
- Geddes B., Wright J.B., Frantz E.* Military rule // Annual review political sciences – 2014 a. – Vol. 17. – P. 147–162.
- Geddes B.* Paradigms and sand castles: Theory building and research design in comparative Politics. – Ann Arbor, MI: Michigan univ. press, 2003. – 314 p.
- Geddes B.* What do we know about democratization after twenty years? // Annual review political sciences – 1999. – N 2. – P. 115–144.
- Huntington S.* Political order in changing societies. – New Haven, CT: Yale univ. press, 1968. – 488 p.
- Huntington S.* The third wave: Democratization in the late 20 th century. – Norman, OK: Oklahoma univ. press. – 1991. – 384 p.
- Kebshul H.G.* Operation «Just missed»: Lessons from failed coup attempts. // Armed forces and society. – 1994. – Vol. 20, N 4. – P. 565–579.
- Kendall-Taylor A., Frantz E.* How autocracies fall // The Washington quarterly. – 2014. – Vol. 37, N 1. – P. 35–47.
- Kenney C.D.* Reflections on horizontal accountability: Democratic legitimacy, majority parties and democratic stability in Latin America // Institutions, accountability and democratic governance in Latin America. – 2000. – 42 p.
- King G., Zeng L.* Logistic regression in rare events data. // Political analysis. – 2001. – Vol. 9, N 2. – P. 136–162. – Mode of access: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:4125045> (Дата посещения: 8.01.2015.)
- Kirschke L.* Semipresidentialism and the perils of power-sharing in neopatrimonial states // Comparative political studies. – 2007. – Vol. 40. – N 11. – P. 1372–1394.
- Londregan J.B., Poole K.* Poverty, The coup trap, and the seizure of executive power. // World politics. – 1990. – Vol. 42. – P. 151–183.
- Luttwak E.* Coup d'état: A practical handbook. – New York: Alfred A. Knopf, 1968. – 234 p.
- Magaloni B.* The Game of electoral fraud and the ousting of authoritarian rule // American journal of political science. – 2010. – Vol. 54, N 3. – P. 751–765.
- Magaloni B., Kricheli R.* Political order and one-party rule // Annual review political sciences – 2010. – N 13. – P. 123–43.
- Mahoney J., Goertz G.* The possibility principle: Choosing negative cases in comparative research // American political science review. – 2004. – Vol. 98, N 4. – P. 653–669.
- Marinov N., Goemans H.* Coups and democracy // Nikolay Marinov. – 2012. – [Электронный ресурс]. – Mode of access: <http://www.nikolaymarinov.com/wp-content/files/GoemansMarinovCoup.pdf> (Дата посещения: 6.01.2015.)

- Marshall M.G., Marshall D.R.* Coup d'etat events, 1946–2013. Codebook // Center for systemic peace [Электронный ресурс]. – 2013. – Mode of access: <http://www.systemicpeace.org/> (Дата посещения: 05.01.2015.)
- McGowan P., Johnson Th.* African military coups d'etat and underdevelopment: A quantitative historical analysis // The journal of modern African studies. – 2003. – Vol. 47. – P. 594–620.
- McGowan P.J.* Coups and conflict in West Africa, 1955–2004. Part I. Theoretical perspectives // Armed forces & society. – 2005. – Vol. 32, N 1. – P. 5–23.
- Miller A.C.* Debunking the myth of the «good» coup d'etat in Africa // African studies quarterly. – 2011. – Vol. 12, N 2. – P. 45–69.
- Muller E.N., Seligson M.A.* Inequality and insurgency // American political science review. – 1987. – Vol. 81, N 2. – P. 425–451.
- Nordvik F.M.* Does oil promote or prevent coup d'etat? Working paper. – 2014. – May 16. – [Из личного архива автора].
- O'Donnell G., Schmitter P.C.* Transitions from authoritarianism. Tentative conclusions about uncertain democracies. – Baltimore: The Johns Hopkins univ. press, 1986. – 81 p.
- Ohl D., Finkel E.* Coups and military ranks. Working paper.–2013. – November. – [Из личного архива автора].
- O'Kane, R.* Probabilistic approach to the causes of coups d'etat // British journal of political science. – London, 1981. – Vol. 11, N 3. – P. 287–306.
- Powell J.M., Thyne C.L.* Coup d'etat or coup d'autocracy? How coups impact democratization, 1950–2008 // Foreign policy analysis. – [2015]. – (В печати.)
- Powell J.M., Thyne C.L.* Global instances of coups from 1950 to 2010 // Journal of peace Research. – 2011. – Vol. 48, N 2. – P. 249–259.
- Ross M.* Does oil hinder democracy? // World politics. – 2001. – Vol. 53. – P. 325–361.
- Sharp G., Jenkins B.* Anti-coup // Albert Einstein Institution. – Boston, 2013. – Mode of access: <http://www.aeinsteinst.org/wp-content/uploads/2013/09/TAC-1.pdf> (Дата посещения: 06.01.2015.)
- Stepan A., Skach C.* Constitutional frameworks and democratic consolidation: Parliamentarism versus presidentialism // World politics. – 1993. – Vol. 46. – P. 1–22.
- Sutter D.* A Game-theoretic model of the coup d'etat // Economics and politics. – 2000. – Vol. 12, N 2. – P. 205–223.
- Svolik M.* Contracting on violence: Authoritarian repression and military intervention in politics. 2012. – [Из личного архива автора].
- Thompson W.R.* Corporate coup-maker grievances and types of regime targets // Comparative political studies. – 1980. – N 12. – P. 485–496.
- Varol O.* The democratic coup d'etat // Harvard international law journal. – 2012. – Vol. 53, N 2. – P. 292–356.
- Wintrobe R.* Autocracy and coups d'etat // Public choice. – 2012. – Vol. 152, N 1–2. – P. 115–130.
- Zimmermann E.* Toward a causal model of military coups d'etat // Armed forces & society. – 1979. – N 5. – P. 387–413.

И.А. ЧИХАРЕВ, В.Ю. БРОВКО, Г.А. КОЖЕДУБ

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: ПРЕДЕЛЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Моделирование как метод научного познания в гуманитарных науках начинает применяться и приобретает значительную популярность с середины XX в., следуя общей тенденции к объективации гуманитарного знания. Построение моделей относится к методам общенаучного уровня и, как правило, носит междисциплинарный характер, что чрезвычайно важно с точки зрения анализа сложных социальных явлений, в частности – для изучения коммуникационных процессов.

Метод моделирования позволяет представить структурные элементы и ключевые характеристики информационно-коммуникативных процессов в виде схемы. Причиной роста его популярности послужило то, что с момента становления коммуникативистики как сферы научных изысканий учеными было разработано большое количество вариантов определения коммуникации, информации и информационно-коммуникативной деятельности, но в практическом смысле их количество не способствовало формированию ясного представления о структуре и свойствах процессов массовой коммуникации [Шабров, 1996]. На данный момент в научной практике существует большое количество различных информационно-коммуникативных моделей и регулярно разрабатываются новые.

Очевидно, что ключевым для моделирования понятием выступает модель. В разных сферах научного знания определения модели могут разниться, однако основной принцип неизменен: мо-

дель должна отражать наиболее значимые характеристики изучаемого объекта. Специалист в области имитационного моделирования Роберт Шенон определяет модель как представление об объекте, системе или идее в некоторой форме, отличной от самой целостности [Шенон, 1978]. Под отличной формой в данном случае следует понимать некое упрощение в том, каким образом модель отображает свойства объекта.

Две наиболее популярные трактовки понятия модели сводятся к следующему: с одной стороны, она представляет собой искусственно созданный упрощенный образ действительности, представленный в наглядной форме, с другой – модель можно понимать как способ сведения неизученных явлений к универсальному образцу на основе определенных признаков, а также как алгоритм типологизации и классификации объектов по группам.

В свою очередь, моделирование можно понимать, с одной стороны, как процесс познания различных объектов и явлений через их модели, а с другой – как процесс разработки универсального алгоритма, позволяющего успешно осуществлять определенный род деятельности [Новик, 1968]. Ключевую задачу моделирования можно сформулировать следующим образом: представление сложных для анализа процессов в схематичном и наглядном виде для упрощения задачи понимания их особенностей и принципов функционирования.

С точки зрения особенностей применения метода моделирования в гуманитарных науках большой интерес представляет предложенная Ю.М. Плотинским классификация моделей по виду языка, на котором они написаны [Плотинский, 1998, с. 80–90]. На основе такого критерия следует выделять формальные и содержательные модели. Формальные модели активно используются в естественных и технических научных областях и, как правило, задаются одним или несколькими формальными языками (например, языками программирования), тогда как содержательные модели формулируются на естественном, понятном каждому человеку языке и в зависимости от цели могут иметь как описательный или объяснительный, так и прогностический характер.

Для междисциплинарных исследований, к которым мы можем отнести большинство наработок в информационно-коммуникативной сфере, большой интерес представляют концептуальные мо-

дели, в основе которых лежит определенная концепция или же методологическая установка. Зачастую приложение разных концептуальных моделей к одному и тому же явлению или объекту позволяет более полно рассмотреть его особенности [Плотинский, 1998, с. 85].

Оценивая роль и дальнейшие перспективы моделирования как инструмента научного познания в сфере информации и коммуникаций, необходимо учитывать контекст, в котором существует и развивается современное информационное пространство. Сейчас мы можем наблюдать интенсивное развитие новых медиа: людям предлагают все больше разнообразных способов взаимодействия между собой, а это, в свою очередь, вновь и вновь ставит перед государственными структурами и общественными институтами задачи по выработке эффективных моделей управления информационно-коммуникативными процессами.

К настоящему моменту представления о классических моделях коммуникации были многократно пересмотрены, и в последнее десятилетие споры относительно релевантности старых и актуальности новых моделей вновь приобрели чрезвычайную важность.

Для понимания современных процессов, протекающих в динамично изменяющейся общественной среде, требуются освоение и анализ большого объема накопленных знаний в сфере информационно-коммуникативных теорий. Модель необходимо строить в зависимости от поставленных целей: тщательно выбирать метод информационного воздействия и подходящий для него канал коммуникации. При этом важно понимать, какие из существующих моделей коммуникации успешно отвечают на структурные изменения общественной среды, и верно определять направление, в котором необходимо двигаться при разработке новых алгоритмов по взаимодействию субъекта с аудиторией.

Отмечая важность поиска, разработки и использования новых подходов и моделей в этой области, следует помнить, что не менее важно детально изучать традиционные, основополагающие модели коммуникации: многие из классических моделей закладывают базовые представления о ключевых свойствах информационно-коммуникативных процессов, а также описывают законы, которые по-прежнему действуют в медиапространстве.

Следует отметить, что в основе моделей и алгоритмов информационной политики, как правило, лежит какая-либо модель

массовой коммуникации [Попов, 2003, с. 86–87]. В этом нет ничего удивительного, ведь объектом внешнего, идентичностного информационного воздействия является широкая аудитория граждан, влиять на которую проще всего через средства массовой коммуникации. Структура информационного воздействия не зависит от того, кто его осуществляет – государство или коммерческие организации, – ее основу составляет ряд обязательных элементов, которые присутствуют в традиционных моделях коммуникативных цепей: субъект, объект, сообщение и канал его передачи.

Существуют различные подходы к классификации моделей коммуникации, при этом используется большое количество критерий. Так, например, широкую известность получило разделение по областям исследования, в рамках которых модели были изначально разработаны. На основе этого критерия разные специалисты выделяют модели рекламы, пропаганды и PR, социологические, психологические, семиотические модели, модели психотерапевтической, мифологической, аргументирующей и имиджевой коммуникации [Почепцов, 2003]. Заметим, что, несмотря на отнесение моделей к определенным сферам научных изысканий, практически каждая может быть легко адаптирована для общего анализа процессов массовой коммуникации.

С нашей точки зрения, в современных условиях интенсивного развития информационной среды и ее высокой насыщенности различными субъектами коммуникации и потоками сообщений наиболее целесообразно классифицировать модели коммуникации исходя из их структурных особенностей и предлагаемой трактовки субъект-объектных отношений. Подобная классификация позволяет как наглядно продемонстрировать эволюционные процессы, происходящие в сфере коммуникаций, так и проанализировать существующие модели на соответствие отдельно взятым средствам коммуникации и современным реалиям в целом.

Широкое распространение в последние годы получило разделение моделей коммуникации на линейные и нелинейные (или же циркулярные, циклические). Нам в этом видится существенное упрощение, ведь подобный подход оставляет вне поля научного исследования значительное количество промежуточных форм: многие модели коммуникации не являются циклическими, так как придерживаются традиционного субъект-объектного разделения,

однако при этом предполагают наличие сложного механизма обратной связи. Благодаря этому механизму объект воздействия фактически становится активным участником коммуникативного процесса, т.е. наличие развитой обратной связи существенно отличает такие модели от классических линейных, а потому логично будет отнести их к разным категориям.

Мы предлагаем разделять все существующие модели коммуникации на три группы: линейные – предполагают законченное одностороннее воздействие или серию эквивалентных воздействий; интерактивные – включают развитый механизм обратной связи и рассматривают объект как активный элемент процесса, однако коммуникация все еще представляет собой ряд дискретных конечных актов; транзакционные – рассматривают коммуникацию как непрерывный процесс взаимодействия и предполагают одновременное отправление / получение информации равноправными субъектами.

Следует еще раз подчеркнуть, что с момента возникновения первых информационно-коммуникативных моделей произошли и продолжают происходить революционные изменения в информационной сфере. Постоянное внедрение новых коммуникационных практик, и в особенности развитие и распространение одного из ключевых современных каналов коммуникации – Интернета, привело к пересмотру традиционных представлений о структуре взаимодействий и о тех ролях, которые играют в коммуникативной цепи отдельные элементы. В частности, были разработаны новые и заново проанализированы уже существующие циклические и многомерные модели массовой коммуникации, в которых акцент делался на возможностях объекта коммуникации принимать активное участие в процессе.

Таким образом, в современную эпоху на первый план выходит понятие интерактивности, медиакоммуникации приобретают все более транзактный характер: каждая из сторон – как источник, так и реципиент – может в равной степени выступать и отправителем и получателем сообщений [Брайант, Томсон, 2004, с. 400–402]. Подобный сдвиг в сторону расширения функций объекта коммуникации исследователи и определяют понятием «интерактивность». В первую очередь это явление имеет место в Интернете, где пользователь получает возможность самостоятельно формиро-

вать информационное пространство вокруг себя и потреблять информацию избирательно (возможность подписок на блоги и сообщества, система навигации по гиперссылкам), а также моментально реагировать на актуальные информационные поводы посредством комментирования.

Появление феномена комментариев в данном контексте может служить ярким примером того, как получатель информации становится ее отправителем: зачастую комментарии к публикации сами по себе становятся информационными поводами, и по Сети распространяются уже комментарии к комментариям. Таким образом, в условиях интерактивности сравнительно пассивная аудитория как структурный элемент коммуникационного процесса превращается в активных пользователей – вполне самостоятельный субъект информационной деятельности.

Американские исследователи Дж. Брайант и С. Томсон отмечают, что в современную эпоху уместно говорить о «транзактной медийной коммуникации» как о новой форме массовой коммуникации: «Транзактность означает смену ролей – переход к таким межличностным коммуникационным отношениям, в которых каждая сторона может по очереди выступать в роли отправителя, получателя или передатчика информации. Таким образом, происходит обмен информацией – определенными знаками, а в результате и конкретными знаниями. Медийная означает, что эти технологии по-прежнему включают в себя медиа» [Брайант, Томсон, 2004, с. 396]. Ключевая особенность такой коммуникации заключается в том, что любой пользователь способен обращаться к неограниченному числу таких же равных ему пользователей, – грань между субъектом и объектом стирается.

Целесообразным, на наш взгляд, представляется подробный обзор некоторых концептуальных моделей коммуникации, являющихся ключевыми для различных направлений коммуникативистики, ведь именно на них так или иначе строится большинство современных усовершенствованных моделей и алгоритмов.

Возвращаясь к основам моделирования информационно-коммуникативных процессов, следует отметить, что большинство первых коммуникационных моделей были линейными, рассматривали процесс коммуникации как направленное воздействие субъекта на объект через канал передачи (как правило, СМИ). Канал

передачи находился в центре внимания, так как именно его особенности, такие как проводимость и ориентация на определенную систему восприятия (зрительную или слуховую), определяли, по мнению исследователей, степень эффективности коммуникации.

Американский ученый Гарольд Лассуэлл, признанный классик коммуникативистики, в 1948 г. предложил одну из первых линейных моделей коммуникации [Lasswell, 1948]. Его модель получила широкую известность и довольно быстро приобрела статус классической. Модель Лассуэлла также называют пятивопросной, так как она представляет собой цепочку из пяти вопросов, ответы на которые, по замыслу автора, могут в полной мере охарактеризовать исследуемый коммуникативный акт или процесс: кто говорит; что сообщает; кому; по какому каналу; с каким эффектом (*who says, what, to whom via, what channels with what effects?*)

Лассуэлл в своей модели делает акцент на изучении тех элементов коммуникативного процесса, которые признаются основными и необходимыми и в настоящее время. Его коммуникативная цепь предполагает: анализ субъекта управления (его личностные или имиджевые характеристики, то, каким образом он формирует сообщение); анализ содержания (смысл сообщения, форма его передачи, частота упоминаний и периодичность повторений); анализ средств передачи и каналов коммуникации (органы чувств, на которые воздействует сообщение субъекта, средство массовой коммуникации, которое его транслирует, и особенности этого медиаканала); анализ аудитории (размер объекта коммуникации, различные социальные и психологические характеристики целевых групп воздействия); анализ результатов (эффект, который сообщение оказывает на сознание и поведение целевых аудиторий, формирование интереса к субъекту или вызов определенных поведенческих реакций).

Эта модель позволяет проанализировать как любое отдельно взятое коммуникативное действие, так и повторяющееся информационное воздействие, которое проводится в едином ключе. К базовым элементам коммуникации – коммуникатор, сообщение, технические средства, аудитория – Лассуэлл добавил результат (с каким эффектом?). Это дает возможность включить в модель элементы обратной связи: в зависимости от того, как среагировала аудитория, субъект коммуникации способен в дальнейшем варьировать свою информационную политику, и одновременно впервые ставит-

ся вопрос о возможности управления массовым сознанием посредством массовой коммуникации.

Позже, в 1958 г., другой ученый, Ричард Брэдлок, дополнил модель Лассуэлла двумя вопросами: с какой целью; и в каких обстоятельствах? Введение этих параметров позволяло проанализировать субъект коммуникации с точки зрения его целей и причины, по которым сообщение могло не достичь целевой аудитории [McQuail, Windahl, 1981, р. 13].

Брэдлок обратил внимание на то, что условия, в которых протекает коммуникация, способны оказать решающее воздействие на ее результаты и что одна из ключевых задач субъекта – самому создать условия, необходимые для достижения максимального эффекта от информационного воздействия. В свою очередь, анализ процесса с точки зрения исходных целей коммуникатора позволяет оценить, насколько заявленные цели соответствуют имеющимся ресурсам и выполнимы ли они, а также наоборот – соотносится ли масштаб затрачиваемых на коммуникацию средств со значимостью поставленных субъектом задач.

Рассмотрим еще одну популярную модель, построенную по аналогичному принципу. В 1948 г. математики Клод Шеннон и Уоррен Уивер представили так называемую информационно-кодовую модель. При разработке ее исследователи исходили из предположения, что процесс коммуникации напоминает телефонную связь и что сообщение, которое воспринимает аудитория, может значительно отличаться от того, которое изначально передается коммуникатором.

Информационно-кодовая модель Шеннона – Уивера содержит пять основных элементов: ввод (исходная информация), кодирующее устройство (создаваемый сигнал), канал связи (средства передачи сообщения), декодирующее устройство (воспринятый сигнал), вывод (полученная объектом информация), а также шестой дисфункциональный – шум (помехи), оказывающий воздействие на канал связи, в результате которого сообщение может исказяться, доходить до целевой аудитории не полностью или же неходить вообще.

Многие исследователи отмечали, что модель Шеннона – Уивера носит выраженный технический характер, ей присуща абстрагированность от сути реальных процессов массовой коммуника-

ции, и она не предполагает анализа субъект-объектного взаимодействия, которое традиционно находится в центре исследований информационно-коммуникативных процессов. Однако стоит отметить, что эта модель делает объектом исследования некоторые особенности коммуникативных актов, которые незаслуженно игнорируются в других моделях, – в частности феномены энтропии и негэнтропии.

Как уже упоминалось выше, дисфункциональный элемент коммуникативной цепи – шум – воздействует на передачу информации, в результате чего происходит энтропия, рассеивание сообщения. Однако Шеннон и Уивер заметили, что даже если сообщение доходит до декодирующего устройства (объекта) не полностью, оно может быть достроено до исходной формы, в случае если ключевые элементы сообщения были переданы. Объект, которым является человек или группа людей, обладает способностью к негэнтропии – упорядочению информации и улавливанию смысла. Таким образом, утверждают исследователи, эффективная коммуникация возможна даже в условиях плохой проводимости канала. Они отметили также, что использование различных СМИ и многократное повторение сообщения приводят к увеличению эффективности коммуникации, так как повышают вероятность того, что информация дойдет до аудитории в наиболее полном варианте.

Другой классической линейной моделью коммуникации является разработанная в 1960 г. Дэвидом Берло так называемая модель ИСКП (SMCR Model), известная также под названием Стэнфордской модели коммуникации. ИСКП – аббревиатура, состоящая из обозначения четырех основных, по мнению ученого, элементов коммуникации: источник (source), сообщение (message), канал (channel), получатель (receiver).

Каждый из четырех элементов Берло предлагает анализировать по пяти критериям. Источник, или субъект, который создает сообщение, предлагается рассматривать с точки зрения его коммуникативных навыков, социально-психологических установок, знаний, социальной принадлежности и культурных характеристик. Сообщение следует оценивать, исходя из его содержания, элементов (например, языка, визуальных и звуковых образов), структуры, обработки (формы, в которой сообщение передается) и языка кодирования (например, письменная речь, язык тела или музыка).

Канал коммуникации рассматривается с позиции тех систем восприятия, которые задействуются у объекта при получении сообщения: канал может быть слуховым, визуальным, тактильным, вкусовым и обонятельным. Получатель сообщения анализируется автором модели с точки зрения тех же критериев, что и источник, так как по обе стороны коммуникационной цепи находится человек, персональные характеристики которого могут напрямую влиять на успешность коммуникативного воздействия.

Модель коммуникации Берло в некотором роде соединяет в себе элементы коммуникативной цепи Лассуэлла и модели Шеннона – Уивера: помимо анализа традиционных стадий коммуникационного процесса Берло заостряет внимание на процессе кодирования (происходит при создании сообщения) и декодирования (происходит при получении сообщения). Таким образом автор подчеркивает, что даже при правильно организованной коммуникации передаваемое и получаемое сообщения могут различаться между собой, так как субъект и объект имеют уникальные личностные характеристики и, как следствие, отличные друг от друга системы восприятия, – один и тот же объект может оцениваться ими совершенно по-разному.

Отметим также, что модель ИСКП неоднократно критиковалась за отсутствие каких бы то ни было механизмов обратной связи: объект коммуникации (получатель сообщения) совершенно пассивен и не может никаким образом оказывать влияние на источник. Единственное, что необходимо коммуникатору для успешного воздействия, – знать, какими персональными характеристиками (коммуникативными навыками, социально-психологическими установками, знаниями, социальной принадлежностью и культурными особенностями) обладает потенциальный получатель сообщения. Согласно модели, сопоставления этих особенностей объекта с аналогичными особенностями субъекта достаточно для организации эффективного информационного воздействия.

Одной из первых моделей, в рамках которой была пересмотрена роль объекта в процессе коммуникации, стала интеракционистская АВХ-модель, разработанная в 1953 г. Теодором Ньюкомбом. Модель предлагает троичную систему отношений между А – реципиентом (*message receiver*), В – коммуникатором (*message sender*), а также Х – каким-либо событием (*topic*) [Newcomb, 1953, p. 393–404].

Реципиент рассматривается автором как активный участник коммуникационного процесса, поскольку у него, как правило, уже сформированы определенные представления, установки и ожидания относительно как коммуникатора, так и события, сообщение о котором передается. Эффективность информационных воздействий в значительной степени определяется этими установками и отношениями, и на них субъект должен ориентироваться, начиная процесс коммуникации.

Ньюкомб предполагает, что если субъект и объект относятся друг к другу эквивалентно положительно, то они склонны одинаково оценивать происходящие события и воспринимать сообщения – в этом случае коммуникация будет наиболее успешной. Соответственно, чем хуже у аудитории отношение к источнику, тем в меньшей степени она склонна воспринимать исходящую от него информацию. Вариант воздействия на объект в случае его расхождения с субъектом в оценках какого-либо события также возможен: грамотно выстроенная коммуникация позволяет влиять на мнение аудитории по проблемным вопросам, в большей или меньшей степени сдвигая его в сторону позиций источника или же приближая к точке консенсуса. При этом, однако, в большинстве случаев предполагается встречное движение и со стороны коммуникатора. В частности, так, по мнению автора, строится телевизионная сетка: предпочтения аудитории, весьма неоднородной по своему составу, в большей или меньшей степени сочетаются с политикой телеканала.

В 1963 г. Герхардом Малецке, основоположником немецкой школы исследования межкультурной коммуникации, была разработана модель, основанная на принципах интерактивности: объект и субъект различаются между собой по функциям и роли в коммуникативной цепи, но при этом объект является активным участником коммуникативного процесса: он способен воздействовать на коммуникатора при помощи обратной связи [Windahl, Signitzer, Olson, 2009, p. 160–167].

По своим ключевым элементам такая модель напоминает коммуникативную цепь Лассуэлла: коммуникатор создает сообщение, передающееся через посредника (канал коммуникации) реципиенту (целевой аудитории), которая отправляет коммуникатору обратную связь. Однако помимо этих основных элементов модель Малецке содержит значительное количество дополнительных кри-

териев анализа. В частности, автор выделяет ряд свойств, которые влияют на то, каким образом субъект выстраивает коммуникацию. Это, в первую очередь, личность самого коммуникатора, его самовосприятие, команда (штаб сотрудников), социальная среда (происхождение и социализация), присущая ему коммуникативная организация, а также ограничения со стороны общества контроля, с которыми он может столкнуться. Коммуникатор, со своей стороны, занимается отбором и структурированием содержания сообщения, однако следует учитывать, что сообщение в большей или меньшей степени должно соотноситься с реальными событиями, иначе источник коммуникации может серьезно подпортить свой образ в глазах целевой аудитории.

Стратегия поведения реципиента в процессе коммуникации зависит и от его личностных характеристик, самовосприятия, привычной социальной среды, а также от того, насколько он включен в аудиторию, на которую ориентируется коммуникатор и которая должна воспринять сообщение. Реципиент находится, с одной стороны, под влиянием образа коммуникатора (авторитетность и степень надежности источника), а с другой – под влиянием образа посредника, который может выдавать себя за коммуникатора и навязывать получателю мнения и оценки, используя свой имиджевый ресурс. Очень существенна роль посредника, который способен оказывать воздействие и на смысловое восприятие сообщения реципиентом, предлагая ему собственные интерпретации событий и ситуаций, которые объект коммуникации вынужден принимать, так как не имеет возможности проверить достоверность сообщения на личном опыте.

Реципиент, со своей стороны, также оказывает влияние на коммуникатора, во-первых, при помощи механизмов обратной связи, которые могут выражаться в целенаправленных действиях (протестный митинг) или же в неосознаваемых переменах в поведении (рост спроса на товар), а во-вторых, – транслируя коммуникатору собственный образ: на момент создания сообщения у коммуникатора имеются более или менее полные представления и данные о целевой аудитории, на которые тот должен ориентироваться для осуществления успешного информационно-коммуникативного взаимодействия.

Интерактивная модель Малецке позволяет подробно проанализировать многие особенности информационно-коммуникативных процессов, и по сей день актуальные для некоторых традиционных средств массовой коммуникации (печатная пресса, телевидение). Как мы уже отмечали, основанием для разработки модели Малецке стала значительно более простая и односторонняя коммуникативная цепь Лассуэлла, и это не единственный пример, когда на основе линейных моделей, которые сами по себе не предполагают обратной связи, возникают дополненные и модифицированные модели.

Необходимо также обратить внимание на модель коммуникации, предложенную в 60-х годах прошлого века американским ученым Джорджем Гербнером. Эта модель позволяет исследовать как простые, так и наиболее сложные информационно-коммуникативные цепочки: с ее помощью можно одновременно анализировать процессы интерпретации событий, механизмы создания сообщений и их распространения.

Согласно модели Гербнера в реальности существует такое событие (E), относительно которого некий индивид, будущий субъект коммуникации (M), формирует определенное представление, образ (E1), далеко не всегда полностью соответствующий реальному событию. Из этого представления индивид формирует сообщение о произошедшем событии (SE), состоящее из формы (S) – сигнала, выбранных каналов передачи и восприятия – и смыслового содержания (E) [Gerbner, 1956, р. 171–199]. Это сообщение будет впоследствии принято другим индивидом (или же в некоторых случаях техническим средством), который на основе полученной информации также сможет создать и передать свое сообщение.

Разрабатывая свою модель, Гербнер особое внимание уделял тому, каким образом у источника коммуникации формируется образ события и как затем на основе этого образа конструируется сообщение. По мысли Гербнера, формирование представления о событии происходит под влиянием трех факторов: избирательности, контекста и доступности. Таким образом, заключает Гербнер, индивид формирует свое мнение на основе личностных характеристик (интересов, психологических установок, особенностей восприятия), а также под влиянием внешней среды – той обстановки, в которой происходило событие (доступность для восприятия и

понимания, влияние на восприятие данного события других, связанных с ним). Процесс конструирования сообщения оказывается также в зависимости от выбора каналов выражения и восприятия (слуховой, визуальный) и соответствующих средств передачи сообщения (медиаканалов). Весьма значительную роль играет и уровень контроля со стороны индивида (его индивидуальные навыки создания сообщений – формулировка, изображение, описание).

Предложенная схема коммуникационного акта позволяет анализировать как прямые, так и опосредованные формы взаимодействий, как межличностную, так и массовую коммуникацию: согласно модели одно и то же сообщение может быть воспринято как отдельным человеком, так и группой людей одновременно. Гербнер, строя свою модель, выявляет ряд ключевых особенностей процессов коммуникации, таких как многократное искажение исходной информации по мере ее прохождения по коммуникативной цепи, субъективизм передаваемого сообщения (целенаправленная или нецеленаправленная оценка, интерпретация описываемого события). Безусловно, эту модель следует отнести к транзактному типу, так как в ней не закреплена субъект-объектная структура взаимодействия, когда каждый источник коммуникации является одновременно воспринимающей стороной и каждый индивид, получающий сообщения, способен на их основе создавать и передавать другим свои собственные. Коммуникативная цепь, таким образом, может быть бесконечной.

Примерно в те же годы свою транзактную модель коммуникации предложили американские социологи Джон и Матильда Райли. Исследователи обратили внимание на то, что при анализе информационно-коммуникативных процессов акцент зачастую делается на психологических особенностях коммуникатора и аудитории, тогда как многие коммуникативные аспекты в действительности обусловлены особенностями существующих социальных систем, а не индивидуальными характеристиками [Riley J., Riley M., 1959, p. 569–578].

Все участники коммуникации (как субъект, так и объект) так или иначе включены в социальные отношения на нескольких уровнях. Прежде всего, отмечают Райли, каждый индивид входит в так называемые первичные (primary) и вторичные, референтные (reference), группы, принадлежность к которым определяет, каким образом он будет реагировать на ту или иную поступающую ин-

формацию. Первостепенная роль в этом отношении, по мнению Райли, принадлежит первичным группам, для которых характерны близкие взаимоотношения между их членами (например, семья или рабочий коллектив). Внутри этих групп вырабатывается некий единый алгоритм реакции на определенные типы информационно-коммуникативных воздействий.

В то же время референтные группы хотя и не предполагают в обязательном порядке близких отношений или непосредственного контакта между членами, однако их члены пользуются высоким уровнем доверия со стороны индивида и в некоторых случаях могут также оказывать влияние на то, как он формирует мнения и оценки.

Каждый человек помимо зависимости от включенности в первичные и референтные группы неизбежно находится под воздействием более широкого социального контекста (*larger social structure*), социокультурной среды, в которой он воспитан и в которой живет. Социокультурная среда включает в себя большое количество других первичных групп, с которыми индивид осуществляет взаимодействия, внутри этой среды формируется набор коммуникативных навыков и вырабатываются некие общие представления о нормах и ценностях, определяющие основные направления реакций на воспринимаемую информацию.

Райли также обращают внимание на то, что все участники коммуникации являются частью целостной социальной системы (*over-all social system*), в которой существуют общепринятые правила, регулирующие базисные аспекты информационно-коммуникативной деятельности (допустимые виды коммуникативных актов, существующие каналы коммуникации, формы кодирования передаваемых сообщений и т.д.). Если включенность в первичные группы и социокультурная среда – это индивидуальные характеристики, различные для коммуникатора и реципиента, то социальная система в данном контексте – интегрирующий компонент, определяющий формы и условия, в которых может проходить коммуникация, и обеспечивающий саму возможность диалога.

Таким образом, коммуникатор создает и передает сообщение в соответствии с ожиданиями первичных групп, членом которых он является, под влиянием своей социокультурной среды и в рамках существующей социальной системы. По аналогичным критериям определяется и то, каким образом будет воспринимать это

сообщение реципиент. Отметим, что в рамках данной модели функционируют сложные механизмы обратной связи: с одной стороны, субъект получает от членов первичных групп сигналы, влияющие на создание сообщения, еще до начала коммуникации, с другой – объект коммуникации отправляет сигнал обратной связи коммуникатору, ориентируясь на аналогичные сигналы от членов своих первичных групп. Подобная многоступенчатая обратная связь еще раз подчеркивает роль социальных связей в процессе коммуникации.

Модель Райли предполагает глубокую взаимосвязь субъекта и объекта коммуникации – воздействие осуществляется многократно и поочередно: посредством механизмов обратной связи роль коммуникатора начинает переходить от субъекта к объекту и наоборот, что наглядно демонстрирует транзактный характер модели.

Современный российский исследователь И.М. Дзялошинский предложил свою подробную версию описательной транзактной информационно-коммуникативной модели – спиральную модель процесса коммуникации. Используя образ-понятие «спираль», автор тем самым указывает на «принципиальную незавершimость коммуникационного акта, который может быть оборван, но не может быть доведен до конца, и принципиальную недостижимость в полном объеме результата, поставленного в начале коммуникационного акта» [Дзялошинский, 2013, с. 59].

Согласно модели Дзялошинского коммуникативная цепь имеет 16 элементов: субъекты коммуникации, предмет коммуникации, цели коммуникации, информационный повод, принципы и нормы коммуникации, сообщение, текст, выразительные ресурсы, коммуникационные каналы, стратегии и технологии коммуникации, коммуникационные институты, посредники, барьеры и помехи, контексты коммуникации, адресаты коммуникации, результаты коммуникации [там же, с. 60–67].

Субъекты коммуникации предлагается разделять на три типа: персональный, коллективный и институциональный. Предметом коммуникации выступает та сфера жизнедеятельности, которую коммуникатор стремится в конечном итоге изменить, – политика, экономика, культура, социальные отношения, досуг и т.д.

Особо отметим то, что в качестве отдельного элемента коммуникативного процесса И.М. Дзялошинский выделяет информа-

ционный повод – событие, дающее субъекту основание проводить коммуникацию по конкретному вопросу, информацию по которому он изначально стремится донести до аудитории.

Следует заметить, что автор рассматривает сообщение, текст и выразительные ресурсы как самостоятельные элементы коммуникативной цепи, тем самым отходя от традиционно принятого подхода к целостному исследованию сообщения и связанных с ним феноменов.

Сообщение, согласно Дзялошинскому, содержит в себе набор смыслов, которые коммуникатор хочет донести до аудитории, текст определяет форму верbalного или графического кодирования этих смыслов, а коммуникационные ресурсы представляют собой возможный набор средств вербального и невербального воздействия, средств выразительности и личный ресурс воздействия.

Подобным образом автор раскладывает на составляющие и понятие «средство (канал) коммуникации», в основном рассматриваемое как единый элемент коммуникационного процесса. По мнению Дзялошинского, посредников и каналы коммуникации целесообразно исследовать по отдельности.

К посредникам относятся представители специальных профессий, которые непосредственно связаны с созданием и распространением сообщений: производители контента (журналисты, художники), технический персонал, координаторы (менеджеры) коммуникационных процессов.

Каналы коммуникации, в свою очередь, представляют собой сугубо технические средства, которые позволяют доставлять сообщение от отправителя к получателю: средства массовой информации, общественные институты как средства публичной коммуникации, средства межличностного общения. Следует понимать различие: если задача посредников – транслировать смыслы, предполагаемые коммуникатором, то технические средства отвечают только за передачу материальной формы сообщений – кода, текста, изображений.

Отдельный интерес представляет и предложенная Дзялошинским подробная классификация барьеров и помех, которые могут возникать в процессе коммуникации. Автор выделяет социальные барьеры (ограничения со стороны социальных и политических институтов, влияние общепринятых социальных норм, воз-

действие официальной идеологии); ментальные (привычные стереотипы и установки сознания, фундаментальные различия в мировоззрении); ситуационные (частные случаи возникновения помех в окружающей среде или при межличностной коммуникации); технические (дефекты каналов передачи, проблемы при декодировании сообщения, «шум»); поведенческие (культурные различия в интерпретации поведения в процессе коммуникации); пресуппозиционные (изначальный недостаток знаний у аудитории для понимания сообщения); текстовые (речевые ошибки, сложные для понимания синтаксические конструкции); психологические (негативные установки получателя сообщения в отношении коммуникатора или способа коммуникации); культурные (коммуникативные различия, связанные с национальными особенностями восприятия и реакции).

Такие элементы модели, как коммуникационные институты и контексты коммуникации, являются отражением влияния на коммуникацию внешних условий среды.

Коммуникационные институты характеризуют особенности устоявшихся в конкретной социальной среде способов создания, обработки и передачи сообщений.

Контексты коммуникации отражают состояние физической и социальной среды, в которой осуществляется коммуникация, а также влияние политического, экономического и прочих типов социальных контекстов, действующих на восприятие аудиторией транслируемых сообщений.

Таким образом, модель охватывает большинство вероятных предрасположенностей, на которые в процессе коммуникации невозможно оказывать непосредственное воздействие.

Подобно субъекту коммуникации, аудитория коммуникации может представлять собой персональный, коллективный и институциональный объект, который осуществляет обратную связь на этапе оценки результатов в виде поведенческой реакции, мнений или оценок.

Результаты коммуникации – необходимый этап анализа процесса со стороны коммуникатора, который оценивает успешность предпринятых им действий с точки зрения степени достижения цели, и это позволяет ему скорректировать свою информационно-коммуникативную политику на новом витке коммуникативного процесса.

Следует отметить также, что возможна ситуация, когда результатом информационного воздействия со стороны субъекта будет начало коммуникации уже со стороны объекта, что свидетельствует о транзактности и априорной незавершенности коммуникативных процессов.

Итак, можно заключить, что спиральная модель коммуникации, разработанная И.М. Дзялошинским, позволяет анализировать большинство особенностей современной информационной политики и соответствует многим актуальным тенденциям в сфере коммуникативных процессов. При этом, безусловно, она предполагает более масштабное и затратное исследование, чем многие другие схематичные и упрощенные модели.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что метод моделирования в сфере коммуникаций и информации в современную эпоху имеет чрезвычайно большой потенциал: коммуникативные процессы постоянно усложняются, приобретая все более транзактный характер, – каждая из сторон, как источник, так и реципиент, могут в равной степени выступать и отправителем, и получателем сообщения, при этом постоянно увеличиваются масштабы информационных воздействий и количество способов, которые субъект коммуникации может успешно использовать для достижения аудитории. Различные концептуальные модели коммуникации дают возможность анализировать подобные сложные процессы более глубоко и с разных сторон.

Моделирование, с одной стороны, способно дать в руки исследователю релевантный инструмент для изучения объектов и процессов коммуникативной среды, а с другой – позволяет практикующим специалистам строить универсальные алгоритмы для осуществления эффективной информационной деятельности в современных условиях.

Список литературы

Брайант Дж., Томсон С. Основы воздействия СМИ. – Киев: Издательский дом «Вильяме», 2004. – 430 с.

Дзялошинский И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. – М.: Изд. АПК и ППРО, 2013. – 479 с.

- Новик И.Б.* Моделирование и аналогия // Новик И.Б., Уемов А.И. Материалистическая диалектика и методы естественных наук. – М., 1968. – 255 с.
- Плотинский Ю.М.* Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. – М.: Логос, 1998. – 368 с.
- Попов В.Д.* Информационная политика. – М.: Изд. РАГС, 2003. – 450 с.
- Почепцов Г.Г.* Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук, 2003. – 656 с.
- Шабров О.Ф.* Системный подход и компьютерное моделирование в политологическом исследовании // Общественные науки и современность. – М., 1996. – № 2. – С. 100–110.
- Шеннон Р.* Имитационное моделирование. – М.: Мир, 1978. – 424 с.
- Gerbner G.* Toward a general model of communication. // Audio-visual communication review. – Washington, D.C., 1956. – N 4. – P. 171–193.
- Lasswell H.D.* The structure and function of communication in society. // The communication of Ideas / Ed. Bryson L. – N.Y.: The Institute for religious and social studies, 1948. – P. 215–228. – Mode of access: <http://www.themedfomscu.org/media/elip/The%20structure%20and%20function%20of.pdf> (Дата посещения: 12.03.2015.)
- McQuail D., Windahl S.* Communication models. For the study of mass communications. – L.: Longman, 1981. – 229 p.
- Newcomb T.M.* An approach to the study of communicative acts // Psychological review. – Ann Arbor, MI: Michigan univ press, 1953. – Vol. 60, N 6. – P. 393–404.
- Riley J.W., Riley M.W.* Mass communication and the social system // Sociology today: Problems and prospects / Ed. Merton R.K. – N.Y.: Basic books, 1959. – P. 534–578.
- Windahl S., Signitzer B.H., Olson J.T.* Using communication theory: An introduction to planned communication. – L.: Sage, 2009. – 302 p.

В.В. ВАСИЛЬЕВА, А.Н. ВОРОБЬЕВ
ТЕОРИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РЫНКОВ

Введение

Сегодня поле исследований коррупции, на первый взгляд, выглядит вполне заполненным, имеющим фундаментальную основу [Rose-Ackerman, 1996; Ades, Tella Di, 1999], установленны связи между коррупцией и экономическими или политическими факторами [Rose-Ackerman, 2001; Kunicová, Rose-Ackerman, 2005; Acemoglu, Johnson, Robinson, Thaicharoen, 2003], дан обзор наиболее эффективных мер противодействия коррупции на основе успешных практик [Jenkins, Goetz, 1999; Basu, Bhattacharya, Mishra, 1992], выявлена коррупционная динамика государств или регионов на основе появляющихся данных [Gylfason, 2001; Gupta, Mello De, Sharan, 2001; Svensson, 2005; Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, 2002]. Критический анализ исследований, посвященных коррупционной тематике, позволяет выделить ряд проблем, привлекающих исследователей на фоне фрагментации и сужения предмета исследования [Persson, Rothstein, Teorell, 2013; Treisman, 2007]. Это свидетельствует о неспособности ставших привычными аналитических конструкций объяснять процессы, происходящие в государстве на сегодняшний день.

Причиной этого является наличие разрыва между двумя уровнями исследований: микро- и макро-. Концентрация на первом позволяет исследовать отдельные сферы (или рынки), не объясняя влияния большинства политических факторов. Смещение фокуса

на макроуровень позволяет зафиксировать глобальные тенденции, но упускает из виду влияние государственной политики, антикоррупционных реформ на трансформацию исследуемого явления. Следовательно, коррупция понимается как экзогенный фактор, точка отсчета. Это порождает порочную логику поиска наиболее результативных мер по борьбе с коррупцией на основе применения мер, доказавших свою эффективность в ряде значимых случаев, как в случае с сингапурским или новозеландским опытом.

Основной вопрос, на который мы попытаемся дать ответ в данной статье, – вопрос о месте коррупции в государстве. Массив ранее проведенных исследований вполне убедительно доказывает тезис о негативных последствиях разрастания данного явления, равно как и о влиянии коррупции на экономические аспекты (объем инвестиций и их результативность, уровень благосостояния), социальные (формирование терпимости к коррупции, понимание ее как неизбежной данности и способа ведения дел), политические (функционирования бюрократии, устойчивость режима, качество государственной политики [Nice, 1986 a]). Тем не менее неясным остается место коррупции в системе общественных отношений, о чем свидетельствуют разноправленные концепции понимания коррупции – захват государства (Seize the state), способ изменения конкуренции [Bliss, Tella Di, 1997], коррупция и бюрократия [Bardhan, 1997; Correa, 1985].

Фактически мы говорим об отсутствии артикулированного системного понимания коррупции, выражающегося не в многообразии определений, не в измерении «коррупция, существующая во всех сферах», а именно в понимании и определении причин и точек возникновения коррупции, факторов, способствующих ее развитию или снижению, а также механизмов ее функционирования и трансформации.

В статье мы опираемся на ранее разработанный нами аналитический концепт [Васильева, Воробьев, 2015; Vasileva, Vorobyev, 2014] коррупционных рынков. В них явление коррупции понимается как рынок, подчиняющийся экономической логике и опирающийся на три основных фактора: качество институтов, охват и степень государственного регулирования. Описание моделей коррупционных рынков и их динамики, представленное в указанных статьях, нуждается в теоретическом фундаменте, который мы представляем в данной статье.

Однако прежде чем приступить к выработке упомянутого механизма коррупции и объяснению процессов функционирования коррупционных рынков, следует обратиться к ранее сделанным теоретическим разработкам. Стоит оговориться, что мы акцентируем внимание не на традиционной хронологической фиксации трансформаций понимания данного явления, а стремимся систематизировать основные работы по направлениям исследования, зафиксировать «предтечи» понимания коррупционных рынков и выявить исследовательские тенденции.

Эволюция методологии и основных аспектов изучения проблемы коррупции

Анализ проведенного нами массива публикаций (см. Приложение 1) позволил выявить следующие тенденции¹.

1. Исследования коррупционной проблематики представлены значительным объемом публикаций, в том числе дисциплинарных – за период с 1970 по 2015 г. общий объем релевантных работ составил 7841.

2. Зародившись в 1970-х годах, исследования коррупции развивались неравномерно. Так, с 1996 г. происходит рост исследований коррупционной проблематики по экспоненте, пик приходится на 2013 г., после которого как качественный, так и количественный спад.

3. В исследованиях коррупции наблюдается явное доминирование экономического подхода, прежде всего политической экономии. Ключевое значение для интерпретации коррупции имеют Г. Беккер и теория рационального выбора, теория общественного выбора и принципал-агентская модель. В 2010-х годах появились также попытки интерпретации коррупции как проблемы коллективного действия [Persson, Rothstein, Teorell, 2013].

4. Наблюдается явное доминирование определенной методологии на каждом этапе развития исследований коррупции начиная с 1980-х годов. При этом с 2000 г. регрессионный анализ стал основным методом исследования коррупционной проблематики, что

¹ Обзор исследований проводился с использованием баз реферируемых статей Scopus и Web of Science.

вкупе с увлечением основанными на экспертных оценках индексами коррупции и другими формами квантификации явления привело к чрезмерной фрагментации исследовательского пространства. Этот огромный пласт разрозненных количественных исследований можно условно охарактеризовать как связь коррупции «со всем живым». Д. Трейсман [Treisman, 2007] ставит вопрос о верифицируемости выявленных с помощью регрессионного анализа данных, основная проблема которых состоит не столько в методологии исследования, сколько в качестве опорных данных – индексов коррупции, составленных с применением качественных методов.

5. Логика развития исследований коррупции в рамках выделенного периода следующая:

- исследование причин коррупции на микроуровне (теория рационального выбора, теории игр, кейс-стади, вероятностные математические модели);
- методы борьбы с коррупцией (доминирующий методологический тренд – кейс-стади, изучение лучших практик, регрессионный анализ);
- последствия коррупции (регрессия и анализ «big data» с помощью cross-country и cross-section анализов).

6. Анализ публикаций наглядно демонстрирует, что пик коррупционных исследований приходится на середину 1990-х – конец 2000-х годов. В этот период были созданы наиболее фундаментальные и потому цитируемые работы по данному вопросу [Treisman, 2000; Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, 2002; Ades, Tella Di, 1999; Tanzi, 1998; Fisman, Gatti, 2002; Acemoglu, Verdier, 1998; Acemoglu, Verdier, 2000; Svensson, 2003].

Несмотря на значительный объем исследований коррупции, часть из них является применением ранее использованных методов в новых условия. Однако в целом получается, что данные тренды разнонаправленны и далеко не способствуют развитию дальнейших исследований (а порой и вносят путаницу). Тем не менее в исследованиях коррупции детально проработан микроуровень коррупционной сделки [Rose-Ackerman, 1975; Tanzi, 1998; Andvig, Moene, 1990; Correa, 1985; Lien, 1990; Shleifer, Vishny, 1993]. Определенный консенсус был также достигнут по проблеме связи институтов с коррупцией [Rose-Ackerman, 2001; Lederman, Loayza, Soares, 2005; Acemoglu, Johnson, Robinson, Thaicharoen, 2003]. Ос-

тальные наиболее значимые предпосылки теории коррупционных рынков представлены в Приложении 2.

Тем не менее одной из основных проблем, связанных с процессом изучения коррупции, является крайне невысокая доля теоретических работ, нацеленных на описание механизма коррупции. Часть данных работ носит сугубо нарративно-дискуссионный характер [Olivier De Sardan, 1999; Black, Kraakman, Tarassova, 2000], при котором на основе анализа богатого фактологического материала делаются достаточно общие выводы. Последствием использования подобного подхода становится создание различного рода классификаций, самая наглядная из которых – это региональная классификация коррупции, которая, однако, не выдерживает критики с позиции Дж. Сартори [Sartori, 1970] за счет крайне высокой генерализации и отсутствия исключительных характеристик каждого из классов. Подобный подход продолжает оставаться достаточно популярным и в российской политологии – используются ставшие классическими теоретические разработки [Rose-Ackerman, 1999], в призме которых часто описываются аспекты российской коррупции.

Среди выявленных белых пятен современного состояния проблемного поля исследований коррупции выделяются следующие.

1. Отсутствие однозначного консенсуса относительно определения коррупции. Данная проблема не является фундаментальной, поскольку уже выработано достаточное количество определений, раскрывающих меняющиеся формы и особенности коррупции. В работах упомянутых выше исследователей выявляется тенденция к отсутствию спецификации понятия коррупции (при условии, что общего консенсуса в понимании коррупции нет), что позволяет понимать под ней и все, и ничего одновременно.

2. Обращение к устаревшим теоретическим разработкам [Persson, Rothstein, Teorell, 2013; Treisman, 2007; Tanzi, 1998]. В силу длительного исторического существования явления трансформации коррупции под воздействием факторов глобализации могут игнорироваться исследователями. Подобные трансформации коррупции ограничивают применимость и объяснительный потенциал части ранее созданных теоретических конструкций.

3. Фрагментация направлений исследования. Сложившаяся тенденция к сужению предмета исследования привела к созданию разнонаправленных концептов, обладающих вполне убедительным

объяснительным потенциалом исключительно на микроуровне или на макроуровне.

Выявив основные тенденции в массиве публикаций и обозначив «белые пятна» проблемного поля исследований коррупции, мы переходим к объяснению механизма функционирования коррупционного рынка, опираясь на существующие методологические разработки.

Коррупционный рынок: Методологические основы и механизм функционирования

Понимание коррупции как вида рыночных отношений в целом не ново. Анализ литературы демонстрирует, что ряд авторов обращались к вопросам существования коррупционного рынка [Ades, Tella Di, 1999] и объяснения его через категории спроса и предложения, а также выявляли те факторы, которые, по их мнению, способны тем или иным образом влиять на коррупционную динамику (см. приложение 2). Среди них отмечались: качество законов [Treisman, 2000], бремя государственного регулирования [Tanzi, 1998; Friedman, Johnson, Kaufmann, Zoido, 2000; Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, 2002; Wade, 1985], свобода СМИ [Strömberg, 2001], прозрачность государственного управления [Mehmet, 1996], качество бюрократии [Tanzi, 1998; Bardhan, 1997] и др.

Предлагаемая нами парадигма также опирается на экономические категории, однако они понимаются как эндогенные. Экзогенными являются переменные политического характера. Работы, выполненные в духе экономического детерминизма, способны объяснять коррупционные процессы в статике, но не динамические изменения – так как экономические факторы (налогообложение, зарплаты государственных служащих, бюджетные траты и др.) зависят от политических решений.

Распространение коррупции зависит от взаимодействия трех факторов: качества институтов, охвата государственного регулирования и степени государственного регулирования. Источником коррупции является власть [Bliss, Tella Di, 1997]. Концентрация административного ресурса у агента проистекает не только из законов, но и из широких дискреционных полномочий. То есть коррупция распространяется при условии расширения охвата государ-

ственного регулирования, увеличивающего количество точек потенциального возникновения коррупции. Второй фактор – низкая степень государственного регулирования, в рамках которой коррупционным акторам дается широкий круг полномочий [Wade, 1985], что вкупе с неопределенностью нормативного регулирования приводит к росту коррупционного поведения [Shleifer, Vishny, 1993].

Для коррупционного актора (желающего заключить коррупционную сделку с целью получения выгоды) – продавца – отправной точкой коррупционного поведения становится ситуация, в которой в силу несовершенства институтов контроля, перераспределения ресурсов, подотчетности, влияющей на итоговую результативность агентства (под которым мы можем понимать фактически все – от сельской школы до парламента), возникает спрос агентов на определенный «дополнительный доход» [Bardhan, 1997]. Этот доход они получают за счет коррупционного поведения. При этом их возможность получения дохода зависит от имеющегося административного ресурса.

Предположим, что в определенной структуре работают два одинаково квалифицированных сотрудника. В силу ряда причин зарплата одного из них в два раза ниже зарплаты второго при условии их равной результативности. В случае, если не существует жесткого контроля со стороны руководства, а также жестких санкций за коррупционное поведение, первый может за счет коррупции получить «надбавку» к зарплате. Таким образом, рождается предложение коррупции.

Спрос на коррупцию со стороны покупателей возникает в ситуации, когда в силу вышеописанных характеристик затрудняется вход на рынок [Broadman, Recanatini, 2001; Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, 2002] как товаров, так и услуг. Таким образом, начинает работать принцип сокращения издержек [Bliss, Tella Di, 1997; Friedman, Johnson, Kaufmann, Zoido, 2000]. Принцип увеличения прибыли начинает работать в случае, если конкуренция на рынке характеризуется совершенностью, в связи с чем предприниматели стремятся изменять характеристику с помощью коррупционных платежей [Воробьев, 2014]. Так формируется спрос на коррупцию.

Коррупционный рынок, однако, не представляет собой определенный набор товаров или услуг, который упоминается в связи с опи-

санием бытовой коррупции [Левин, Сатаров, 2012]. В нашем понимании **коррупционный рынок является надстройкой над рынками товаров и услуг, позволяющей осуществлять более легкий (т.е. с меньшими издержками) вход на рынок товаров и услуг.**

При развитии коррупции (т.е. падении качества институтов, расширении охвата государственного регулирования, снижении степени регулирования) происходит трансформация существующей надстройки: для продавца это возможность получения дополнительного дохода. Коррупционный актор следует модели рентоориентированного поведения, обладая определенным административным ресурсом и стремясь к его наращиванию.

Для покупателя коррупция становится уже вынужденной мерой, поскольку вместо выбора стратегии снижения издержек или увеличения прибыли он сталкивается с увеличивающимися барьерами для ведения своей деятельности (не только предпринимательской, но и, например, политической). Покупатель попадает в ситуацию необходимости выбора – платить и оставаться на рынке либо не платить и быть выдавленным с рынка [Persson, Rothstein, Teorell, 2013]. В зависимости от конфигурации коррупционных рынков [Vasileva, Vorobyev, 2014, р. 9–12] коррупционный рынок может формироваться как централизованный (патронажная сеть) или децентрализованный. Второй тип свидетельствует о крайне низком качестве институтов, отсутствии контроля. При этом именно децентрализованная коррупция наносит наиболее сильный вред функционированию рынков в целом, поскольку каждый коррупционный актор-продавец, стремясь получить максимальную выгоду, требует за свои услуги определенную плату [Shleifer, Vishny, 1993]. И у покупателя отсутствуют гарантии [Bardhan, 1997, с. 1324], поскольку коррупционные акторы-продавцы становятся вето-игроками.

Заключение

На основе анализа ранее проведенных исследований нами была предложена парадигма коррупционных рынков. Данная разработка представляет собой теорию среднего уровня, которая позволяет обобщить выявленные ранее факторы, оказывающие влияние на динамику коррупционных проявлений.

Разработка предложенной концепции опиралась на несколько ранее доказанных фундаментальных предпосылок.

– Эндогенность экономических факторов, влияющих на коррупцию. Коррупционные рынки развиваются в строгом соответствии с общими экономическими принципами. Акторы ведут себя ограниченно рационально, стремятся к максимизации своей выгоды в случае, если оценка рисков быть пойманным менее значима, чем потенциальная прибыль. Данная оценка строится на трех факторах – жесткости «правил игры» и их соблюдении (качество институтов), возможности устанавливать новые нормы или использовать созданные процедурные противоречия для формирования предложения коррупции (степень государственного регулирования), конфигурации административного ресурса и охвата рынка (охват государственного регулирования). Данные факторы не являются экономическими, а коренятся в ранее принятых политических решениях, что и обуславливает производность экономических факторов от факторов политических.

– Отказ от ранее созданных обобщений, связанных с объяснением эффективности антикоррупционных мер, полученных с помощью экстраполяции результатов исследований микроуровня на макроуровень.

Коррупция на этапе своего начального развития из разовых сделок превращается в надстройку над рынком (или рынками) существующих товаров и услуг (экономических, политических) и функционирует в соответствии с принципами динамики качества институтов, охвата и степени государственного регулирования. При дальнейшем распространении коррупции происходит постепенное вытеснение и замещение рынков товаров и услуг рынками коррупционными (т.е. теми, в которых получение товаров и услуг требует дополнительных платежей, а в дальнейшем теряется гарантия получения этих товаров и услуг даже при условии платежа). То есть возникает то, что называется системной коррупцией.

Примеры неуспешных антикоррупционных реформ, успешных в одних странах и неуспешных в других, обуславливаются разными контекстами, в которых данные реформы проводятся. В своем максимальном проявлении коррупция сама становится «правилом игры», интегрируясь в системы институтов и процессы государственного регулирования.

Данная теория представляет возможности для исследования коррупции, как в отдельных сферах общественной жизни, так и на уровне государства: это зависит от установочного понимания коррупции, вкладываемого исследователем. Теория также является базой для дальнейшего проведения качественных, количественных исследований, равно как исследований со смешанным дизайном.

Приложение

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОРИИ КОРРУПЦИОННЫХ РЫНКОВ И ОТНОШЕНИЕ К ТЕОРИИ КОРРУПЦИОННЫХ РЫНКОВ

Коррупция как рынок

Correa H.

**A comparative study of bureaucratic corruption
in Latin America and the U.S.A.**

Аналитическая модель бюрократической коррупции через призму теории общественного выбора основана на двух предпосылках: бюрократы стремятся к максимизации собственной полезности; они монопольно контролируют производство определенных благ и услуг. Коррупция формируется из спроса, предложения и конкуренции в потреблении благ. Монопсония увеличивает коррупцию, в то время как конкуренция, включая политическую, сокращает [Correa, 1985, р. 66]. Ключевыми факторами, показавшими разную степень влияния в США и Латинской Америке, являются политическое участие (в США, но не в Латинской Америке); свобода прессы (в Латинской Америке, но не в США); степень политической конкуренции (чем больше демократов в Конгрессе США, тем меньше коррупции, что, вероятно, связано с их политической платформой того времени) [Correa, 1985, р. 79].

Анализ коррупции как явления, аналогичного рынку. Демонстрирует различное влияние факторов на динамику рынка.

Dey H.K.
The genesis and spread of economic corruption:
A microtheoretic interpretation

Коррупция – самовоспроизводящееся явление, которое естественным образом расширяется в отсутствии ограничений. Это обмен между сторонами, в ходе которого одна из них передает другой коррупционную услугу (B-service) [Dey, 1989, p. 504]. Самовоспроизводство коррупции обусловлено наличием у одной из сторон квазимонополистической власти или полномочий, например делегированных. Коррупция расширяется за счет трех факторов: предложения, порождающего спрос (создание условий, в которых предложение взятки является лучшей альтернативой достижения цели); спроса, порождающего предложение (взятка предлагается для получения незаконных привилегий, например, чтобы таможенник закрыл глаза на нарушения импортера); и «learning-by-doing» эффекта (раз установленные правила дачи и приема взяток поддерживаются новыми «продавцами» и «покупателями» через сарафанное радио и объединение в Сети, которые позволяют минимизировать риски быть пойманными) [Dey, 1989, p. 504–505]. Факторами, влияющими на коррупцию, являются секретность операций, создание сетей, найм на службу и неопределенность цен или предложения коррупции [Dey, 1989, p. 506, 510–511].

Основные тренды исследований бихевиоральной экономики и возможность эволюции коррупционных рынков.

Jain A.K.
Corruption: A Review

Обзор коррупционных исследований до конца 1990-х годов.

Теория коррупционных рынков относится к разделу «Коррупция и внутренний рынок» (Corruption and internal market) [Jain, 2001, p. 90], в который также входят некоторые часто цитируемые исследования [Lambsdorff, 1998; Bliss, Tella Di, 1997; Wade, 1985].

Микроуровень: Коррупционная сделка и ее составляющие

Alam M.S.
Some economic costs of corruption in LDCs

Экономическое моделирование спроса и предложения бюрократической коррупции в условиях рентоориентированного поведения бюрократов. Поскольку коррумпированные чиновники стремятся к минимизации риска быть поймаными, они будут пытаться ограничить информацию и доступ к незаконному перераспределению ресурсов третьим лицам. По этой причине коррумпированные чиновники не создают «аукциона» на каждое коррупционное предложение, а склонны распределять последние между кликами доверенных людей. Способом увеличения дохода от коррупции является создание эластичного предложения – что возможно в случае, если бюрократ может повлиять на качество производимых услуг [Alam, 1990, p. 90–91]. В этом случае коррупционный доход будет увеличиваться с помощью новых источников или повышения размера взятки за счет неопределенности в предоставлении администрируемых ресурсов [Alam, 1990, p. 93–94].

Анализ создания предложения коррупции на микроуровне. Детализация обязанностей чиновника, прозрачность предоставления государственных услуг и рост степени регулирования ведет к снижению коррупции.

Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.
The Regulation of Entry

Теория государственного регулирования («пункт сбора платежей» (tollbooth)): регулирование создается для извлечения прибыли (ренты) через взятки, голоса или взносы в избирательную кампанию, а не для общественного блага. Межстрановый анализ показал, что чем больше регулирования и чем дороже процедуры открытия бизнеса, тем больше коррупции, но не выше качество продукта регулирования. Страны с романо-германской системой права в целом более склонны к максимизации регулирования по

сравнению с англосаксонскими. Эта склонность оказывает двойственный эффект: в случае качественных институтов (например, во Франции) это ведет к качественным общественным благам; в случае некачественных институтов система превращается в аппарат по извлечению ренты из всего, с серьезными провалами рынка [Djankov, La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, 2002, p. 34–35].

Механизм предложения коррупции. Рост охвата государственного вмешательства всегда приводит к росту коррупции. Но для коррупционных рынков с некачественными институтами рост будет происходить по экспоненте.

**Shleifer A., Vishny R.W.
Corruption**

Коррупция – результат продажи бюрократами государственного товара или услуги. Зависит от уровня централизации и структуры госаппарата: чем больше децентрализация, тем больше коррупция [Shleifer, Vishny, 1993].

Низкая степень регулирования при некачественных институтах провоцирует коррупцию.

**Svensson J.
Who must pay bribes and how much?
Evidence from a cross section of firms**

Механизм коррупционной сделки на микроуровне. Условия коррупционной сделки зависят от продавца, который определяет размер взятки, и от фирмы, решение которой зависит от способности заплатить взятку (основанной на ожидаемой выгоде) и способности отказаться (стоимость переноса бизнеса в целях избежания взятки) [Svensson, 2003, p. 208]. Поэтому больше взяток платят те, кто не может уйти: т.е. фирмы, связанные с госсектором, и крупные компании [Svensson, 2003, p. 216, 218]. Размер взятки определяется так: чем больше ожидаемая выгода и меньше шансов выхода из сделки, тем больше взятка [Svensson, 2003, p. 219, 220].

Модель спроса на административную коррупцию. Неэффективность исследований макроуровня коррупции в том, что они не объясняют национальные различия [Svensson, 2003, p. 208].

**Bliss C., Di Tella R.
Does competition kill corruption?**

Зависимость конкуренции от коррупции: рентоориентированные бюрократы с помощью коррупции выталкивают из отрасли наименее конкурентные фирмы, чтобы собирать большие взятки с оставшихся [Bliss, Tella Di, 1997]

Возможности моделировать рынки с высокой конкуренцией с помощью административной коррупции. Эволюция коррупционных рынков с высокой степенью регулирования.

**Макроуровень:
Зависимость коррупции от институтов**

**Rose-Ackerman S.
Trust, honesty and corruption:
Reflection on the state-building process**

Концептуальные предпосылки анализа связи коррупции, институтов (демократических политических структур, бюрократий, права, судов, рыночных институтов) и общественного доверия. Неоднозначные тенденции эволюции коррупции в случае демократических реформ [Rose-Ackerman, 2001, p. 558].

Эволюция коррупционных рынков в странах «тонкой государственности» с унаследованными традициями «социального государства» при демократизации.

**Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Thaicharoen Y.
Institutional causes, macroeconomic symptoms:
Volatility, crises and growth**

Страны, унаследовавшие из колониального прошлого «извлекающие институты» (направленные на обогащение небольшой элиты за счет извлечения ренты из широкого основания пирамиды – неэлиты), испытывают большую экономическую нестабильность и больше подвержены экономическим кризисам. Некачественные

институты вызывают нестабильность через различные микроэкономические и макроэкономические каналы.

Качество институтов определяет коррупционный рынок. Применение любых, даже самых лучших реформистских практик при некачественных институтах не приводит к ожидаемым улучшениям.

**Broadman H.G., Recanatini F.
Seeds of corruption – Do market institutions matter?**

Рыночная конкуренция снижает стимулы для рентоориентированного поведения. Подобные ограничения недостижимы для транзитных моделей, в которых основные причины коррупции – это сочетание входных барьеров на рынок, неэффективной системы законодательства и неконкурентной инфраструктуры производителей услуг [Broadman, Recanatini, 2001].

Качественные институты, предполагающие конкуренцию, снижают предложение коррупции и спрос на нее.

**Schopf J.C.
An explanation for the end of political bank robbery
in the Republic of Korea: The T + T model**

Коррупция зависит от политических институтов в двух аспектах: транзакционные издержки и прозрачность (T + T model). Низкие показатели модели гарантируют сращивание бизнеса и политики; рост прозрачности при демократии ведет к росту транзакционных издержек коррупционной сделки. В условиях прозрачности коррупция угрожает карьере и политикам приходится проводить антикоррупционные реформы [Schopf, 2001].

Зависимость политической коррупции от качества институтов.

**Lambsdorff J.G.
2002. Making corrupt deals:
Contracting in the shadow of the law**

Коррупция – это вид транзакционных издержек, поэтому экономический рост в странах с высокой коррупцией замедляется.

Смысл борьбы с коррупцией – не борьба с агентами, а оптимизация структуры издержек [Lambsdorff, 2002].

Механизмы снижения спроса на коррупцию в условиях некачественных институтов.

**Aidt T. et al. 2008.
Governance regimes, corruption and growth:
Theory and evidence**

Связь коррупции с политическим режимом через качество институтов: режим G с высоким качеством институтов и режим В с низким качеством институтов. В первом режиме коррупция сокращает экономический рост; во втором – особенно не влияет [Aidt, Dutta, Sena, 2008].

Измерение коррупционного рынка в части качества институтов.

**Отсутствие универсальных практик регулирования
коррупции и неэффективность методологии исследований**

**DeLeon P., Green M.T.
Chapter 31. Corruption and the new public management**

Реформы NPM (new public management) снижают коррупцию в странах типа Новой Зеландии за счет прозрачности бюджетирования и большей подотчетности [DeLeon, Green, 2001].

Различие в эффективности практик регулирования в разных коррупционных рынках.

**Tambulasi R.I.C.
All that glitters is not gold: New public management
and corruption in Malawi's local governance**

Реформы NPM в Малави привели к росту коррупции. Неудача связана с отсутствием структуры общественного управления (Public Governance) (равный доступ, этика, подотчетность и доверие) [Tambulasi, 2009].

Неравномерная эволюция коррупционных рынков в результате одинаковых мер по борьбе с коррупцией в силу изначально разных каналов коррупционного поведения.

**Kolstad I., Wiig A.
Is transparency the key to reducing corruption
in resource-rich countries?**

Ставит под сомнение универсальные практики борьбы с коррупцией. Прозрачность не обязательно ведет к снижению коррупции, так как не гарантирует возможность пользоваться информацией с целью уменьшения коррупции. Она может использоваться в информационной асимметрии чиновниками для получения взяток – если прозрачность повышает шансы на идентификацию чиновника, которому надо платить взятку. Поэтому повышение прозрачности не помогает без снятия ресурсного проклятия и строительства институтов, ограничивающих рентоориентированное поведение бюрократов [Kolstad, Wiig, 2009].

Прозрачность помогает только при наличии качественных институтов, при некачественных она приводит к росту коррупции.

**Persson A. et al.
Why anticorruption reforms fail-systemic corruption
as a collective action problem**

Традиционная парадигма рассмотрения коррупции как принципал-агентской проблемы не объясняет системную коррупцию и по этой причине совершенно не помогает с ней бороться. Причина провалов антикоррупционных кампаний в странах с системной коррупцией не в том, что нет желающих выступить принципалом над коррумпированным агентом, а в том, что цена честного поведения в коррумпированных обществах слишком высока. Поэтому антикоррупционные реформы, нацеленные на стимулирование добросовестности чиновников, не работают. Изменение формальных и неформальных правил игры является единственным решением для борьбы с системной коррупцией, в том числе создание новой ролевой модели [Persson, Rothstein, Teorell, 2013, p. 465].

Коррупционный рынок модели А косвенно подтверждает единственный однозначно сокращающий коррупцию фактор динамики коррупционных рынков – рост качества институтов.

Список литературы

- Васильева В., Воробьев А. Коррупционные рынки // Полис: Политические исследования. – М., 2015. – № 1. – [В печати].
- Воробьев А. «Захват государства»: качество институтов и режимные деформации (Поиск подхода и операционализация) // Общественные науки и современность. – М., 2014. – № 5. – С. 76–87.
- Левин М., Сатаров Г. Коррупция в России: классификация и динамика // Вопросы экономики. – М., 2012. – № 10. – С. 4–29.
- Рогозин Д. Обзор публикаций о коррупции // Отечественные записки. – М., 2012. – № 12 (47). – С. 24–39.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Thaicharoen Y. Institutional causes, macroeconomic symptoms: Volatility, crises and growth // Journal of monetary economics. – Rochester, NY, 2003. – Vol. 50, N 1. – P. 49–123.
- Acemoglu D., Verdier T. Property rights, corruption and the allocation of talent: A general equilibrium approach // Economic journal. – Nashville, TN, 1998. – Vol. 108, N 450. – P. 1381–1403.
- Acemoglu D., Verdier T. The choice between market failures and corruption // American economic review. – Nashville, TN, 2000. – Vol. 90, N 1. – P. 194–211.
- Ades A., Tella R. Di. Rents, competition, and corruption // American economic review. – Nashville, TN, 1999. – Vol. 89, N 4. – P. 982–993.
- Aidt T.S. Economic analysis of corruption: A survey // Economic journal. – Nashville, TN, 2003. – Vol. 113, N 491. – P. F632–F652.
- Alam M.S. Some economic costs of corruption in LDCs // Journal of development studies. – Oxford, 1990. – Vol. 27, N 1. – P. 89–97.
- Amos F. Ethics and social responsibility in local government // Long range planning. – Amsterdam, 1982. – Vol. 15, N 2. – P. 121–125.
- Andvig J., Moene K. How corruption may corrupt // Journal of economic behavior and organization. – Amsterdam, 1990. – Vol. 13, N 1. – P. 63–76.
- Bag P. Controlling Corruption in Hierarchies // Journal of comparative economics. – Amsterdam, 1997. – Vol. 25, N 3. – P. 322–344.
- Banerjee A. A theory of misgovernance // Quarterly journal of economics. – Oxford, 1997. – Vol. 112, N 4. – P. 1289–1332.
- Bardhan P. Corruption and development: A review of issues // Journal of economic literature. – Pittsburgh, PA, 1997. – Vol. 35, N 3. – P. 1320–1346.
- Beenstock M. Corruption and development // World development. – Amsterdam, 1979. – Vol. 7, N 1. – P. 15–24.

- Berkman H. Corporate ethics: Who cares? // Journal of the Academy of marketing science. – Berlin, 1977. – Vol. 5, N 3. – P. 154–167.
- Black B., Kraakman R., Tarassova A. Russian privatization and corporate governance: What went wrong? // Stanford law review. – Stanford, 2000. – Vol. 52, N 6. – P. 1731.
- Bliss C., Tella R. Di. Does competition kill corruption? // Journal of political economy. – Chicago, 1997. – Vol. 105, N 5. – P. 1001–1023.
- Broadman H., Recanatini F. Seeds of corruption – Do market institutions matter? // MOST. – Berlin, 2001. – Vol. 11, N 4. – P. 359–392.
- Burn W. Electoral corruption in the nineteenth century // Parliamentary affairs. – Oxford, 1950. – Vol. 4, N 4. – P. 437–442.
- Cadot O. Corruption as a gamble // Journal of public economics. – Amsterdam, 1987. – Vol. 33, N 2. – P. 223–244.
- Chang D., Zastrow C. Police evaluative perceptions of themselves, the general public and selected occupational groups // Journal of criminal justice. – Amsterdam, 1976. – Vol. 4, N 1. – P. 17–24.
- Correa H. A comparative study of bureaucratic corruption in Latin America and the U.S.A. // Socio-economic planning sciences. – Amsterdam, 1985. – Vol. 19, N 1. – P. 63–79.
- Diamond L. Class formation in the swollen African state. // Journal of modern african studies. – Cambridge, 1987. – Vol. 25, N 4. – P. 567–596.
- Djankov S., La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A. The regulation of entry // Quarterly journal of economics. – Oxford, 2002. – Vol. 117, N 1. – P. 1–37.
- Eliasberg W. Corruption and bribery // Journal of criminal law criminology and police studies. – Chicago, 1951. – Vol. 42, N 3. – P. 317–331.
- Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido P. Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries // Journal of public economics. – Amsterdam, 2000. – Vol. 76, N 3. – P. 459–493.
- Goel R., Nelson M. Corruption and government size: A disaggregated analysis // Public choice. – Berlin, 1998. – Vol. 97, N 1–2. – P. 107–120.
- Golden M., Picci L. Proposal for a new measure of corruption, illustrated with Italian data // Economics and politics. – New York, 2005. – Vol. 17, N 1. – P. 37–75.
- Gupta S., Mello L. De, Sharan R. Corruption and military spending // European journal of political economy. – Amsterdam, 2001. – Vol. 17, N 4. – P. 749–777.
- Guriev S. Red tape and corruption // Journal of development economics. – Amsterdam, 2004. – Vol. 73, N 2. – P. 489–504.
- Gylfason T. Nature, power, and growth // Scottish Journal of Political Economy. – New York, 2001. – Vol. 48, N 5. – P. 558–588.
- Hillman A., Swank O. Why political culture should be in the lexicon of economics // European journal of political economy. – Amsterdam, 2000. – Vol. 16, N 1. – P. 1–4.
- Husted B. Wealth, culture, and corruption // Journal of international business studies. – London, 1999. – Vol. 30, N 2. – P. 339–360.
- Jenkins R., Goetz A. Accounts and accountability: Theoretical implications of the right-to-information movement in India // Third world quarterly. – London, 1999. – Vol. 20, N 3. – P. 603–622.

- Kolstad I., Wig A.* Is Transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? // *World development*. – Amsterdam, 2009. – Vol. 37, N 3. – P. 521–532.
- Kunicová J., Rose-Ackerman S.* Electoral rules and constitutional structures as constraints on corruption // *British journal of political science*. – Cambridge, UK, 2005. – Vol. 35, N 4. – P. 573–606.
- Lambsdorff J.* Corruption and rent-seeking // *Public choice*. – Berlin, 2002. – Vol. 113, N 1–2. – P. 97–125.
- Lenhoff A.* The constructive trust as a remedy for corruption in public office // *Columbia law review*. – New York, 1954. – Vol. 54, N 2. – P. 214–217.
- Lien D.-H.* Corruption and allocation efficiency // *Journal of development economics*. – Amsterdam, 1990. – Vol. 33, N 1. – P. 153–164.
- Lui F.* A dynamic model of corruption deterrence // *Journal of public economics*. – Amsterdam, 1986. – Vol. 31, N 2. – P. 215–236.
- Macrae J.* Underdevelopment and the economics of corruption: A game theory approach // *World development*. – Amsterdam, 1982. – Vol. 10, N 8. – P. 677–687.
- Mauro P.* Corruption: causes, consequences, and agenda for further research // *Finance and development*. – Washington, 1998. – Vol. 35, N 1. – P. 11–14.
- Mckittrick E.* The Study of corruption // *Political science quarterly*. – New York, 1957. – Vol. 72, N 4. – P. 502–514.
- Mehmet B.* Corruption, supervision, and the structure of hierarchies // *Journal of law, economics, and organization*. – Oxford, 1996. – Vol. 12, N 2. – P. 277–298.
- Messner E.* Reactive entitlement in elective public office: A possible precursor to political corruption // *American journal of psychotherapy*. – New York, 1981. – Vol. 35, N 3. – P. 426–435.
- Misner G.* The organization and social setting of police corruption // *Police journal*. – Thousand Oaks, 1975. – Vol. 48, N 1. – P. 45–51.
- Myerson R.* Effectiveness of electoral systems for reducing government corruption: A game-theoretic analysis // *Games and economic behavior*. – Amsterdam, 1993. – Vol. 5, N 1. – P. 118–132.
- Nice D.* The policy consequences of political corruption // *Political behavior*. – Berlin, 1986 a. – Vol. 8, N 3. – P. 287–295.
- Nice D.* The policy consequences of political corruption // *Political Behavior*. – Berlin, 1986 b. – Vol. 8, N 3. – P. 287–295.
- Sardan O.* A moral economy of corruption in Africa? // *Journal of Modern African Studies*. – Cambridge, 1999. – Vol. 37, N 1. – P. 25–52.
- Orloff A., Skocpol T.* Explaining the politics of public social spending // *American Sociological Review*. – Thousand Oaks, 1984. – Vol. 49, N 6. – P. 726–750.
- Persson A., Rothstein B., Teorell J.* Why anticorruption reforms fail-systemic corruption as a collective action problem // *Governance*. – Trenton, NJ, 2013. – Vol. 26, N 3. – P. 449–471.
- Persson T., Tabellini G., Trebbi F.* Electoral rules and corruption // *Journal of the European economic association*. – Trenton, NJ, 2003. – Vol. 1, N 4. – P. 958–989.
- Pogrebin M., Atkins B.* Probable causes for police corruption: Some theories // *Journal of criminal justice*. – Amsterdam, 1976. – Vol. 4, N 1. – P. 9–16.

- Reid J., Kurth M.* Public employees in political firms: Part B. Civil service and militancy // *Public choice*. – Berlin, 1989. – Vol. 60, N 1. – P. 41–54.
- Rose-Ackerman S.* Corruption and government: Causes, consequences, and reform. – Cambridge, UK: Cambridge univ. press, 1999. – 284 p.
- Rose-Ackerman S.* Democracy and «grand» corruption // *International social science journal*. – Thousand Oaks, CA, 1996. – Vol. 48, N 149. – P. 365–380.
- Rose-Ackerman S.* The economics of corruption // *Journal of public economics*. – Amsterdam, 1975. – Vol. 4, N 2. – P. 187–203.
- Rose-Ackerman S.* Trust, honesty and corruption: Reflection on the state-building process // *Archives européennes de sociologie*. – Cambridge, 2001. – Vol. 42, N 3. – P. 526–570.
- Sartori G.* Concept misformation in comparative politics // *The american political science review*. – Cambridge, UK, 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053.
- Scott I.* Institutional design and corruption prevention in Hong Kong // *Journal of contemporary China*. – London, 2013. – Vol. 22, N 79. – P. 77–92.
- Shleifer A., Vishny R.* Corruption // *Quarterly journal of economics*. – 1993. – P. 599–618.
- Strömberg D.* Mass media and public policy // *European economic review*. – Amsterdam, 2001. – Vol. 45, N 4–6. – P. 652–663.
- Svensson J.* Eight questions about corruption // *Journal of economic perspectives*. – Nashville, TN, 2005. – Vol. 19, N 3. – P. 19–42.
- Svensson J.* Foreign aid and rent-seeking // *Journal of international economics*. – Amsterdam, 2000. – Vol. 51, N 2. – P. 437–461.
- Tanzi V.* Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures // *IMF staff papers*. – Washington, 1998. – Vol. 45, N 4. – P. 559–594.
- Treisman D.* The causes of corruption: A cross-national study // *Journal of public economics*. – Amsterdam, 2000. – Vol. 76, N 3. – P. 399–457.
- Treisman D.* What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? // *Annual review of political science*. – Palo Alto, CA, 2007. – Vol. 10. – P. 211–244.
- Vasileva V., Vorobyev A.* Corruption Markets: An Analytical Framework For Assessing Anti-Corruption Campaigns // *Higher School of Economics Research Paper. WP BRP*. – Moscow: 2014. – Vol. 21. – 33 p.
- Wade R.* The market for public office: Why the Indian state is not better at development // *World Development*. – Amsterdam, 1985. – Vol. 13, N 4. – P. 467–497.
- Webb W.* Ethical culture and the value-based approach to integrity management: A case study of the department of correctional services // *Public administration and development*. – Trenton, NJ, 2012. – Vol. 32, N 1. – P. 96–108.
- Wei S.-J.* How taxing is corruption on international investors? // *Review of economics and statistics*. – Michigan, 2000. – Vol. 82, N 1. – P. 1–11.
- Winston G.C.* The appeal of inappropriate technologies: Self-inflicted wages, ethnic pride and corruption // *World development*. – Amsterdam, 1979. – Vol. 7, N 8–9. – P. 835–845.

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

М.В. ИЛЬИН

МЕЖДУ ОЧЕВИДНЫМ И НЕВЕРОЯТНЫМ. ГДЕ ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ УНИВЕРСАЛИСТСКИХ СХЕМ?

Рецензия на книгу: Fukuyama F. *The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution.* – L.: Profile books. 2012. – 585 p.; Fukuyama F. *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy.* – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.

Появления нового труда Фрэнсиса Фукуямы ждали с нетерпением. Что скажет на этот раз исключительно конъюнктурно меткий автор? Каким образом вся мыслимая эволюция политики будет представлена в рамках единой концепции? Как будет сочетаться универсальная трактовка политического порядка с его вариациями во временах и цивилизационных пространствах? Что дает Фукуяме фокусирование внимания на понятии политического порядка? Такие примерно вопросы появились у меня при чтении первых объявлений о готовящейся публикации. Вероятно, у коллег появилось еще больше иных вопросов, но так или иначе обращение Фукуямы к понятию политического порядка, а также обещание соединить универсализм и конкретность анализа интриговали многих.

Ожидание было долгим. Разговоры о новом труде Фукуямы начались уже в 2010 г. В апреле 2011 г. появился первый том [Fukuyama, 2011]. Некоторые вопросы прояснились уже в 2012 г.,

когда на мой стол попала версия книги в мягкой обложке [Fukuyama, 2012].

Фукуяма трактует политический порядок как базовую характеристику политической организации высокой сложности и длительного эволюционного состояния. При этом политический порядок рассматривается двояко. В простейшем понимании – это универсальная эманация властного контроля, не дающего восторжествовать хаосу и беспорядку. В контексте развития – это базовая характеристика и одновременно длительная эволюционная фаза политической организации высокой сложности, обретающая «веберовскую» монополию на принуждающее насилие в ходе «модернизации».

Вместе с тем многие вопросы остались неясными. Приходилось ждать второго тома. Сам Фукуяма обещал: «Второй том доведет историю до настоящего. Особое внимание будет уделено воздействию западных институтов на институты незападных обществ, которые стремились модернизоваться... Затем будет описано, как политическое развитие осуществляется в нынешнем (contemporary) мире» [Fukuyama, 2012, XV].

Теперь настало время охватить одним взглядом весь опус magnus популярного автора, больше 1200 страниц текста. Какие же уроки можно извлечь политической науке вообще, а отечественной в особенности?

Первый и главный урок. Масштабность замысла, подогревание интереса к нему на протяжении месяцев и даже лет сами по себе становятся фактором развития науки. Ничего подобного мы не делаем, хотя возможностей немало. Взять тот же «Политический атлас современности» [Политический атлас.., 2007], или «От общественного к публичному» [Хархордин и др., 2011], или «Политическая идентичность и политика идентичности» [Политическая идентичность..., 2011–2012], или «Гражданское и политическое в российских общественных практиках» [Патрушев и др., 2013]¹. Каждая из этих книг вполне заслуживала того, чтобы разговор о ней начался загодя, чтобы он продолжился в разных формах, включая обсуждения и рецензии, чтобы последовало продолжение в виде новых исследований и публикаций. Но нет, не решились коллеги на такое. А даже если бы и собирались, то неизвестно, что

¹ См. рецензию в «Политической науке», 2014, № 4.

получилось бы. Скорее всего, произошло бы по Гамлету: «Так погибают замыслы с размахом, Вначале обещавшие успех, От долгих отлагательств»¹. Не верится что-то в упорство, последовательность и, главное, профессиональную солидарность и интерес к творчеству друг друга. А без этого какая может быть научная традиция? В лучшем случае – «плоский ландшафт», как говорит А.Ю. Мельвиль [Мельвиль, 2012; Мельвиль, 2013].

Вернемся, однако, к предмету нашей рецензии, к сочинению Ф. Фукуямы.

Важнейший содержательный урок заключается в том, что беговорочное расширение масштаба от «предчеловеческой» поры до наших времен существенно обедняет и ограничивается аналитический аппарат, – если предварительно не «постелить соломку», не предусмотреть методологическую перефокусировку масштаба, как это предлагал великий Чарльз Тилли еще три десятилетия назад [Tilly, 1984]. Наряду с масштабностью и длительностью Фукуяма приписывает политическому порядку универсальные и временные характеристики властного контроля. Показательно, что и в заголовке, и в тексте книги используется единственное число. Это позволяет автору связать возникновение политического порядка в первом эволюционном смысле с жестким и жестоким принуждением.

Возникновение политического порядка в эволюционном смысле Фукуяма связывает с тем, что он называет *модернизацией*. Правда, некое подобие политического порядка в первобытных условиях уже возникает, однако назвать его порядком Фукуяма не решается, а говорит о *естественной общительности* (*natural sociability*) *социальных животных* (*social animals*). Отсюда и указание на дочеловеческие времена в подзаголовке первого тома. Сколько-нибудь серьезно сам антропогенез Фукуяма не рассматривает, а лишь констатирует чудесное появление социальности как своего рода среды для формирования порядка. Затем уже в племенных и патrimonиальных условиях возникает его подобие, но оно по определению несовершенно. Так, появление государства на месте племени связано с появлением монополии на принуж-

¹ And enterprises of great pith and moment With this regard their currents turn awry, And lose the name of action.

дающее насилие, однако и сама она, и зачатки возникающего порядка не отвечают стандартам, которых требуют жесткий предельный масштаб и универсализм, заданные Фукуямой.

Результат довольно озадачивающий. Получается, что столь жесткие, предельные критерии применяются не только к дочеловеческим, но и к уже вполне человеческим временам. А это примерно 80 тыс. поколений, если считать с раннего палеолита, 30 тыс. поколений с освоения огня, 13 тыс. поколений с образования современного вида *homo sapiens* и около 5–7 тыс. поколений с верхнепалеолитической революции и появления, как говорят антропологи, *поведенческой современности* (*behavioral modernity*), характеризующейся культурными универсалиями (погребениями, играми, произведениями искусства и, естественно, языком и интеллектом). Большая часть всех этих времен попросту не видна.

Отчетливо видны лишь времена настоящего порядка. Но тогда исчезнет широчайший временной масштаб. Как тут быть? Фукуяма находит выход в различении подлинного порядка, его он называет современным (*modern*), и предшествующих ему разновидностей неполного и неполноценного намека на порядок.

Широкая универсалистская рамка вынуждает Фукуяму рецидировать модерн к трем простым составляющим. Это *государство* (*the state*), *верховенство закона* (*the rule of law*) и *подотчетное правление* (*accountable government*, что можно также понять и как подотчетное правительство) [Fukuyama, 2012, p. 16]. Все эти три составляющие рассматриваются как вполне автономные, а сама политическая сфера – как полностью независимая от культуры, хозяйственной деятельности и других сфер человеческого существования. В этом отношении Фукуяма противостоит господствующей точке зрения, что эффект модернизации создается как раз за счет синергетики развития в разных сферах, а развитее лишь одной сферы ведет к abortивным модернизациям [Сергеев, Бирюков, 1998].

Фукуяма настаивает: «Одна из величайших ошибок ранней теории модернизации помимо заблуждений, будто политика, экономика и культура должны соответствовать (*had to be congruent*) друг другу, заключалась и в признании того, что переходы между “стадиями” истории отчетливы и необратимы» [Fukuyama, 2012, p. 77–78]. Что касается отчетливости, то тут трудно спорить. Соответствующий пагубный постулат (*pernicious postulate*) выделяет и

критически рассматривает еще Чарльз Тилли [Tilly, 1984, p. 33]. А вот отстаиваемая Фукуямой обратимость сама крайне пагубна. Она ведет к построению произвольных последовательностей (*sequencing*), что существенно искажает логику эволюции и исторического развития. Но об этом чуть позже, а пока рассмотрим трех китов современного порядка, начиная с основного – государства.

Некое подобие политического порядка в первобытных, племенных и патrimonиальных условиях¹ уже возникает, однако он вполне обретает свои «веберовские» черты безусловного и полного господства, монополии на принуждающее насилие лишь с появлением государства. Когда же это произошло? Фукуяма верен своей конъюнктурности и чувству моды. В Китае, конечно. «Так называемый восточный деспотизм – это не что иное, как скороспелое (*precocious*) возникновение политически современного государства» [Fukuyama, 2012, p. 93].

Фукуяма связывает образование государства с достижением определенного уровня эволюционной развитости, а точнее, масштабов концентрации моши, ее объемов и плотности. В Китае создание соответствующих политий было сопряжено с беспрецедентной концентрацией власти и созданием аппарата силового принуждения. По мнению Фукуямы, это произошло постепенно. Первая попытка приходится на эпоху Чжоу, точнее, Восточного Чжоу в VIII в. до н.э. Затем уже в III в. до н.э. она подкрепляется созданием многих новых институтов военно-бюрократического господства. Наконец, полной определенности и тотальности господство централизованной военно-бюрократической власти достигает при Цинь Шихуан-ди (II в. до н.э.).

Фукуяма исключил другие древние цивилизации. «Хотя Греция и Рим были исключительно важны как предшественники современного подотчетного правления (*modern accountable government*), Китай гораздо важнее в развитии государства (*the state*)» [Fukuyama, 2012, p. 21].

¹ Фукуяма даже выделяет особый тип патrimonиального государства, но редуцирует его до «личного владения правителя», а его аппарат до «продолжения домохозяйства правителя» (Fukuyama, 2014, p. 10). Разумеется столь мощная редукция ведет к невозможности разглядеть фактические формы как исторического, так и нынешнего патrimonиализма.

Это связано с выходом из состояния варварства и перерастания полисных порядков впервые, как он считает, в эпоху Чжоу (точнее, Восточного Чжоу с VIII в. до н.э.) и вполне определенно в эпоху Цинь (II в. до н.э.). «Война была, без всякого сомнения, единственным наиболее важным двигателем формирования государства при китайской династии Восточного Чжоу. От начала правления Восточного Чжоу в 770 г. до н.э. вплоть до консолидации династии Цинь в 221 г. до н.э. Китай испытал беспрестанную череду войн, которые увеличивались по масштабам, затратности и потерям человеческих жизней. Переход Китая от децентрализованного феодального государства к централизованной империи (*unified empire*) достигался исключительно с помощью завоевания. И буквально каждый современный (*modern*) государственный институт, созданный в этот период, может прямо или косвенно быть связан с необходимостью вести войну» [Fukuyama, 2012, р. 111].

С его точки зрения, государства отнюдь не политические образования, коллективно начавшие создавать со второй половины XV столетия системы равных друг другу в правовом отношении и суверенных «статусов» (*stati, states etc.*). Для него это мощные системы ведения войны и имперского господства. Фукуяма считает полное и безоговорочное господство над населением с помощью вооруженного насилия первым и основным современным политическим институтом. «Китай единственный (*alone*) создал *современное (modern. – Курсив Фукуямы)* государство в терминах Вебера» [Fukuyama, 2012, р. 21].

Однако беспрецедентная концентрация мощи и ресурсов силового принуждению в руках Цинь Шихуанди отнюдь не равносочна монополии, пусть даже она и выглядит таковой. Гибель системы беспрецедентного насилия вслед за смертью самого ее создателя прекрасно это подтверждает. Труп «первого императора» еще лежал, обложенной соленой рыбой, чтобы замедлить тление, а ресурсы принуждения уже лавинообразно расхватывались ловкими придворными, а там теми, кто оказывался смел.

Беспрецедентная концентрация мощи не отменяла принципа непрямого правления. Именно поэтому созданному Цинь Шихуанди порядку господства не хватало по-современному понимаемой однородности и универсальности, а значит, и монополизма. Каждый раз принуждение осуществлялось маленькой копией власти-

теля. Над ними не было обезличенного порядка-состояния, который нес в себе монополию, но не отдавал его никому лично, никакой инстанции, кроме единовластного себе и столь же универсального в своей абстрактности суверена. На Цинь Шихуанди можно показать пальцем, на современного суверена – нельзя. Как только удается указать на Гитлера, хунту или даже на «майдан», появляются сомнения по поводу действительной суверенности и современнности соответствующих государств.

Возвратимся, однако, к тексту Фукуямы. Серьезные сомнения вызывает и то, что он не только придает принципу монополии государства на принуждающее насилие самодовлеющее значение, но и противопоставляет его другому современному принципу – подотчетности властных инстанций¹. Сам Макс Вебер был далеко не столь жесток. Как можно понять его трактовку парламентаризма и других современных институтов, их связь с государством и его монополией на принуждающее насилие далеко не случайна и логически оправдана.

Как же соотносится государство, точнее, современное, прецельно централизованное, принудительное и деперсонализованное государство с двумя другими столпами современности: верховенством права (*rule of law*) и подотчетным правлением (*accountable government*)²? Они возникают значительно позже и предстают в несколько более размытом виде.

Верховенство права Фукуяма выводит из религиозных традиций и связывает с кодификацией римского права в христианском мире. Одновременно он увязывает его с другой традицией – появлением общего права в Англии после норманнского завоевания, которое «утверждалось в меньшей степени церковью, чем ранними монархами, которые использовали свою способность распространить безличное правосудие (*impersonal justice*) как средство укрепления своей легитимности» [Fukuyama, 2014, p. 12]. Замечание странное, по меньшей мере, в двух отношениях. Возникает вопрос:

¹ «Хотя Греция и Рим были исключительно важны как предшественники современного подотчетного правления (*modern accountable government*), Китай гораздо важнее в развитии государства (*the state*)» [Fukuyama 2012, p. 21].

² Во втором томе подотчетное правление превращается в демократическую подотчетность (*democratic accountability*). Именно так оно именуется теперь в специальной главке [Fukuyama, 2014, p. 12–15] и далее по всему тексту.

если общее право было инструментом королей, то откуда взялось его верховенство? Одновременно требуется уточнение. Утверждение и самой традиции общего права, и практики не столько безличного, сколько честного и справедливого направления правосудия связано с развитием института мировых судов, а также судов справедливости (court of equity) примерно с XIV столетия. Короли в силу различных обстоятельств вынуждены были не мешать этим процессам, а порой и неохотно помогать им. Как бы то ни было, утвердилось верховенство закона в полной мере даже на британской почве только после Славной революции и возникновения конституции в конце XVII столетия. До этого, как показывают шекспировская «Мера за меру» и проблематичность процесса над Карлом Стюардом, об отчетливом и бесспорном верховенстве права даже в наиболее продвинувшейся в данном направлении Англии говорить не приходится.

Сделанные выше оговорки, а число их можно умножить, обращаясь едва ли ни к каждому утверждению Фрэнсиса Фукуямы, подтверждают, что однобокое и жесткое расширение масштаба выводит из поля зрения необходимую фактуру и заставляет автора насыщать свою аргументацию ее произвольным привлечением.

В еще большей степени парадокс сочетания предельной абстракции с произвольной фактурой проявляется в случае демократической подотчетности. Как я уже отмечал, во время пути собачка успела уже подрасти. *Подотчетное правление* (accountable government) первого тома превратилось в *демократическую подотчетность* (democratic accountability). Их эквивалентность в рамках общей конструкции Фукуямы еще более усиливает концептную растянутость, и без того избыточную и для одного, и для другого понятия.

Концептная растянутость облегчает Фукуяме использование простого и «очевидного» примера подотчетности. Это «феодальные институты сословий, известные под разными именами как Кортесы, Диета, двор суверена, Земский Собор, или – в Англии – как Парламент» [Fukuuyama, 2014, р. 12]. Примеры явно зыбкие, хотя открывателей суверенной демократии Грызлова и Мединского они обрадовали бы. Фактически подобные же явления можно было бы найти гораздо раньше вплоть до полисов, например, Римской республики. Там действительно в еще более отчетливой форме институциональный предшественник подотчетности в виде горизон-

тального разделения властей и вертикальной контроля существовали. Но это была отнюдь не подотчетность, а ее эволюционныеprotoформы в виде сдержек и противовесов. Порой они подкреплялись клятвами и отчетами, напоминая будущие практики подотчетности или даже предвосхищая их. Однако институциональные рамки сдержек и противовесов вплоть до поры устойчивой демократизации и, по большому счету, до третьей волны демократизации, как правило, насыщались отнюдь не демократическими практиками. И только с регулярным и устойчивым их насыщением демократическими практиками начинается их собственно институциональная трансформация в подотчетность. Характерно, что заметили такие институциональные эффекты Филипп Шмиттер и Терри Карл только в 1991 г. [Smittter, Karl, 1991]. Это открытие, однако, фактически оставалось не замеченным коллегами вплоть до второй половины 90-х годов, когда растущее количество демократий резко превысило уменьшающееся количество авторитарий, а институты и практики подотчетности стали основным различительным признаком произошедшего исторического (а возможно, и эволюционного) изменения.

Вместе с тем Фрэнсис Фукуяма признает: «Хотя эти новые политические порядки установили принцип подотчетности, ни Англия 1689 г., ни Соединенные Штаты 1789 г. не могут быть признаны современными демократиями» [Fukuyama, 2014, р. 13]. То, что Фукуяма называет принципом подотчетности, не было, конечно, ни подотчетностью, ни даже ответственностью. Кабинетная система начинает зарождаться в Англии только в начале XVIII в., а ответственные правительства появляются уже ближе к концу столетия. Да и парламентская ответственность при всей своей исторической и эволюционной значимости еще была крайне далека от подотчетности и по своей институциональной конфигурации, и по используемым практикам, хотя предвосхищала ее и прямо готовила ее появление.

Что касается не только подотчетности, но и вообще намеков на современную демократию, то они стали появляться совсем недавно. В своей книге о соперничестве и демократии с 1650 по 2000 г. Чарльз Тилли предлагает вооружиться «поисковиком демократии XXI века» и отправиться в век XVII. Что этому замечательному ученому удается обнаружить, высадившись в 1650 г.? «Обилие революций и войн, но считанные приметы демократии» [Tilly,

2003, р. 42]. Более того, еще Роберт Даль отмечал, что в Западной Европе «до 1900 г. только во Франции, Италии и Швейцарии были кабинеты или премьеры, полностью подотчетные избираемому законодательному органу» [Даль, 2003, с. 360]. Да и другие приметы демократии, включая инклюзивное гражданство, избирательные права и т.п., стали превращаться из диковинок и новаций в нечто регулярное и «естественное» только в последние десятилетия – да и то далеко не повсеместно.

Основной урок заключается в том, что предельное и жесткое расширение масштаба вызывает крайнюю бедность универсалистских схем. Попытки произвольно насытить их фактурой приводят к падению с лестницы абстракции [Sartori, 1970]. Что может быть сделано? Один выход заключается в использовании по примеру Макса Вебера типологического анализа. Тогда широчайшие обобщения могут быть представлены в виде вполне детализируемых и насыщаемых конкретным содержанием прототипов или для отдельных исследовательских задач различных типов от идеальных или чистых до пограничных, исторических и даже усредненно-эмпирических. Другой выход заключается в варьировании масштабов и в передвижении по сарториевской лестнице абстракции. В этом случае одну и ту же схему или принцип можно будет трансформировать и соотносить с равновеликой себе фактурой.

Некое сочетание этих двух подходов, да еще и подкрепленное сужением общей рамки с дочеловеческих времен до писаной истории человечества, предприняли Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст [North, Wallis, Weingast, 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2009]. Полученные ими результаты выглядят куда убедительней построений Фрэнсиса Фукуямы. Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст предложили системную типологию социальных порядков весьма высокой степени абстракции. Они сделали порядок (и порядки – для них различие множественного и единственного числа несущественно) буквально базовой категорией, призванной описывать и объяснять общесистемные свойства целых эволюционных поколений общесоциальных систем. В частности, они выделяют порядки открытого (open access orders) и ограниченного доступа (limited access orders), что предполагает и не рассматриваемую ими возможность порядков закрытого доступа (closed access orders). Конечно, редукция открытости как таковой к открытости

доступа¹ как будто конкретизирует используемую ими категорию. Это должно было бы уменьшить угрозу избыточной абстрактности. Однако на деле происходит нечто напоминающее концептную натяжку. Фактическое рассмотрение эффектов общеморфологической открытости осуществляется лишь с учетом доступа, но трактуемого по необходимости крайне расплывчато.

В своей книге Норт и его коллеги постоянно перемещаются по лестнице абстракции от анализа функционирования отдельных социальных порядков и даже часто от специфических способов их социального открывания или ограничений подобного открывания до придания соответствующим практикам самодовлеющего, эпохального, всемирно-исторического значения. Равным образом они трактуют крайне абстрактные принципы открытости доступа и затем прямо связывают их с весьма конкретными и исторически преходящими практиками. Происходит скачок с самой нижней ступеньки лестницы на ее вершину или прыжок с вершины абстракции к самой непосредственной конкретике².

Свои масштабные научные труды и Норт с соавторами, и Фукуяма нацеливают на широчайшие обобщения. Угол их зрения расширяется, но детали и повседневная фактура скрываются. Правда, при этом они акцентировали и выпятили некоторые характерные детали, создав иллюзию, будто гигантские эволюционные порядки можно редуцировать до весьма конкретно понимаемых правил, а не абстрактных принципов. Фактически нам с вами и всей мировой политической науке брошен вызов. Задача заключается в том, чтобы обеспечить широту обобщений при сохранении возможности эмпирической их проверки конкретной фактурой. Задача непростая, но без ее хотя бы частичных решений никто из нас не сможет продвинуться в изучении своей проблематики, какой

¹ Данная редукция фактически исключает все другие аспекты открытости, а именно баланс обменов со средой. В случае с империями важен не столько доступ, например, варваров к благам цивилизации, сколько экспорт этих благ, а с ними коммуникативных, политических, хозяйственных и прочих порядков, имперских форм и самой имперской формы. В случае с современными системами количество параметров обмена со средой радикально возрастает, что тем более делает проблематичным выделение одного лишь доступа.

² Подробнее см.: [Ильин, 2014].

бы специфической и независимой от общих методологических вызовов она ни казалась.

Список литературы

- Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – 576 с.

Мельвиль А.Ю. Перспективы развития высшего политологического образования // Развитие образования в России: опыт ВШЭ. Круглый стол, 26 ноября 2012. – М., 2012. – 12 с. – Режим доступа: <http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301332296%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%9B%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%82%D1%8F%20%D0%90%D0%92%D0%AE%D0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%9B%D0%BB%D1%8F%D0%9F%D0%9B%D1%81%D1%88%D0%9B%D0%93%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%9B%D1%82%D0%9B%D1%87%D0%9B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%9B%D0%93%D0%BE%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%92%D0%9B%D0%98%D1%8F.pdf> (Дата посещения: 01.02.2015.)

Мельвиль А.Ю. Когда и как может закончиться «клиннеевский этап» в нашем профессиональном развитии? Методологический семинар РАПН «Российская политическая наука сегодня», Москва, ИНИОН РАН // Российская ассоциация политической науки. – М., 2013. – Режим доступа: <http://rapn.ru/in.php?d=4170&gr=1623> (Дата посещения: 01.02.2015.)

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 479 с.

От общественного к публичному / Под ред. Хархордина О.В.. – СПб.: Европейский университет, 2011. – 529 с.

Патрушев С.В. Гражданское и политическое в российских общественных практиках / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – 2013. – 525 с.

Политическая идентичность и политика идентичности / Под ред. И.С. Семененко; в 2-х тт. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – Т. 1. – 2011. – 537 с.; Т. 2. – 2012. – 498 с.

Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств / Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: МГИМО, 2007. – 271 с.

Сергеев В.М., Бирюков Н.И. В чем секрет «современного» общества // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – №. 2. – С. 52–63.

Fukuyama F. The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2011. – 608 p.

Fukuyama F. The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. – L.: Profile books. 2012. – XIV, 585 p.

- Fukuyama F.* Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.
- North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R.* Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. – N.Y.: Cambridge univ. press. – 2009. – 436 p.
- Sartori G.* Concept misformation in comparative politics // American political science review. – 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053.
- Schmitter P.C., Karl T.L.* What democracy is... and is not // Journal of democracy. – 1991. – Vol. 2, N 3. – P. 75–88.
- Tilly Ch.* Big structures, large processes, huge comparisons. – N.Y.: Russell Sage Foundation, 1984. – 192 p.
- Tilly Ch.* Contention and democracy in Europe, 1650–2000. – Cambridge: Cambridge univ. press. – 2003. – 305 p.

А.А. ЛОБОВА

МИР ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ: КНИЖНАЯ СЕРИЯ
(Сводный реферат)

1. Business and government: Methods and practice / Ed. by G. Wyn, D. Coen. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2006. – 136 p.
2. The comparative study of local government and politics / Ed. by H. Baldersheim, H. Wollmann. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2006. – 136 p.
3. Pluralism: Developments in the theory and practice of democracy / Eisfeld R. (ed.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2006. – 128 p.
4. Political psychology / Shepherd L. (ed.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2006. – 168 p.
5. Governing development across cultures: Challenges and dimensions of an emerging sub-discipline in political science / Ed. by Jain R.B. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2007. – 288 p.
6. Political sociology: The state of the art / Ed. by S. Mitra, M. Pehl, C. Spiess. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich publishers, 2010. – 157 p. – (The world of political science – The development of the discipline).
7. Gender and politics: The state of the discipline / Bayes J.H. (ed.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 237 p.
8. Electronic Democracy / Ed. by Kersting N. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 204 p.

9. Democratization: The state of the art / Berg-Schlosser D. (ed.). – 2 nd ed. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2007. – 192 p.

10. Political power: The development of the field / Ed. by Haugeard M., Ryan K. – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 230 p.

11. The study of ethnicity and politics: Recent analytical developments / Guelke A., Tuornon J. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 176 p.

12. The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012 / Trent J., Stein M. (eds.). – Opladen; Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2012. – 188 p.

Введение

Серия «Мир политической науки» была опубликована «Иследовательским комитетом 33 по изучению политологии как дисциплины» Международной ассоциации политической науки (IPSA) под редакцией Михаила Штейна и Джона Трента. Данная серия представляет собой всесторонний обзор политической науки в контексте современной мировой политики. Каждая из ее частей является коллективной монографией, созданной ведущими специалистами области. На данный момент в серию входит 12 монографий, но, как отмечают авторы, в дальнейшем она может быть дополнена еще восемью работами.

Развитие политологии сложно изучать в отрыве от других дисциплин. Поэтому мы начнем анализ с работы «Политическая социология. Состояние науки» [6], так как в ней наиболее широко представлены те аспекты современной политической науки, которые затем подробно рассматриваются в других частях серии. Далее мы последовательно исследуем работы, посвященные демократии и плуралистической концепции демократических систем, затем сделаем обзор монографий «Бизнес и государство» [1], «Политическая психология» [4], «Изучение этничности и политики. Последние достижения в разработке тематики» [11], «Гендерные исследования и политика» [7], «Электронная демократия» [8], «Политическая власть» [10], «Управ-

ление развитием в разных культурах: Вызовы и дилеммы новой дисциплины в политологии» [5], «Сравнительное исследование местных органов власти и политики» [2], а также завершающего труда серии «Мир политической науки: Критический обзор развития политических исследований во всем мире: 1990–2012» [12].

1. Социология выводит политику на новый уровень

Монография «Политическая социология. Состояние науки» [6], редакторами которой являются Субрата Митра, Клеменс Шпес, Мальте Пел [Subrata Mitra, Clemens Spiess, Malte Pehl], состоит из шести глав, каждая из которых посвящена различным аспектам дисциплины.

В первой главе исследуются предметное поле политической социологии, ее основные тематические направления, теоретические и методологические тенденции. Политическая социология традиционно рассматривается как дисциплина, изучающая воздействие социальных структур на политические системы и процессы. Исследователи, работающие в рамках данной дисциплины, используют широкий диапазон методов гуманитарных наук. В главе подробно рассматриваются некоторые из этих методов, как качественные, так и количественные.

Проблематика следующей главы (автор Дирк Берг-Шлоссер [Dirk Berg-Schlosser]) отражается уже в ее названии: «Политическая культура на распутье?». Политическая культура рассматривается автором как один из основных аспектов политической социологии, как обеспечивающий стабильность политической системы, так и вызывающий «системное расстройство». Отмечая, что в современном мире источником «расстройства» является глобализация, автор ссылается на теории модернизации Р. Инглхарта и К. Вельцеля, согласно которым экономические трансформации влекут за собой культурные изменения, включая систему ценностей, что, в свою очередь, приводит к политическим сдвигам.

О влиянии экономической глобализации на природу общественных движений и партий повествуют Кей Лоусон и Милдред А. Шварц [Kay Lawson, Mildred A. Schwartz], авторы третьей главы. В соответствии с новыми вызовами меняется не только роль

общественных организаций в политической системе, но и тактика их действий. Многие организации приобретают международный характер, сосредоточиваясь на внешних связях.

Четвертая глава монографии – «Социополитическое неравенство: элиты, классы и демократия». Как отмечает автор Ева Эцьони-Халеви [Eva Etzioni-Halevy], новые социально-политические условия сформировали новые образцы элитно-общественных связей, нуждающихся в осмыслении, к ним относятся: 1) элита женщин; 2) представители посткоммунистических государств Восточной и Центральной Европы; 3) новая конфигурация власти в области высоких технологий и Интернете; 4) транснациональные корпорации и межнациональные организации. Таким образом, в результате глобализации акторы, принимающие решения, заметно дистанцируются от результатов своих решений. Следовательно, классическое условие демократии – интенсивное взаимодействие между элитами и обществом – практически недостижимо на межнациональном уровне.

Автор пятой главы «Современные подходы к исследованию государства» Пракаш Саранджи [Prakash Sarangi] показывает, как развитие мирового рынка ведет к переосмыслению роли государства. Во-первых, в процессе борьбы за равенство демократическое государство становится местом дискриминации по полу, религии и т.д. Процессы глобализации, в том числе интенсивная миграция, влияют на возникновение новых мультикультурных обществ с невиданным ранее уровнем этнического и культурного разнообразия. Для возможности управлять этнокультурными / гендерными конфликтами государства переходят к политике мультикультуризма.

Во-вторых, автор обращается к теории «виртуального» государства Р. Розенкранца. «Виртуальное» государство утрачивает зависимость от территории, его цель – экономическая экспансия, оно борется не за территории, а за контроль над рынками. Примерами виртуальных государств могут служить Гонконг или Швейцария.

Заключительный раздел монографии – «Политическая социология: старые проблемы и новые направления» Ян Ван Дета [Jan van Deth] – суммирует итоги предыдущих глав и рассматривает возможные стратегии дальнейшего развития дисциплины. В нем подчеркивается необходимость сравнительного анализа, лонги-

тиудных исследований, многоуровневого моделирования и метаисследований.

Автор предлагает уделять внимание изменению процессов идентичности в современных обществах, вопросам равенства, законности и ответственности в гражданских обществах, институциализации «новых общественных движений» (энвайронментализм, феминизм и т.д.), уменьшению доминирующего положения государства, проблемам сверхдержав и наднациональных государств, вопросам дальнейшего существования демократии и ее способности адаптироваться к условиям глобализации, распространению новых технологий как важного аспекта каждой из вышеупомянутых тем.

2. Демократия и демократизация

Коллективная монография «Демократизация: состояние науки» [9] состоит из семи глав.

В первой главе «Понятия, измерения и подтипы в исследовании демократизации» рассматриваются проблемы, возникающие в ходе эмпирических исследований демократизации, а также основные исследовательские парадигмы (бихевиоризм; историко-социологическое направление; институционализм и т.д.)

Следующая глава также посвящена актуальным проблемам изучения демократии, итогам и вызовам Нового времени. Автор Жерардо Мунк [Gerardo L. Munck] выделяет две ключевые исследовательские проблемы: во-первых, необходимость более детальной проработки и уточнения терминологии и «единиц измерения»; во-вторых, недостаточное развитие теорий; по мнению автора, теоретическая база, способная интегрировать результаты проведенных исследований, практически отсутствует.

Четвертая глава описывает факторы демократизации. В ней Ян Теорелл и Аксел Хадениус [Jan Teorell, Axel Hadenius] делают обзор исследований так называемого типа «large-N», в которых большое внимание уделяется нескольким крупным факторам демократизации, подвергающимся сомнению на сегодняшний день. В главе развитие демократии с 1972 по 2000 г. рассматривается в свете таких факторов, как влияние массовых протестов, исламиза-

ция, размер страны, членство в международных демократических организациях и т.д.

В пятой главе «Успехи и неудачи современных демократических систем» (авторы – Аксель Хадениус, Дирк Берг Шлессер) характерные черты демократий (специфика выборов; изменения в правительстве на уровне его институтов; отсутствие явных антидемократических сил в стране; массовая поддержка демократических принципов) рассматриваются на примере стран Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, а также России.

Следующая глава «Демократизация XXI века: опыт против науки» (автор Лоуренс Вайтхед [Lawrence Whitehead]) тематически продолжает предыдущую, в ней исследуются случаи Индонезии и Нигерии, Шри-Ланки, Колумбии, Индии, Бразилии.

В последней главе «Некоторые размышления на тему победы демократии и ее будущего» (Хуан Линц [Juan J. Linz]) приводится типология мультинациональных государств с точки зрения их отношения к национальным меньшинствам и разграничения / отождествления понятий нация / народ. Говоря об исследованиях современных демократий, автор делает вывод, что их основная задача – критически подходить к анализу режимов, но при этом не переступать грань делегимитизации.

3. Плюрализм – будущее демократии?

Монография «Плюрализм» [3] предлагает использовать плюралистическую концепцию в качестве базы для преобразования современной демократии в контексте глобализации. Данный сборник выполнен под редакцией Райнера Асфельда [Rainer Eisfeld], монография состоит из четырех глав, включая предисловие.

В первой главе «Множество форм плюрализма» Теодор Дж. Лови [Theodore J. Lowi] представляет проблематику работы. Он затрагивает вопросы движущей силы демократии в контексте глобализации, отмечая, что именно профсоюзы призваны сыграть важную роль, выступая противовесом транснациональным корпорациям. Глобализация, отмечает автор, – это процесс экономической экспансии на все сферы общества. Для политологов усиление позиций экономической науки в структуре обществознания чревато угрозой заимствова-

ния ее методов и теоретических подходов. В этой ситуации, настаивает автор, необходимо вернуться к исследованиям 30–40-х годов, в которых крупнейшие национальные корпорации рассматривались как политический субъект. Т.Дж. Лови считает, что исследование патологических антидемократических стратегий капитализма (приватизация, отмена государственного регулирования и др.) может внести значительный вклад в политическую науку.

В следующем разделе «Плюрализм и демократическое государство: век преобразований исследовательских концепций» анализируются опыт взаимодействия экономических структур, гражданского общества и правительства в течение предыдущих десятилетий, а также нормативные модели их отношений в демократическом государстве. Подробно прослеживая концептуальное развитие теории, автор останавливается на учении Р. Даля, которое ознаменовало собой новую веху в ее эволюции.

Автор главы «Плюрализм и политическое многообразие», Эвигейл Эйзенберг [Avigail Eisenberg], обращает внимание на английский и послевоенный американский виды плюрализма. Противопоставляя добровольные организации этническим группам, исследователь обосновывает необходимость равного распределения социальных и политических ресурсов между ними.

Последняя глава – «Множество, плюрализм и власть: элементы плюралистического анализа в век глобализации», ее автор – Филипп Г. Герни [Philip G. Cerny]. Глобализация, усложняя политический процесс, изменяет понятие «этническое государство», замещая его многоуровневым управлением. Поэтому глобализация, по мнению автора, – это плюрализм в процессе его становления.

4. Новый игрок на международной арене

Третья монография рассматривает систему взаимоотношений государства и предпринимательства [1]. В ней исследуются те изменения в экономической структуре, которые влияют на характер отношения заинтересованных групп (корпораций, фирм и различных организаций) между собой и с государством. Редакторами работы являются Дэвид Коэн и Вин Грант [David Coen, Wyn Grant].

В первой («Регулирование отношения предпринимательства и правительства», авторы Дэвид Коэн, Вин Грант) и четвертой («Модели общественного выбора делового лоббирования», автор Андреас Брошайд [Andreas Broscheid]) главах освещаются стандартные схемы взаимодействия в системе «бизнес – государство», их интересы и методы реализации этих интересов в кооперации. Авторы, однако, отмечают крайнюю специфичность подобных взаимоотношений, учитывая, что их характер напрямую зависит от множества условий. В каждой стране набор факторов уникален, что делает невозможным выбор модели, оптимальной для всех. Прямое взаимодействие государства и предпринимательства говорит о возрастающем влиянии последнего на мировую политику.

Об этом же пишет и автор второй главы «Тридцать лет бизнеса и политики», Грекхем К. Вилсон [Graham K.], ссылаясь на европейскую литературу: бизнес в лице корпораций и экономических альянсов начинает выходить на мировую политическую арену в качестве значимого игрока.

Этот процесс усиливается в течение последних двух десятилетий, в связи с чем Волкер Шнейдер [Volker Schneider], автор пятой главы «Бизнес в политике: оценка относительной значимости прямого корпоративного вмешательства и презентация торговыми ассоциациями», ставит вопрос о необходимости прямого вмешательства в предпринимательство со стороны государства. Но это вмешательство вряд ли может быть реализовано в полной мере, поскольку деятельность международных мегакорporаций, о которых речь идет в третьей главе («Учитывайте источник! Детерминанты корпоративных предпочтений государственной политики» Кейси Джо Мартин [Cathie Jo Martin]), выходит далеко за пределы одной страны. К.Д. Мартин убежден, что государственное влияние на бизнес отнюдь не бесполезно в современной, постоянно усложняющейся политико-экономической системе, которая на фоне глобализации является местом пересечения интересов множества субъектов.

5. Человеческий фактор в политике

Монография «Политическая психология» под реакцией Линды Шеперд [4] состоит из семи основных разделов: «Введение:

Исследования в политической психологии на заре нового века»; «Инфраструктура политической психологии»; «Теория индивидуальности в анализе политического лидерства: Тенденции, схемы и возможности»; «Многоликость международной политической психологии»; «Политическая психология и исследование принятия решений во внешней политике»; «Перефокусировка политической психологии: Поиск курса в XXI в.»; «Заключение: События и тенденции в политической психологии».

Первая глава освещает общее состояние политической психологии и историю ее формирования. Автор Линда Шеперд показывает, как Вторая мировая война послужила стимулом для развития науки, заставив по-новому взглянуть на роль индивидуального поведения. В главе большое внимание уделяется методологии исследования, многообразным методам анализа – количественным, качественным, экспериментальным, обзорным, аналитическим, психодиагностическим.

Автор следующего раздела Кэтлин Макгроу [Kathleen M. McGraw] отмечает, что, несмотря на популярность политической психологии, до сих пор отсутствуют разработанные формальные программы обучения политических психологов, а также уникальные источники финансирования исследований.

В третьей главе (авторы Элизабет Марвик и Бетти Глед [Elizabeth Marwick, Betty Glad]) обсуждается проблема адаптации личности лидера к окружающему миру, особенно в кризисных ситуациях; также исследуются различные методы анализа политической психологии личности: беседы, анализ речей, лозунгов, дневников, изучение медицинских карт политиков, психобиографические методы, включая интервью с его соратниками, родственниками. Рассуждая о дальнейшем развитии политической психологии, авторы видят большой потенциал, во-первых, в теориях, акцентирующих внимание на событиях, как случайных, так и закономерных; во-вторых, на подходах, исследующих законы человеческого поведения и, в частности, выбора, осуществляемого политическими акторами, который может изменить судьбу государств.

Авторы четвертой главы, Питер Суедфэлд и Ян Хансен [Peter Suedfeld, Ian Hansen], подчеркивают научный потенциал политической психологии: растет количество институциональных структур дисциплины, издаются публикации, организуются научные встречи

чи, семинары и летние университеты. С другой стороны, подавляющее большинство исследований основывается на западных теоретических моделях. В связи с этим авторы предлагают обращаться к исследовательскому багажу культурной психологии, которая поможет восполнить имеющиеся аналитические пробелы.

Глава пятая «Политическая психология и исследование принятий решений во внешней политики» Данальда А. Силvana и Брента Штратмана [Donald A. Sylvan, Brent Strathman] освещает основные методы моделирования и экспериментальные подходы, помогающие исследовать опытным путем практики принятия решений (FPDM). Данные модели используют различные факторы, включая системы ценностей, ресурсы и ограничения, особенностей личности, принимающей решения, социальную структуру и т.д. Для дальнейшего развития направления авторы предлагают усовершенствовать эмпирическую базу.

В главе «Переориентация политической психологии: исследования XXI века!» исследуются социальные проблемы, вызванные процессами глобализации. Автор Дэвид Г. Винтер [David G. Winter] среди основных «недугов» выделяет следующие: неравенство доходов, политический скептицизм, доминирование культуры потребления. Основная задача ученых в настоящее время заключается, по мнению автора, в дальнейшем совершенствовании теоретико-методологической базы, которое бы позволило проводить исследования, способные адекватно интерпретировать глобальные процессы и их воздействие на человеческое общество, государство и психологию.

В заключении главный редактор монографии Л. Шеперд делает вывод, что будущее политической психологии будет зависеть от ее способности функционировать в пространстве между обеими «родительскими» дисциплинами, интегрируя их возможности.

6. Этничность и политика

В монографии «Изучение этничности и политики. Последние достижения в разработке тематики» [11] под редакцией Э. Гелке и Ж. Турнона [Adrian Guelke, Jean Tournon] рассматриваются феномен этничности, теории этничности, влияние этнического фактора на политическую сферу, а также воздействие общемировых тенденций

на этнические сообщества. В работе предоставлен обзор научных достижений в данной сфере.

Усиление внимания к вопросам этничности в последние годы сопровождается ростом количества научных исследований в данной области. В монографии рассматривается вклад этих исследований в развитие политической науки. Во введении редакторы отмечают, что, несмотря на многообразие суждений о росте политизированности этничности, авторы придерживаются единого мнения о взаимосвязи политики и этничности. Они считают, что оба феномена неотделимы друг от друга и являются основополагающими в жизни современного сообщества.

В первой главе «Этничность. Что мы имеем в виду, когда говорим о ней?», написанной Жаном Турноном [Jean Tournon], анализируются терминология и специфика ее обыденного и профессионального использования. Автор отмечает, что прилагательное «этнический» с периода «холодной войны» ассоциируется у современного человека с конфликтом, с феноменом этнических чисток. Однако термин обладает и позитивным смыслом, вызывая образ яркой самобытности, присущей этнической группе. Критическому рассмотрению подвергаются главные теоретические подходы к изучению этничности и политики.

Э. Кауфман и Д. Конверси [Eric Kaufmann, Daniele Conversi] в своей главе «Национальная и этническая активизация» рассматривают феномен сепаратизма, этнонационалистические движения. Предлагается обзор литературы, касающейся как этнических, так и националистических конфликтов, включая также споры о демократизации. Авторы приходят к выводу, что государства с автократическим устройством в итоге имеют больший конфликтный потенциал, нежели государства с установившимся демократическим строем.

В главе «Политика приспособления и интеграции в демократических государствах» исследуются возможности регулирования этнической и националистической напряженности. Авторы (Брендан О'Лэри и Джон Макгарри [Brendan O'Leary, John McGarry]) пишут о двух способах работы с данными проблемами, предлагаемых демократией, – политика интеграции и приспособление. Подробно описывая различия между двумя указанными подходами (в политике приспособления возможность выражать свою идентичность предоставляется новым сообществам не только в частной, но и в публичной сфере; в интеграционной политике новое сообщество в публичной

сфере вынуждено жить исключительно по правилам принявшего их сообщества), авторы приходят к выводу, что «приспособление» – это интеграция, но «с более хорошими манерами».

В следующей главе «Феномен этничности и его роль» (автор Эдриан Гуэлке [Adrian Guelke]) эта проблема рассматривается под влиянием событий, послуживших своеобразными точками бифуркации за последние 25 лет, – «холодная война», 11 сентября в США, глобальный экономический кризис 2008 г.

Завершающая глава монографии представляет собой подробный анализ последних достижений в сфере изучения взаимосвязи феномена этничности и политики. Авторы (Брітт Картріт и Ден Міодовник [Britt Carttrite and Dan Miodownik]) использовали статистические данные, показывающие возрастающий интерес к этой тематике за последние 30 лет, также они отметили, что подавляющее количество исследований приходится на США.

7. «Женский взгляд» на современные политические процессы

Монография «Гендерные исследования и политика» [7], выполненная под редакцией Джейн Х. Байер [Jane H. Bayes], состоит из девяти глав, каждая из которых просвящена положению женщин в политике разных стран.

Данная работа предлагает свежий взгляд на гендерное измерение политики в начале XIX в. Монография борется с евроцентризмом и предлагает альтернативные векторы будущего развития дисциплины.

В первой главе, написанной редактором книги, дается обзор основных вопросов и задач, раскрываемых в монографии. Представлен краткий экскурс в историю политической гендерологии.

В следующих четырех главах дается анализ гендерных исследований в Латинской Америке, Африке, Южной Азии, Европе. Авторы (Брейни Мендоза, Аманда Гоус, Ранджана Кумари, Моник Лейнаар [Breny Mendoza, Amanda Gouws, Ranjana Kumari, Monique Leyenaar]) прослеживают влияние глобализации, системы высшего образования на политическое положение женщин в этих частях света. Рассматриваются также геополитический (например, испаносфера и англосфера в Латинской Америке) и исторический кон-

тексты, исследуется эволюция женского движения за последние 50 лет в Европе. Авторы отмечают, что реализация женских прав и свобод в настоящее время оказывает воздействие на моделирование современной демократии в данных регионах.

Шестая глава «Гендерные исследования и политика» представляет обзор литературы и анализ различных подходов в рамках дисциплины. Автор, Джейн Х. Байер, разоблачает «мужской уклон» в исследованиях и говорит о необходимости включения женщин в политическую науку. Автор отмечает две тенденции в рассмотренной литературе: а) идеологическое и методологическое размежевание исследований США, Западной Европы и остального мира; б) увеличение «глобализации» дисциплины за последние 10–15 лет.

В главе «Феминизм в международных отношениях: состояние дисциплины» говорится об истоках и влиянии феминизма на политическое положение женщин, политическую экономику и безопасность в сфере международных отношений. По мнению автора, Элизабет Пругл [Elisabeth Prügl], феминистские исследования помогают понимать «патологии нашего глобального мира», отвечая на вопросы о причинах бедности, неравенства, войны.

Восьмая глава «Западные феминистические теории: траектории изменения» анализирует опыт построения методологических подходов и теорий прошлый лет. Мэри Хаукесворс [Mary Hawkesworth] отмечает необходимость учитывать ошибки прошлого, чтобы эффективно развивать понятийный и методологический аппарат, отвечающий запросам современного состояния науки.

Авторы последней главы, Мариан Симс [Marian Simms] и Джейн Х. Байер, обобщая материалы предыдущих разделов, называют актуальные и перспективные темы современных исследований, среди которых выделяют изменение положения женщин в современной политике, влияние гендерных исследований на развитие внутренней политики национальных государств.

8. Электронная демократия

Монография «Электронная демократия» [8], выполненная под редакцией Норберта Керштинга [Norbert Kersting], состоит из

семи глав, она посвящена роли медиа (Интернета и новых информационные технологии) в политической сфере.

В первой главе рассматривается будущее электронной демократии, освещаются общие тенденции и перспективы в развитии демократических инноваций, СМИ, а также дается оценка возможных последствий от введения новых демократических инструментов. Автор отмечает, что в условиях кризиса политические системы, вынужденные реагировать на вызовы времени, начинают использовать новые механизмы демократии: 1) символическое участие в политической жизни (например, протест гражданского общества, флешмобы); 2) информативную демократию (подразумевает обратную связь от гражданина); 3) институциализированный политический контроль (модернизация избирательной инфраструктуры); 4) диалогическую демократию (включает формы совещательного участия). При этом правительство позиционирует себя как модератор системы, расценивая нововведения как возможность преодолеть разрыв между элитой и народом. Все это и составляет электронную демократию. Однако автор указывает и на ее отрицательные стороны: порождаемое анонимностью снижение ответственности властных структур, цифровое неравенство, хакерство.

Во втором разделе автор Пиппа Норрис [Pippa Norris] на примере «арабской весны» ярко иллюстрирует роль социальных сетей в политической мобилизации. Она отмечает четыре функции новых медиа, которые, возможно, оказали существенное воздействие на социальные протесты: информационную, организационную, культурную, поведенческую. Анализируя политическую ситуацию того периода, исследователь тем не менее подчеркивает, что не стоит преувеличивать значение социальных медиа и забывать о других факторах, способствовавших росту политического протesta.

Автор третьей главы, Джейсон Эбботт [Jason Abbott], исследует социальные последствия новых медиа: появление гражданской журналистики, бросающей вызов коммерческим медиа; активизацию потребителей через самостоятельный поиск и анализ информации; политическую мобилизацию.

В главе «Электронные политические агитации» автор Андреа Реммеле [Andrea Römmele] изучает механизмы проведения политических кампаний с использованием информационных технологий на примере США и Германии. Данные процессы показывают, что со-

циальные СМИ становятся новыми игроками на политической арене. Однако автор отмечает, что анализу подвергается лишь видимая, а не фактическая поддержка населения

Следующий раздел затрагивает тему открытого доступа к различным данным (автор Стефани Уоджик [Stephanie Wojcik]). Следствием подобной тенденции становится свободное самовыражение в Интернете, обмен взглядами, публичные высказывания, что обеспечивает более тесную коммуникацию политиков и населения.

В шестой главе автор Тед Холл [Thad Hall] анализирует опыт электронного голосования в таких странах, как Эстония, Великобритания, Норвегия, США, Германия. При всей привлекательности этой идеи в ее осуществлении, по мнению автора, есть множество проблем, среди которых опасность терроризма, вмешательство иностранных государств, которые стремятся повлиять на результаты выборов. Внешние атаки могут подорвать общественное доверие как к институту выборов, так и к государству в целом.

Завершающий раздел монографии (авторы Андреас Ладнер и Ян Фивэз [Andreas Ladner and Jan Fivaz]) рассматривает популярную программу для голосования VAAs (Voting Advice Applications), которая предлагает помочь в принятии решения перед выборами, позволяя сравнить политические программы кандидатов. Подобные справочники пользуются успехом, особенно в европейских странах. Однако в VAAs существуют проблемы, требующие оперативного решения, например, различия между странами, разработка стандартов и т.д.

9. Исследование политической власти

Монография «Политическая власть» [10], выполненная под редакцией Кэвина Райна и Марка Хаугаарда [Mark Haugaard, Kevin Ryan], повествует о концепции власти и ее влиянии на политику. Монография состоит из восьми глав.

Во вступлении редакторы дают краткий экскурс дисциплины, определяя термин «власть», ее виды и проявления, прослеживая его историческую динамику.

Глава «Социальная и политическая власть» освещает различные подходы к определению власти в социальной и политической

теории. В ней рассматриваются три основные концепции власти: 1) «конфликтная» власть, как отношение, предполагающее открытый конфликт между субъектом и объектом, в ходе которого субъект обладает возможностью реализовать свои намерения; 2) «власть над» связана с необходимостью доминирования над оппонентами; 3) «власть для» основывается на способности добиваться поставленных целей. В завершении авторы пытаются объединить эти подходы с помощью уже проанализированных работ.

В следующей главе власть рассматривается в контексте антропологии. Автор, Джон Гледхил [John Gledhill], анализирует развитие власти и теории сопротивления в разных частях земного шара. Д. Гледхил отмечает, что основной вызов политической антропологии нашего времени – это понимание структуры власти. Современные антропологи оказываются втянутыми в международные конфликты, касающиеся чаще всего вопросов культуры, а именно: идеологические конфликты, вопросы самоопределения, проблемы колонизации и др. Все вышесказанное обосновывает необходимость разработки нового методологического аппарата.

Автор четвертой главы «Фундамент организации власти» Стюарт Клэгг [Stewart Clegg] исследует составляющие структуры власти, раскрывает тему найма рабочей силы, повествует о связях экономики и власти и их взаимозависимости, о «воспитании» общества. В главе переосмысляется само понятие власти. Клэгг утверждает, что в современных исследованиях организаций организация понимается как система, выступающая каналом власти.

Автор пятой главы «Гендерная власть: подходы феминисток» Джилл Викерс [Jill Vickers] рассматривает теории, связанные со второй волной феминизма. Литература этого периода интерпретирует власть как мужское доминирование. Также в главе уделяется внимание скандинавскому феминизму как наиболее уникальному среди европейских направлений.

Джон Холл и Синиша Малешевич [John A. Hall, Siniša Malešević] исследуют власть в русле политической социологии. Авторы рассматривают три доминантные формы власти – политическую, экономическую и идеологическую – на основе веберианского и неовеберианского подходов. В настоящее время существует сложная властная модель, в которой ресурсы власти (будь то вооруженные силы или авторитетная политическая власть, экономическая мощь

или идеологическая власть) стремятся к сотрудничеству, укрепляя позиции друг друга. Авторы утверждают, что эта тенденция противоречит современным запросам глобализации.

Продолжая раскрывать проблемы, затронутые в предыдущем разделе, автор седьмой главы Филипп Г. Генри [Philip G. Cerny] посветил ее теме «Глобализация и трансформация власти». В ней исследователь сравнивает идеологию и реальную концепцию власти середины XX в. Именно в этот период начинается бум концептуальных дискуссий о власти, а также разворачиваются систематические эмпирические исследования. В противовес концепции Вебера, автор утверждает, что легитимное насилие больше не monopolизировано государством. Особенно это проявляется на международном уровне. Также он отмечает три основные, по его мнению, черты современной политической власти: давление заинтересованных групп, соревнование и конфликт; столкновение идеологий и социальных ценностей; растущая «замена военнослужащих гражданскими лицами». Это влечет за собой фундаментальные структурные изменения государственной власти, а значит, изменяет ее роль в качестве решающего субъекта международных отношений.

В завершающей части работы редакторы, обобщая итоги монографии, возвращаются к вопросу определения власти. Они указывают, что концепция власти обладает интегрирующей ролью для различных направлений исследований политики, но при этом унифицированное понятие власти отсутствует. Именно многогранность концепции власти, полагают авторы, способствует диалогу различных дисциплин.

10. В поисках «рецепта» успешного управления государством

Монография «Управление развитием в разных культурах: вызовы и дилеммы новой дисциплины в политологии» [5] под редакцией Р.Б. Джейн [R.B. Jain] состоит из трех разделов, девяти глав.

В разделе «Бюрократия, развитие и управление: Концептуальное развитие субдисциплины», который включает статьи Р.Б. Джейна и В. Сони [Vidu Soni], рассматривается концептуальная эволюция дисциплины. Р.Б. Джейн проводит анализ административных и бюрократических особенностей политики развития в странах Третьего мира,

анализирует появление концепции «эффективного управления» как новой парадигмы начала XXI в. Он показывает, что следствиями процессов деколонизации стали значительные изменения в социоэкономической и политической областях, в результате чего в 1960-е годы резко возрос интерес к изучению вопросов колониализма, политики неприсоединения и управления развитием.

Р.Б. Джейн описывает эволюцию изучения государственного управления начиная со времен «холодной войны», когда развивающиеся страны оказались в центре внимания американских и европейских исследований, делающих акцент, прежде всего, на идеологии, экономике и социальных условиях. Позднее именно государственное регулирование стало рассматриваться как инструмент развития, в результате чего выделилось три основных исследовательских направления: общая теория экономического развития и регулирования развития; теория зависимого развития в отношении экономической отсталости и стагнации; сравнительные исследования и эмпирические исследования управления развитием.

Анализируя условия эффективного развития, автор указывает на существование заметных социокультурных различий в разных странах (расы, религии, демографические показатели, география, политический режим и идеология, экономическое развитие, международная политика), но при этом отмечает сходства бюрократических характеристик.

Отдельное внимание уделяется трансформации концептов «развитие» и «устойчивое развитие» во второй половине XX в. Если в понятии «развитие» основной акцент приходится на централизованное управление, бюрократические и государственные институты регулирования, выгоду и преимущества немногих, то концепт «устойчивое развитие» включает коллективное участие и социальную ответственность, предполагает большую долю негосударственных проектов и инициатив и направлен на достижение базовых гуманистических ценностей и морального благополучия для всех членов общества: мира, качества жизни, основных прав и свобод.

Автор выдвигает предположение, что политический режим не имеет решающего значения в эффективности управления развитием. Несмотря на то что государство, владея значительной долей экономики, во многих странах оказывает заметное влияние на экономическое развитие, все же культурные факторы оказываются

принципиальными в новой парадигме (такие, как ценности, идеология, социальные нормы, обычаи и привычки).

В. Сони также рассматривает различия в парадигмах управления развитием. Автор отмечает, что «государственное управление» (Public Administration) – это, в первую очередь, бюрократические механизмы, поддерживающие власть. «Эффективное управление» (Good Governance) представляет собой менее формальную концепцию, которая опирается на идеи социальной ответственности и гражданского участия, учитывает человеческие права и демократические ценности. По мнению В. Сони, традиционный бюрократический менеджмент будет постепенно сокращать свое влияние благодаря распространению демократии и росту гражданской осведомленности о правах человека, поэтому будущее – за новым социальным менеджментом.

Второй раздел посвящен анализу концепта «эффективное управление». В раздел включены статьи Р. Хатора, Х. Эльсенханса, М. Пинто-Дучински, О. Двиведи, Л. Дж. Хендersonа, К.С. Шарма [Renu Khator, Hartmut Elsenhans, Michael Pinto-Duschinsky, O.P. Dwivedi, Lenneal J. Henderson, Keshav C. Sharma]. Авторы исследуют случаи США, Канады, Германии, Латинской Америки, Ботсваны.

Третий раздел составлен редактором сборника и содержит обобщения о новой парадигме управления развитием, в том числе о концепте эффективного управления и социальном менеджменте, методологических особенностях данной дисциплины и ее будущем.

11. Имеют ли значения процессы локального характера в новом «глобальном» мире?

Работа «Сравнительное исследование местных органов власти и политики» [2] состоит из пяти глав и выполнена под редакцией Гарольда Бальдершайма и Хеллмута Волльманна [Harald Baldersheim, Hellmut Wollmann].

В первой главе Михаэль Гольдшмит [Michael Goldsmith], рассмотрев исследования городской политики с 1960-х по 1990-е годы, приходит к выводу, что основной тенденцией этого периода выступает растущая дивергенция обеспеченных и бедных слоев населения. Также автор отмечает, что в отличие от Европы и Северной Аме-

рики исследования городской политики в странах «третьего мира», где происходят динамичные изменения, пока что не позволяют делать значимых обобщений.

Проблематика второй главы отражена в ее названии – «Глобализация и исследования местной политики». Автор, Сьюзан Кларкс [Susan Clarke], размышляя о значимости изучения локальной политикой в век глобализации, приходит к выводу, что вопреки ожиданиям локальная политика обладает большим значением, так как локальные процессы могут отразиться на всей глобальной системе. Автор высказывает смелую идею о необходимости создания типологии соответствия глобальных и локальных явлений, которая бы позволила проводить сопоставления и анализировать взаимосвязи. Автор также подчеркивает ценность мультинаучного подхода (на стыке географии, истории, социологии и т.д.) для понимания политических процессов в глобальном мире.

В следующем разделе «Методология и методы исследования городской политической науки» автор Петер Джон [Peter John] отмечает важность сравнительного анализа для изучения городской политики.

В четвертой главе «Инфраструктура исследований и академического образования» автор, Винсент Хоффманн-Мартинот [Vincent Hoffmann-Martinot], стремясь систематизировать исследования городской и локальной политологии, приводит перечень учреждений, занимающихся научной деятельностью в данной сфере. Таким образом задаются перспективы дальнейшего развития дисциплины.

В завершающем разделе монографии редакторы обобщают достижения в области сравнительного анализа локального самоуправления, а также намечают сферы деятельности, которые будут способствовать развитию дисциплины. Исследователи выделяют три основных направления; во-первых, проблемно-теоретическое ориентирование научной деятельности; во-вторых, составление статистических баз данных для дальнейших сравнительных исследований; в-третьих, изучение культурных факторов как в институциональном, так и в политическом исследовании.

12. Подводя итоги

«Мир политической науки: критический обзор развития политических исследований во всем мире: 1990–2012» [12] является последней книгой в серии IPSA 33. Она обобщает результаты предыдущих 11 работ. В то же время она представляет идеи и подходы дальнейшего развития политологии.

Книга включает пять глав. Первая, «Политология в трех Демократических государствах: нелояльные (Япония), третья волна (Корея) и “зеленый” (Китай)», написана Такаши Иногучи (Takashi Inoguchi). Автор на примере Японии, Кореи и Китая прослеживает развитие политологии в восточных странах, начиная с зарождения науки до конца XX в. Многоаспектность анализа помогает исследователю получить всестороннее представление о текущем состоянии политологии в этих странах. Автор исследует зарубежные научные влияния на региональную политологию (например, марксизма на страны региона, а также немецкой теории государства, историзма и американской научной мысли в Японии; японской политологической традиции в Корее; западноевропейской и американской традиций в Китае); процесс формирования академического сообщества (участники которого главным образом получали образование в ведущих университетах США и Европы); ключевые вопросы, сформировавшие повестку научных дискуссий и стимулировавшие институционализацию политологии в регионе.

Следующая глава «Европейская политология: исторические корни дисциплинарной политики!», написанная Эркки Берндинсоном (Erkki Berndtson), посвящена процессу формирования дисциплины в Европе. Автор поднимает неудобный вопрос: можно ли вообще говорить о европейской политологии, когда большинство академических исследований посвящены определенным странам, а происхождение дисциплины обычно связывают с США?

В то же время «американская модернизация европейских традиций» вызвала изменения образовательной парадигмы в Европе и в других странах, стимулировав оформление политологии в независимую академическую дисциплину. Наука отделилась от философии, истории, политической экономики и юриспруденции. Несмотря на это, политология сохранила свои «американские корни», что стало особенно заметно после Второй мировой войны.

Например, в Скандинавских странах политология ориентировалась почти исключительно на американскую науку. Однако европейская политология после 1950 г. все же попыталась найти собственный путь, поскольку она являлась инструментом для обучения властующей элиты. Автор отмечает, что Великобритания и Германия особенно преуспели в этом направлении. Франция и Италия, в свою очередь, удивляют отсутствием политологических научно-исследовательских институтов. Автор приходит к выводу, что европейская политология остается очень уязвимой перед вызовами времени и нуждается в дальнейшем развитии.

Статья «Существует ли на самом деле международная политология как дисциплина? Обзор и оценка последних теорий о дисциплинарных исторических тенденциях» Майкла Б. Стайна была написана в ответ на критику современных тенденций в американской и международной политологии. Автор сначала анализирует методологические проблемы данной области на примере двух авторитетных исследований Г. Алмонда и Р. Гудина / Х.-Д. Клингемана, в основе одного из которых лежит американизированный подход, а второй использует более эклектичную и плюралистическую методологию. Затем автор уделяет внимание так называемому мнению «American-cum-Transatlantication», выраженному Шмиттером. Он завершает свой анализ обзором движения «Perestroikans в 2000». Автор приходит к выводу, что ни один из проанализированных подходов не удовлетворяет требованиям современного общества, хотя точка зрения Шмиттера может быть охарактеризована как самая близкая.

Четвертая глава монографии «Проблемы и тенденции в политологии в начале XXI века: перспективы от серии “Мир политической науки”» Джона Трента представляет собой «отчет об эмпирическом исследовании, о проблемах, тенденциях и взглядах на политологию». Сначала автор делает обзор субдисциплинарных областей, рассматриваемых в предыдущих монографиях, а затем анализирует общие тенденции политологии. Он отмечает, что конкуренция между политической экономикой и политической психологией занимает центральное место в политологии, являясь «душой политической науки». Статья завершается проекциями будущего развития дисциплины, а именно: синтезом между поли-

тической теорией и поведенческими подходами; адаптацией к глобализации и т.д.

Заключительная часть работы – это «Эссе о настоящем и будущем политических исследований 2012». В ней автор подводит общие итоги серии. Главный вопрос, на который автор стремится дать ответ, – каковы причины отсутствия интереса к политологии у влиятельных политиков. Большая часть анализа посвящена адекватности научных исследований политическим процессам и научной методологии, несоответствие которых, как принято считать, является основанием для незаинтересованности элит.

В заключении анализа серии «Мир политической науки» следует отметить, что в целом монографии отличает евроцентрический подход, основанный на приоритете демократических ценностей. Альтернативных точек зрения ни одна из работ не предлагает, даже при рассмотрении политических процессов Азии, Африки или Латинской Америки. Более того, в последней монографии «Мир политической науки: критический обзор развития политических исследований во всем мире: 1990–2012» Эркки Бернхтсон указывает также и на слабость европейской дисциплинарной традиции, подчеркивая заимствования опыта США.

Большинство авторов отмечают теоретическую и методологическую слабость современной политической науки, необходимость проработки и уточнения терминологии и «единиц измерения». Выход из этой ситуации исследователи видят, в основном, в междисциплинарном подходе.

Т.Б. УВАРОВА

ЭТНОПОПУЛИЗМ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Рецензия на книгу: *Madrid R.L. The rise of ethnic politics in Latin America.* – Cambridge, etc.: Cambridge univ. press, 2012. – Vol. 26. – 239 p.

В монографии Рауль Мадрид, профессор факультета государственного управления (Department of Government) Техасского университета г. Остин (Austin), представил исследование этнической политики в семи латиноамериканских странах в последние два десятилетия. Впервые в истории этого региона коренное население стало заметной политической силой; так, например, в Боливии этническая партия убедительно победила в двух последних избирательных кампаниях, получив две трети мест в законодательных федеральных органах, а ее представитель стал президентом страны. Автор анализирует специфику этнической политики в Боливии, Эквадоре, Перу, Гватемале, Никарагуа, Колумбии и Венесуэле. Работа состоит из семи разделов, включая проблемно-теоретическое введение, страноведческие главы и общее заключение.

В исследовании используется количественная и качественная методология. Автор анализирует данные избирательных кампаний с 1980 по 2011 г., архивные сведения, публикации СМИ, интервью с представителями властных элит, лидерами индигенных движений, представителями культуры и науки.

В приложениях собрана важная информация об основных исследовательских центрах и специализированной периодике,

представлен перечень этнических организаций, центров, партий, действующих в Латинской Америке.

В разделе «Этничность и этнопопулизм в Латинской Америке» автор отмечает, что в современной политике «этнические формы» политического поведения давно стали общепринятыми; к ним относятся, в том числе, этнические политические партии, использование этнических символов и риторики в политической практике. Для стран Латинской Америки долгое время этнический аспект политики не был характерным. Однако за последние два десятилетия коренное население стало реальной политической силой, выдвигая социально-политические требования, организуя акции протеста. Неэтнические партии часто выступают в поддержку индигенного населения.

Важной приметой времени стало создание индигенными движениями собственных политических партий. Некоторые из них вполне успешны, получая более 10% голосов на выборах различных уровней. В условиях многопартийности даже небольшой процент голосов позволяет выдвигать своих представителей на муниципальные и правительственные должности, вплоть до министерских, обеспечивая дальнейший рост политического влияния.

Рассматривая существующие мнения по изучаемой проблематике, автор отмечает, что некоторые исследователи связывают подъем национальных движений в странах Латинской Америки с институциональными реформами 1990-х годов, которые облегчили создание новых партий. Другие видят причину в утрате влияния старыми политическими партиями, особенно левого толка. Однако данные аргументы убедительны, по мнению автора, для анализа возникновения этнических партий, но они не объясняют, почему одни партии успешны, а другие терпят неудачу.

Главной причиной электоральной успешности этнических партий, в частности боливийского «Движения к социализму» (*Movimiento al Socialismo MAS*), автор считает совмещение в партийных программах этнических и популистских требований. Понятию «популизм» Р. Мадрид уделяет особое внимание, поскольку оно крайне неоднозначно. Одни исследователи связывают популизм со специфичными направлениями экономической политики, другие считают его главной характеристикой социальную базу: неоднородное по составу мультиклассовое городское население.

ние; третьи видят важнейшую черту популизма в сильном лидере, способном мобилизовать массы личным примером.

Р. Мадрид характеризует популизм как стратегию управления, выстроенную авторитетным лидером, которая основана на противопоставлении широких масс и элиты. Даже если популистский лидер является выходцем из элиты или среднего класса, в своей политике он ориентируется на потребности малообеспеченных слоев, используя для их мобилизации принятый в этих слоях стиль поведения, речи, одежды. Эти элементы повседневной, бытовой культуры важны, поскольку они наглядно отличают малоимущих от их главных противников – политической и экономической элиты [Madrid, 2012, р. 7–8]. Автор выделяет также несколько видов популизма: традиционный; неолиберальный, ориентированный на рыночные механизмы; и наконец, этнопопулизм. Определение популизма, предложенное автором, далеко не по всем параметрам совпадает с общепринятым, оно в значительной степени опирается на социокультурные и антропологические характеристики.

В отличие от многих традиционных индигенных партий, успешные латиноамериканские движения сочетали «узкую» этническую программу с «широкой» популистской, активно сотрудничая с лидерами других движений, возглавляемых белыми и метисами. Они сосредоточивали свое внимание на беднейшем избирателе, поддерживая популистские требования ограничения иностранного вмешательства в экономику страны, перераспределения доходов в пользу малообеспеченных слоев, усиление позиций государства в экономике. Движения, возглавляемые лидерами-метисами, в свою очередь, поддерживали требования партий коренного населения.

Автор уделил внимание не только культурным различиям, но и биологической, расовой метисации, оказывающей серьезное влияние на этническую политику в регионе. В колониальную эпоху межрасовые браки были запрещены. После обретения независимости в латиноамериканских странах расовая дискриминация была отменена, но последствия «пигментократии» (*pigmentocracy*), когда цвет кожи является показателем социально-экономического статуса, зачастую сохраняются.

В XX в. правительства латиноамериканских государств осуществляли ассимиляционные проекты, направленные на включение коренного населения в «единое общество», механизмом вклю-

чения выступал литературный испанский язык. Ассимиляционное давление было особенно сильным в городах, куда мигрировало коренное население в поисках работы, что привело к резкому сокращению во второй половине XX в. числа говорящих на индigenных языках. Кроме того, переходя на испанский язык, люди начинали идентифицировать себя с метисами, а не с индейцами.

Индийские языки, наряду с другими компонентами традиционной культуры, лучше сохраняются в сельской местности. Индейскую идентичность в начале XXI в. сохраняют 35% населения Боливии, 31% населения Гватемалы, 18% – Перу. Даже те люди, которые считают себя метисами, сохраняют особенности индейских этнических культур.

Длительные процессы метисации населения в регионе, по мнению автора, не уничтожили этнической дискриминации, хотя способствовали размыванию этнических границ и препятствовали жесткой этнической поляризации. В современной литературе по расовым проблемам в Латинской Америке наиболее распространена модель расового континуитета – спектра переходящих друг в друга расовых типов от «черных» (индейцев) до «белых» (потомков испанцев). Расовая принадлежность, как показывают современные исследования, отражается также в избирательных предпочтениях.

Далее в работе автор подробно анализирует проблемы этнопопулизма в регионе. Сравнительный анализ причин успехов и провалов национальных движений исследователь считает не только прикладной, но и важной теоретической проблемой. Автор подчеркивает, что влияние индigenных движений на демократические процессы также является важным аспектом изучения. Этой проблеме посвящена глава «Индигенные партии и демократия в Андах».

Из семи стран Латинской Америки за период с 1997 по 2009 г. наилучшие электоральные показатели продемонстрировало большевистское «Движение к социализму». В 2002 г. партия заняла второе места на выборах, а во всех последующих выигрывала с большим отрывом. Лидеру партии Эво Моралесу дважды удалось победить на президентских выборах (в 2005 и 2009 гг.). Многие исследователи связывают столь очевидный успех с институциональной реформой 1990-х годов, децентрализацией и принятием смешанной избирательной системы. Успеху способствовало объе-

динение в партийной программе индигенных и популистских подходов.

Ряд особенностей этнического ландшафта Боливии сделали это сочетание успешным. В 2001 г. 49,4% населения старше шести лет говорили на языках этнолингвистических групп коренного населения – кечуа (27,6%) и аймара (18,4%) [Madrid, 2012, p. 38]. Около 75% жителей страны жили практически на уровне черты бедности и подвергались расовой дискриминации. С середины XX в. правительство взяло курс на «унификацию», объединив коренное население в общей категории «крестьяне», и прекратило преподавание национальных языков в школе. В последнее десятилетие от 60 до 70% жителей страны идентифицируют себя как метисы. При этом до 70% из них говорят на индейских языках и сохраняют элементы традиционной культуры. Такова этническая среда, в которой действуют современные партии Боливии.

На выборах 1999 г. MAS получила 3,3% голосов избирателей; только в западном высокогорной районе страны, где расселялись индейцы, их доля достигла 7,8%. Однако в 2002 г. за MAS проголосовали уже 20,9% избирателей, причем за региональную партию в ее «национальном» округе Кочабамба отдали голоса 37,6% избирателей, а в восточном равнинном департаменте Санта Крус – 10,2%. На общефедеральных выборах 2005 г. результаты превзошли самые смелые ожидания сторонников партии. Ее лидер Э. Моралес как претендент в президенты получил 53,7% голосов, причем рост числа голосов был очень высоким и в западных «индигенных» округах, и в равнинных восточных – 55,2 и 33,2% соответственно.

На выборах 2009 г. за Моралеса проголосовали 64,2% избирателей. В законодательных органах представительство партии достигло 67% в Палате депутатов (87 мест из 130) и 72% в Сенате (26 из 36 мест). Партия, таким образом, контролирует все важнейшие политические институты в стране. Одной из главных причин успеха автор считает опору на индigenousное население страны. Для MAS первоначально такой «точкой» стал кечуаязычный регион в департаменте Качабамба, но очень скоро такая же поддержка была получена и от аймаразычного населения страны, а затем и испаноязычных граждан.

Инклузивные стратегии партии по отношению к метисам и белым с начала 2000-х годов строились на постоянных контактах с организациями беднейших и средних классов городского населения. Более тесное взаимодействие осуществлялось с организациями левого крыла, хотя MAS получало поддержку и правых организаций. В конечном итоге мультиэтническая коалиция, созданная партией, представлявшей первоначально интересы сельскохозяйственного профсоюза индейцев, вырашивавших коку на горных плантациях, добилась беспрецедентных успехов, получив более 50% голосов избирателей на выборах 2005 г.

Движению Пачакутик (Pachakutik) в Эквадоре удавалось собирать от 15 до 20% голосов на президентских выборах и до 10% на выборах в законодательное собрание в 1996, 1998 и 2002 гг. [Madrid, 2012, р. 92]. Но в середине 2000-х годов его деятельность характеризовалась заметным сдвигом от этнопопулизма к этноцентризму, чем сразу же воспользовались политические конкуренты. Главным результатом деятельности партии стало гораздо более широкое представительство индигенного населения в политическом и культурном пространстве страны – от создания полиннациональных органов государственной власти до мультикультурных программ в области образования. Несмотря на очевидные достижения в трансформации национальной политики, этнические дискриминация и неравенство в Эквадоре все еще сохраняются, считает Р. Мадрид [Madrid, 2012, р. 106].

Успехи, хотя и более скромные, достигнуты движением коренного населения Перу. Ситуацию в этой стране исследователь определяет как «этнопопулизм без этнических партий». Перуанские политические реалии последних лет служат примером электорального поведения в обществах с высоким уровнем межэтнического смешения. Поддержку получают те кандидаты, этническая принадлежность которых отлична от белой элиты Лимы. Так, коренное население поддержало Фуджимори, Толедо и Хумала, обладающих выраженной этнорасовой принадлежностью, хотя и не индigenной. Автор обращает внимание, что предвыборные программы всех названных политиков включали этническую повестку. В их командах были представители коренного населения, использовались региональные этнические символы, звучали лозунги индигенов. Однако преобладали популистские требования, поддер-

жанные лидерами партий и движений метисов и белых. Впрочем, популистская риторика, позволяющая одержать победу в избирательной кампании, как показывает опыт Перу, более удобна для оппозиции и становится обременительной после получения власти.

Опыт создания и деятельности индигенных партий за пределами Центральных Анд рассматривается на примере четырех стран – Гватемалы, Никарагуа, Колумбии и Венесуэлы. Институциональная среда здесь в 1990-е годы развивалась, казалось бы, в благоприятном для коренных народов направлении: в Колумбии и Венесуэле им были предоставлены места в законодательной власти, в Никарагуа территория расселения индейцев получила статус автономии. Но ни одной из организаций не удалось достичь электоральных успехов национального уровня.

Р. Мадрид привлекает внимание к тому, что партии ограничились только этнической повесткой и не поддержали ни одной из популистских программ. Впрочем, численность коренного населения в этих странах слишком мала (только в Гватемале она достигает 10% жителей страны), чтобы оказывать существенное влияние на политику общегосударственного уровня.

Подводя итоги работы, Р. Мадрид определяет важнейшие результаты и последующие направления исследований. Этнополицесм, по его мнению, может приходить в противоречие с общей демократизацией общества, особенно в ситуации получения власти одной из этнических групп на государственном уровне, как это произошло в Боливии. Одной из наиболее значимых исследовательских перспектив автор считает дальнейшее детальное выявление соотношений расовых, этнических, социальных характеристик общества и форм политического активизма на индивидуальном, групповом этническом и общенациональном уровнях [Madrid, 2012, р. 192].

Оценивая общие результаты работы, нельзя не признать продуктивность социально-антропологической методологии, междисциплинарный антрополого-политологический характер исследования позволяет более полно и детально раскрыть характер взаимовлияния политических и социокультурных процессов в конкретных ситуациях, странах, регионах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И АННОТАЦИИ / KEYWORDS AND ABSTRACTS

И.В. Фомин

Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: Возможности семиотического инструментария

Для современного социально-гуманитарного знания, и для политологии в частности, характерна отчетливая тенденция к дисциплинарному и субдисциплинарному дроблению. Однако можно выделить ряд общих познавательных способностей (органонов-интеграторов), которые реализуются в отдельных дисциплинах, но при этом дисциплинарными барьерами не ограничиваются. И семиотика представляет такие возможности.

Ключевые слова: методология политической науки; методология; органоны; семиотика; трансдисциплинарность.

I.V. Fomin

Transdisciplinary perspectives in political studies: The potential of semiotics

In the contemporary social sciences and humanities, and in political studies in particular, there is a clear tendency of disciplinary and sub-disciplinary fragmentation. However it is possible to identify a number of general cognitive abilities (integrative organons) that are used in separate disciplines, but are not limited by disciplinary barriers. These transdisciplinary methodologies can integrate the science. Semiotics is one of these methodologies.

Keywords: methods of political science; methodology; organons; semiotics; transdisciplinarity.

И.Ю. Окунев

**Методологический синтез в современной геополитике:
Навстречу неоклассической (посткритической) геополитике**

В статье предпринимается попытка проследить эволюцию геополитики через поиск причин формирования парадигмальных школ. Автор, проанализировав дискуссию о методологическом синтезе, выдвигает гипотезу о стадиях влияния пространства на политику, в которой объединены позитивистские и постпозитивистские представления. Гипотеза иллюстрируется на примерах национального строительства и центр-периферийных отношений.

Ключевые слова: критическая геополитика; постпозитивизм; национальное строительство; столицы; методологический синтез.

I.Y. Okunev

**Methodological synthesis in contemporary geopolitics:
Towards neoclassical (post-critical) geopolitics**

The article makes an attempt to investigate the evolution of geopolitics by searching for the sources of shaping the existing paradigmatic schools. Following the discussion of methodological synthesis, it proposes a hypothesis of the stages of the influence of space on politics, which embraces positivist and post-positivist ideas. The examples from nation-building and centre-periphery relations substantiate the hypothesis.

Keywords: critical geopolitics; post-positivism; nation-building; capitals, methodological synthesis.

**А.С. Ахременко, А.П. Михайлов, А.П. Петров
Формальная теория в институциональной политологии:
Есть ли жизнь за пределами теории игр**

В статье рассматриваются методологические проблемы построения современной формальной теории политических институтов. Обсуждаются причины и предпосылки господства теоретико-игрового подхода в данной области. Авторы предлагают подход к оценке качества институтов, отличный от теоретико-игрового как по базовым предположениям о поведении индивидов, так и по

формальному дизайну. Он связывает качество институтов не с максимизацией общего блага при рациональном поведении индивидов, но со способностью институтов обеспечивать общее благо при наиболее широком диапазоне отклонения поведения акторов от рационального. Мера, характеризующая этот диапазон, названа робастностью институтов. На базе этого предположения построена и проанализирована динамическая математическая модель.

Ключевые слова: формальная политическая теория; теория игр; политические институты; динамическая математическая модель; неравенство.

A. Akhremenko, A. Mikhaylov, A. Petrov
Formal theory in institutional political science

The article is focused on some methodological problems of modern formal political theory. We discuss reasons for and limits of game theory dominance in the field of institutional analysis. We propose a novel approach to understanding and measuring an institutional quality; it rests upon conceptual and formal design that differs strongly from game theoretic methodology. Our approach doesn't link the quality of institutions with the incentives of rational individuals to increase common good. Instead, we state that good institutions are those capable of increasing common good when individual behavior deviates significantly from rational standard. We call such a capacity the institutional robustness. On the basis of this approach we develop and analyze a dynamical formal model.

Keywords: formal political theory; game theory; political institutions; dynamical formal model; inequality.

O.B. Попова
Новые направления использования сложных методов
в анализе политических процессов

Статья посвящена оценке использования сложных методов анализа в политологических исследованиях. Отмечается развитие в отечественной политологии индексного анализа, методов сетевого анализа, логико-комбинаторных методов, а также «электоральной криминалистики». В качестве перспективных методов анализа по-

литических явлений и процессов называются: анализ латентной структуры объектов, путевой анализ, дискриминантный анализ, фрактальный анализ, методология анализа качественных данных. Отмечается тенденция использования методической триангуляции.

Ключевые слова: методы политических исследований; индексный анализ; политические индексы; методы сетевого анализа; логико-комбинаторные методы; «электоральная криминалистика»; анализ латентной структуры объектов; путевой анализ; дискриминантный анализ; фрактальный анализ; методология анализа качественных данных; методическая триангуляция.

**O.V. Popova
New directions in the use of sophisticated techniques
in the analysis of political processes**

This paper is devoted to the use of sophisticated methods of analysis in political science. It is focused on the development of domestic political science index analysis, methods of network analysis, logical-combinatorial methods, «electoral forensics». As promising methods for the analysis of political phenomena there are called analysis of latent structure of objects, path analysis, discriminant analysis, fractal analysis, the methodology of qualitative data analysis.

Keywords: methods of Political Studies; index analysis; political indices; methods of network analysis; logical-combinatorial methods; «electoral forensics»; analysis of latent structure of objects; path analysis; discriminant analysis; fractal analysis; the methodology of qualitative data analysis; methodological triangulation.

**И.М. Локшин
Игра в бисер? Конвенциональные количественные
методы в свете тезиса Дюэма-Куайна**

В статье предпринята попытка на эпистемологическом уровне прояснить методологические проблемы, связанные с использованием конвенционального количественного анализа в политической науке. Для этого конвенциональные количественные методы рассматриваются сквозь призму тезиса Дюэма-Куайна. Особое внимание уделяется трем исследовательским практикам количеств-

венного анализа: 1) тестированию нулевых гипотез как самодовлеющего аналитического инструмента; 2) невниманию к каузальной неоднородности явлений в больших выборках; 3) применению операционализаций переменных, подверженных большому числу интерпретаций. Распространенность этих практик ведет к усугублению: а) структурной недодетерминированности теорий; б) возможности формулировать большое число теорий при усложнении их эмпирической проверки; в) трудностей по достижению конвенции о границе между фактами и теориями. Формулируются вопросы об условиях прогресса в политической науке с точки зрения тезиса Дюэма-Куайна.

Ключевые слова: методология политической науки; количественные методы; тезис Дюэма-Куайна.

I.M. Lokshin

**The Glass Bead Game? Conventional quantitative methods
in the light of Duhem-Quine thesis**

The paper applies the Duhem-Quine thesis to conventional quantitative methods in political science. As a result, the discussion of methodological problems associated with these methods is implanted into the epistemological issues highlighted by Duhem-Quine thesis. Special attention is devoted to the widespread research practices, such as 1) null hypothesis significance testing, 2) large-N analysis and 3) dealing with phenomena with a very broad and general character. The paper argues that, partly due to these practices, some epistemological problems are aggravated: a) structural underdetermination of theories is exacerbated; b) the value of new theories tested via old data becomes unclear and doubtful; c) the convention about the boundary between theories and facts is harder to achieve. Some questions about the conditions of the progress in political science are posed.

Keywords: political science methodology; quantitative methods; Duhem-Quine thesis.

Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк

Методы анализа текста в смешанном дизайне исследования

В статье рассматривается стратегия «смешивания» методов, получившая особое распространение в западной исследователь-

ской традиции. Освещаются методы анализа текста, продемонстрирована разница между формализованным и неформализованным подходом на примере изучения образа современной России в текстах американского издания «Нью-Йорк таймс», где внимание уделено алгоритмам работы с текстами. Показано, что для изучения такого явления, как образ страны, сочетание формализованных и неформализованных подходов к анализу текста – необходимое и естественное исследовательское явление.

Ключевые слова: смешанные методы; анализ текста; изучение образа страны; формализованный подход; неформализованный подход; сбор данных; анализ данных, методы исследования.

E.V. Polukhina, D.V. Prosyanyuk
Methods of text analysis in a mixed design study

The article discusses the strategy of «mixing» methods, particularly prevalent in the Western research tradition. Covers the methods of text analysis, demonstrated the difference between formal or approach on the example of the study of the image of modern Russia in the texts of the American edition of «New York Times», where attention is paid to algorithms work with texts. It is shown that for the study of such phenomena as the image of the country, the combination of formal or approaches to the analysis of the text is a necessary and natural research phenomenon.

Keywords: mixed methods; text analysis; the study of the image of the country; formalized approach; non-formalized approach; data collection; data analysis; research methods.

А. Маркс, Б. Рихокс, Ч. Рэйгин
Истоки, развитие и применение качественного
сравнительного анализа: Первые 35 лет

В статье исследуются истоки, развитие и применение качественного сравнительного анализа в последней трети XX в.

Ключевые слова: качественный сравнительный метод (КСА); гипотезы; сравнительный метод; кейс; переменная; данные; моделирование; модель, булева минимизация.

A. Marks, B. Rihoks, C. Reygin
The origins, development and application
of qualitative comparative analysis: The first 35 years

The article examines the origins, development and application of qualitative comparative analysis in the last third of the 20 th century and early 21 st.

Keywords: qualitative comparative analysis (QSA); hypotheses; the comparative method; case; variable data; modeling; model; Boolean minimization.

B.C. Авдонин
Полипарадигмальность
в политической науке и нормативные теории

В статье анализируется роль парадигмы в научном знании. Исследуется вопрос существования множества парадигм в политической науке. Ищутся пути синтеза, взаимодополняемости различных парадигм, разрешения спорных аспектов.

Ключевые слова: парадигма; парадигмальность; теория; синтез; позитивизм; постпозитивизм; эмпирика; теория; реальность; рациональность.

V.S. Avdonin
Multiparadigmatic in political science and normative theory

The article analyzes the role of paradigms in scientific knowledge. The issue of the existence of multiple paradigms in political science regarded. The author is looking for ways to synthesis, the complementarity of different paradigms, coordination of controversial issues.

Keywords: paradigm; paradigmatic; theory; synthesis; positivism; postpositivism; empiricism; theory; reality; rationality.

Ю.Д. Артамонова, А.Л. Демчук
Постструктурализм М. Фуко и новые
методологические проблемы политических исследований

Показывается, что идея исторических разломов и показ исторически складывающихся «очевидностей» М. Фуко требуют от-

каза от нормативных стандартов свободы и справедливости, ключевых для современных концепций власти, и пересмотра критических и освободительных стратегий, на них основывающихся (критика идеологии, борьба с государственным насилием, поиск консенсуса и т.д.). Рассмотрение власти на уровне социальных практик ведет к иным тактикам в отношении власти, которые представлены в данной статье.

Ключевые слова: структурализм; постструктурализм; концепция власти-знания; дисциплинарное общество; общество контроля; нормативные стандарты свободы; дискурс; властные практики; анонимная диктатура; маргинализация; сетевое взаимодействие.

**Y.D. Artamonova, A.L. Demchuk
Foucault's post-structuralism and new methodological
problems of political studies**

This article argues that the idea of historical cleavages and the demonstration of historically developed «obviousnesses» of M. Foucault demand to forsake normative standards of freedom and justice that are crucial for contemporary concepts of power, and to reconsider critical and emancipatory strategies that are based on those concepts (critique of ideology, struggle against state violence, seeking consensus, etc.). Considering power at the level of social practices leads to other tactics towards power, that are described in this article.

Keywords: structuralism; post-structuralism; power-knowledge concept; «disciplinary society»; «control society»; normative standards of freedom; discourse; power practices; «anonymous dictatorship»; marginalization; networking.

**О.Г. Харитонова
Что мы знаем и не знаем о перевороте
как способе смены режима?**

Автор исследует сложности изучения переворотов в плане концептуализации, операционализации и проведения сравнительных количественных и качественных исследований. Рассматриваются место переворотов в теориях политических режимов и режимных изменений, структурный и процедурный подходы к

исследованию переворотов и итоги цветных переворотов через призму теорий демократизации.

Ключевые слова: переворот; военный режим; демократия; демократизация.

O.G. Kharitonova
What we know and do not know about the coup
as a way of regime change?

The author explores the complexity of studying coups in terms of conceptualization, operationalization and conducting comparative quantitative and qualitative research. The place of coups in the theories of political regimes and regime changes, structural and procedural approaches to the study of coups d'etat and the results of color through theories of democratization.

Keywords: coup; the military regime; democracy; democratization.

И.А. Чихарев, В.Ю. Бровко, Г.А. Кожедуб
Политические коммуникации: Пределы и возможности
концептуального моделирования

В статье рассмотрены основные подходы к моделированию в гуманитарных науках, проанализированы особенности моделирования в сфере информации и политических коммуникаций. Предложен авторский подход к типологии современных информационно-коммуникативных моделей, а также рассмотрены наиболее популярные примеры классических моделей коммуникации.

Ключевые слова: коммуникация; политическая коммуникация; моделирование; модели коммуникации; транзактная коммуникация; субъект-объектные отношения.

I.A. Chiharu, V.Y. Brow, G.A. Kozhedub
Political communication:
Limits and possibilities of conceptual modeling

The article highlights the main approaches to modelling in social sciences and covers the main features of modeling in the field of information and political communications. The authors suggest a new approach

to the classification of existing communication models and considers the examples of the most popular classic models of communication.

Keywords: communication, political communication, modelling, communication models, transactional communication model, subject-object relation.

В.М. Васильева, А.Н. Воробьев
Теория коррупционных рынков

На основании анализа методологии и направлений изучения коррупции в реферируемых публикациях (1900–2015) авторы выделяют основные недостатки существующей теоретической базы, в частности «упущенный фактор» предыдущих исследований, которым является коррупционный рынок. В статье представлены методологические основания новой теории среднего уровня в исследованиях коррупции – теории коррупционных рынков, позволяющей объяснить разные результаты применения одинаковых антикоррупционных мер.

Ключевые слова: коррупция; рынки; институты; регулирование; государство; спрос; предложение.

V.M. Vasileva, A.N. Vorobyev
Theory of corruption markets

Authors reveal main theoretical disadvantages of the field of corruption studies, including «the missing factor» of corruption studies – corruption market. This paper provides methodology for the new middle-ranged theory of corruption markets that explains different results of the same anticorruption reforms.

Keywords: corruption; market; institution; regulation; state; demand; supply.

М.В. Ильин
Между очевидным и невероятным.
Где пределы применимости универсалистских схем?

Рец. на кн.: Fukuyama F. The origins of political order: From Prehuman Times to the French Revolution. – L.: Profile books. 2012. –

585 p.; Fukuyama F. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.

Ключевые слова: Фукуяма; политический порядок; Французская революция.

M.V. Ilyin

Between the obvious and incredible.

Where are the limits of applicability of the universalist schemes?

Review of the monograph: Fukuyama F. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. – L.: Profile books. 2012. – 585 p.; Fukuyama F. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.

Keywords: Fukuyama; political order; the French Revolution.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Авдонин Владимир Сергеевич, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры политологии МГГУ им. М.А. Шолохова, ведущий научный сотрудник отдела политической науки, ИНИОН РАН, avdinunvla@mail.ru.

Артамонова Юлия Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, juliaartamonova@yahoo.com.

Ахременко Андрей Сергеевич, доктор политических наук, зав. лабораторией качественных и количественных методов анализа политических режимов Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики.

Бровко Василий Юрьевич, аспирант ИНИОН РАН, vubrovko@gmail.com.

Демчук Артур Леонович, кандидат философских наук, доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, arthur@leadnet.r.u

Кожедуб Георгий Александрович, эксперт Центра интегрированных маркетинговых коммуникаций Университета машиностроения, tauntegor@gmail.com.

Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук, профессор факультета социальных наук Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных наук ИНИОН РАН, mikhaililyin48@gmail.com.

Локшин Игорь Михайлович, аспирант Департамента политической науки НИУ «Высшей школы экономики», младший научный сотрудник Лаборатории качественных и количественных методов анализа политических режимов, преподаватель факультета социальных наук Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, ilokshin@hse.ru.

Михайлов Александр Петрович, доктор физико-математических наук, зав. сектором Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, заведующий лабораторией математического моделирования социальных процессов социологического факультета им. М.В. Ломоносова.

Окунев Игорь Юрьевич, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии, заместитель декана факультета политологии МГИМО (У) МИД России, okunev_igor@yahoo.com.

Петров Александр Пхоун Чжо, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

Полухина Елизавета Валерьевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации, департамент социологии, факультет социальных наук, Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, erolukhina@hse.ru.

Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, pov_64@mail.ru.

Просянюк Дарья Вячеславовна, младший научный сотрудник, научно-учебная группа «Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации», аспирант кафедры методов сбора и анализа социологической информации, департамент социологии, факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГБУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», советник управления программ социологических исследований, dprosyanyuk@hse.ru.

Уварова Татьяна Борисовна, доктор исторических наук, заведующий сектором истории Древнего мира и Средних веков ИНИОН РАН, ethn.uvarova.tb@inbox.ru.

Фомин Иван Владленович, кандидат политических наук, младший научный сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, fomin.i@gmail.com.

Харитонова Оксана Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО (университет) МИД РФ, o.haritonova@inno.mgimo.ru.

Чихарев Иван Александрович, кандидат политических наук, доцент факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, директор Центра интегрированных маркетинговых коммуникаций Университета машиностроения, ichikharev@yandex.ru.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА
Научный журнал
2015 № 2

**ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ**

Редактор-составитель номера –
д-р полит. наук **Е.Ю. Мелешкина**

*Издание рекомендовано Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации
и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные ре-
зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» по политологии*

Адрес редакции: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
НИИОН РАН. Отдел политической науки.
E-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Дизайн Л.А. Можаева
Компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректор Н.И. Кузьменко

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П. 5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 29/V – 2015 г. Формат 60 х84/16
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 19,5 Уч.-изд. л. 15,5
Тираж 500 экз. Заказ № 46

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru
E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)
Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

